

КОНТИНЕНТ 2

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT KONTINENT
CONTINENT KONTINENT КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT KONTINENT



«Я растил эту ниву
две тысячи лет —
Не пора ль
поспешить к своему
урожаю?
Не грусти, я всего
лишь навек
уезжаю —

От добра и из дома —
которого нет!..»

А. Галич

«Я где-то сказал,
что знание положен-
ия в России, зна-
ние других полити-
ческих структур,
для западного чело-
века, означает на-
чало здорового под-



хода к проблемам всей мировой
политики».

Р. Конквест



«Сколько понадо-
бится в будущем
поколений истории
для очистки под-
линной картины
русской жизни от
пропагандистской
лжи для восстано-
вления подлинного хода событий?»

И. Силоне

«Тот, кто проследил несколько лет за статьями Сахарова, его социальными предложениями, его поисками путей спасения планеты, его письмами правительству, его дружелюбными угрозами, не может не увидеть его глубокой осведомленности в процессах советской жизни, его боли за свою страну, его муки за ошибки, не им совершаемые, его доброй примирительной позиции, приемлемой для весьма противоположных группировок...»



А. Солженицын

«Ленинско-сталинская версия марксизма является действительно версией, то есть попыткой практического применения идей, которые Маркс выразил в философской форме, лишенной явных принципов политической интерпретации... деспотизм становится естественным решением». Л. Колаковский



Главный редактор — Владимир Максимов
Ответственный секретарь — Игорь Голомшток

Редакционная коллегия:

Раймон Арон · Джордж Бейли · Александр Галич
Ежи Гедройц · Густав Герлинг-Грудзинский
Милован Джилас · Вольф Зидлер · Эжен Ионеско
Роберт Конквест · Наум Коржавин
Виктор Некрасов · Людек Пахман
Андрей Сахаров · Игнацио Силоне
Андрей Синявский · Странник · Иозеф Чапский
Зинаида Шаховская · Александр Шмеман
Карл-Густав Штрём

K

КОНТИНЕНТ

**Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал**

2

Издательство «Континент»

1975

«С большим волнением узнала французская интеллигенция об аресте талантливого писателя Владимира Маразмизина, против которого возбуждено судебное дело по обвинению в «антисоветской деятельности.»

Ренэ Кассэн, лауреат Нобелевской премии Мира

«То, что пугает в деле Маразмизина, это именно то, что он — писатель. Как у всякого подлинного писателя у Маразмизина всегда было больше проблем с языком и с тем, как добыть себе и своим детям пропитание, чем с властями.»

Иосиф Бродский, «Таймс»

«Если ты думаешь, что колокол сегодня звонит только по Владимиру Маразмизину и еще нескольким одиночкам, то горько ошибаешься. Колокол звонит по каждому из нас. И по тебе тоже. И с каждым его ударом времени у нас с тобой остается все меньше и меньше. Спеси действовать!»

Владимир Максимов, «Ле пуан»

«Было бы ошибкой думать, что все русские писатели, которым хотелось бы уехать из России, покидают ее. Было бы также ошибкой считать, что писателей, критикующих режим, оставляют в покое. Самым ярким тому подтверждением служит заключение в тюрьму ленинградского писателя Владимира Маразмизина.»

«Санди телеграф»

Владимир М а р а м з и н

«Двое несчастных, находящихся в дружбе, подобны двум слабым деревцам, которые, одно на другое опершись, легче могут противиться бурям и всяким неистовым ветрам».

Козьма Прутков

ИСТОРИЯ ЖЕНИТЬБЫ ИВАНА ПЕТРОВИЧА

Повесть

Часть I

Ч У Ж И Х С У Т Е Й

— ...однако ты ее не круши, пусть она будет моих сугей, а об остальном уговоримся.

— Ладно... пусть она будет твоих сугей, а моих статей.

Саамские сказки

В связи с арестом автора редакция решила немедленно познакомить читателей с его творчеством. По этой причине повесть И. Богораза «Наседка» переносится в следующий номер.

Глава первая ИВАН ПЕТРОВИЧ

1

Иван Петрович смотрел на свои фотографии детства. В возрасте двенадцати лет он понравился сам себе больше всего. Это был мальчик с состриженными коротко волосами, не кидающийся чужому взгляду и без особого даже на это желания, с лицом, исходящим вовсю чистотой. Эта чистота — как в чужом совершенно ему человеке — показалась Ивану Петровичу удивительной. Это была не вялая чистота мечтателя, не любителя жить, оттого, что это трудно; и не от желания казаться чище, чем он есть, — просто в этом возрасте представлялся ему натуральный человек, не умеющий жить по-другому, как в чистоте, а она за то и платила лицу тем, что ровно светилась в нем, привлекающая других. Эту чистоту очень скоро разрушили — лет за десять, и всю основную вину полагал он на женщин, к которым вскоре он начал тянуться, думать о них, обжигаться на искреннем к ним отношении, на своей горячности, получая взамен очень точное знание правил игры.

— Так никогда же им этого не прощу! — думал Иван Петрович в запальчивости, — но как-то всё забывал не прощать.

2

Вообще Иван Петрович был человеком на редкость правдивым, и это часто ему шло во вред. Сначала он учился на инженера-электрика, дошел

до третьего курса, но никак не мог себе представить электрон. Понимание электрона все усложнялось, и немногие представляли его себе в полной мере, какой он такой? — и волна и частица.

— Да вы бы поверили, и дело с концом, — говорили Ивану Петровичу все.

— Нет, — отвечал Иван Петрович печально. — Как же поверить, если я не представляю? Я не могу, значит, быть инженером, если я не представляю себе электрона.

— Да примите же его как аксиому! — говорили ему и смеялись над ним.

— В это надо поверить однажды, и всё, — убеждал Ивана Петровича замдекана.

— Да чего там ломаться-то, надо поверить! — говорили ему ассистенты, студенты, профорг, комсорг, парторг, инженеры, гардеробщица, мать, лаборантки, буфетчица тетя Наташа, вахтер в проходной и кондуктор в трамвае.

— Нет, не могу, — отвечал виновато Иван Петрович. — Я уж должен представить. Ведь электрон же, — на нем все основано, все электричество!

Так он и ушел с инженерного факультета. Стал экономистом.

Глава вторая

ССОРА

Иван Петрович поссорился со своей знакомой женщиной, про которую все порывался сказать сам себе: моя любимая женщина, да все не выговаривалось почему-то никак.

Чего-то она от него каждый раз добивалась — непонятно чего, и была недовольна. Отчего недовольна? — Иван Петрович не знал, а разбираться подробно ему не хотелось.

В ссоре он взял и ушел от нее. Возмущения он не испытывал, просто надо было уйти в тот момент и легче всего это сделать, вызвав в себе возмущение — он и вызвал. Стукнув дверь, он пустил свои ноги по лестнице, перешел быстро двор и остановился перед улицей.

Ах, глубоко построенная ссора — это счастье! Это такая на полном дыхании жизнь, только трудно, должно быть, всем в этом признаться, и такое признание несет в себе практически не пользу, ибо могут быть люди, которые, в это поверив, начнут еще ссориться слишком уж часто — но пусть они помнят, что ничего не следует делать себе специально, к тому же подобное мелкое опасение не должно быть помехой (к сожалению, все-таки часто бывает) искренним признаниям о себе человека.

Вот и опять он был на улице, вернее, ощущал, что он на улице, было у него такое острое понятие об этом.

Прощальное солнце уходило на закат. Все кругом потянулось к легкому, синему цвету.

Иван Петрович почувствовал в теле какую-то грусть, постоял немного и сел на скамейку.

В это время на улице с ее освещением и теплым воздухом легко получить настроение на грустной основе.

Но он удержался, он встал и пошел своими томными ногами по асфальту. Рядом такими же

томными ногами шли другие, переходили улицу не по углам, а вольно; свободный автобус, натываясь на них, тормозил, шел толчками, и от этих толчков два стоявших пассажира гуляли по автобусу вдоль и поперек.

Солнца не было больше, но было тепло, он пошел очень быстро, чтобы воздухом сбить с себя это тепло, почему-то быстрее пошли и другие, но воздух легко нагревался об них и ничуть никого не охлаждал, а даже хуже.

На углу, где Иван Петрович всегда поворачивал, он заметил окно. Он и раньше всегда обращал на него внимание, потому что оно было очень большое и закрытое всегда заметно плотно.

Первая рама была теперь раскрыта на три створки, и вторая рама тоже, и в каждой раме отворены форточки, которые входили одна в другую. Столько створок обнаружилось вдруг у окна, и вот их все распахнули для воздуха, который несколько не отличался по теплоте от домашнего, от родного, и все же был чем-то лучше его, может, шире.

А за окном, в освещенной только с улицы комнате, жила на виду, не скрываясь, не ссорясь, небольшая оживленная семья молодых людей. Муж за столом занимался, листал что-то толстое, но не слишком педантично. Женщина вела себя живо, развязанно. Он понял, что, видно, ей было веселее, когда рядом с ней находился такой мужчина — этот муж — которого она могла с полным правом хлопать по спине, хватать за плечи, в шутку бить по шее, не зная, что дальше еще бы такое с ним сделать, — а он бы снисходительно все это сносил.

Женщины (думал Иван Петрович) имеют дело с самыми мягкими существами — малыми детьми, но в то же время они должны быть на уровне понимания своих мужей, которые в большинстве огрубели от возраста, от работы или от неправильных представлений о жизни — и в этом двойственность женщин, в них всегда существуют и те и другие качества рядом, то есть мягкость и грубость, переходя одно в другое и сливаясь, и часто проглядывают в ненужное время, пугая Ивана Петровича.

«Когда они говорят что-то нежными голосами, откликаясь ребенку, даже, бывает, слегка и сентиментально, я жду, — думал он, — что сейчас же они обернутся и ответят, если сзади сказать им какую-то грубость, как муж. Должны же они понимать очень многое в жизни (и иметь удовольствие от своего понимания), а ведь в жизни мы очень должны по природе быть не брезгливы».

«Вот они ходят кругом, все куда-то имеют в ходьбе направление, по двое ходят, с мужчинами и одни. Сколько было когда-то у меня их в знакомых! Не то что теперь. И всегда они очень меня привлекали. Так мне многие ласково улыбались, так приветливо разговаривали, что я всякий раз тут же весь разгорался и только всё думал: вот я выберу время и займусь, эта будет моей, а потом и другая. Но ведь времени все не случалось, время быстро катилось: «сегодня» — и вот уже стало «вчера», эти девушки всё степенели по одной и устраивали себе свою жизнь и уже не нуждались улыбаться мне при встрече — и так это было жалко, навсегда оставалась досада на себя и жадность

до этих, недополученных мною женщин — никогда себе этого мне не простить!»

И как они ходят! Шаг натягивает узкую юбку на длинном бедре, слегка отпускает, перебросив морщины, и опять натягивает ее на другом. Нога, поставленная плоской ступней на асфальт, долго волнуется вся, от конца до колена; колени, шурша, задевают друг друга, ни один из шагов не похож на другой, то короче, то шире, то вбок — не по нитке. Это живая ходьба, живого человека, и смотреть на нее волнительно.

— А я на каждую взгляну, — думает Иван Петрович, расстроясь от ссоры, — мне это вроде как потрогал, даже лучше, больше можно представить, и кто может что мне на это сказать? — ничего; ни один из мужчин, что ведет свою девушку, даже если догадался (зная это за собой) — да он ничего мне не сделает, не за что, нет ему на это причины.

Он никогда б не открыл себе это, если не был бы в ссоре, потому что это стыдно, потому что такое скрывается глубоко и подавленно. Так нельзя даже думать, уж он это знает. Но если в ссоре, и сам на себе ставишь крест, и идешь по улице, и руки болтаются, ноги идут хорошо и томно по синему асфальту — тогда всё же можно.

Глава третья

ЗНАКОМСТВО

Возле Ивана Петровича, перед красным огнем светофора, встал троллейбус, и он по привычке его оглядел. В троллейбусе никто не стоял, так

как было свободно, и троллейбус был словно населен головами. Головы смотрели все в окна, а рядом, близко к Ивану Петровичу, сидела девушка и глазела на него сквозь стекло. Он недолго подержал ее в глазу, потом отпустил и стал глядеть на других. Но другие были люди как люди, девушки же лицо враз запомнилось Ивану Петровичу, какое-то просторное это было лицо, и линии у него такие, что по каждой хочется пройтись до конца. Он вернулся к девушке и долго гулял у нее по лицу глазами. Девушке это не было неприятно.

Неожиданно Ивану Петровичу не захотелось, чтобы девушка эта взяла и уехала. Троллейбус стоял и мог тронуться в любую минуту.

Он заулыбался ей слегка виновато, потому что решил познакомиться, будь что будет.

— Выходите! — сказал он губами и жестами. — Я (показал на себя) буду здесь, поджидать, а вы (показал на нее) — приходите сюда. Хорошо? (Он кивнул, вызывая ее на кивок).

— Нет, — покачала она не спеша головой, но не отвернулась — а ведь если бы рассердилась, должна отвернуться.

— Ну хорошо, хорошо! — он пошел за троллейбусом, который отпустил тормоза и готовился ехать. — Тогда по-другому (он зачеркнул первый свой вариант двумя руками). Вы, вот вы (он махнул на нее ладошкой) — там сойдете, а я побегу (он показал ногами, как он побежит). Хорошо? Только вы подождите! Ну что, хорошо?

Как уж он выразил все, он не знал, но она поняла и почувствовала, что это ей можно, — то есть что Иван Петрович такой человек, к которому можно, не опасно сойти, если хочется, потому

что он правильно это поймет. И она ему слегка улыбнулась и покивала.

Иван Петрович пустился бежать, обгоняя троллейбус, но потом троллейбус его обошел, и девушка опять помахала ему из окна.

И снова обида на женщин, желающих вечного ближнего боя, требующих себе в утешение игры по всем правилам, которые кто-то им когда-то внушил, разыгралась в Иване Петровиче и вдруг появилась уверенность (а точнее — надежда), что сейчас будет все по-другому, не так. Давняя мечта о том, что когда-нибудь будет знакомство, встретится женщина, не похожая на других только в этом, только в том, что она не потребует боя — ни в начале знакомства, ни после не будет борьбы за господство, за то, кто главней, что и как сделал ты по ее и что нет — эта мечта разыгралась в Иване Петровиче, вызванная улыбкой и ссорой и таким необычным согласием девушки.

Вот он бежит, не очень хорошо бежит, не красиво и не быстро, не так, как когда-то, в девятнадцать-двадцать лет (а теперь ему уже исполнилось тридцать), и там она едет впереди троллейбусом, красивая девушка с необычным, просторным лицом, и уже доверяет Ивану Петровичу больше, чем доверяли другие.

Он даже не стал приготавливаться к первым словам разговора, а возможно, что и не успел, раз мечтавшись, но девушка оказалась умницей. Она придумала, что нужно сказать, чтобы им не сделалось при начале неловко.

— Вы жили когда-нибудь в Павловске? Лет шесть тому назад? — спросила она Ивана Петровича с понимающей улыбкой.

— Нет, — отвечал он с такой же улыбкой. — Никогда!

— Жалко, — сказала она. — Значит, мне показалось.

— Показалось, — подтвердил Иван Петрович быстро и весело, потому что теперь это было неважно. Можно было теперь познакомиться, раз начало пошло хорошо.

Иван Петрович сразу же стал говорить о себе, где он жил, что он любит, и чего он не любит, а она отвечала ему о себе, не стараясь дожидаться, пока ее спросят.

И у них произошел настоящий разговор двух людей, когда каждый говорит о себе, а другому это как раз интересно.

— Я, может, сразу и не понимаю... — говорила, к примеру, девушка.

— Да! — подтверждал Иван Петрович, удивляясь. — И я тоже сразу!

— А как приду домой, подумаю — и все-таки пойму. И мне становится стыдно.

— Стыдно! — говорил Иван Петрович. — Нет, а мне, пожалуй, совестно, пожалуй что да.

— А ей и потом не становится стыдно, она и потом ничего не поймет — вот в чем у нас основная с ней разница!

— Да! — подтверждал эту разницу Иван Петрович и радовался разнице. — А вот взять, к примеру, меня... Если я...

Разноцветно одетые люди шли и шли им навстречу по проспекту, гуляли. Было все еще довольно тепло, и ребята помоложе, не держа своих девушек, словно в них не нуждаясь, шли свободно, руки в боки, запустив пиджаки от тепла за плечи.

А кондуктору жарко и тесно в вагоне — вот проехал трамвай, и кондуктор стоит на площадке, у двери, высунув пожилую голову в город.

Иван Петрович попробовал взять ее под руку — очень легко, чтобы можно сейчас сделать вид, что случайно — но она ничего, не возражала и устроила локоть у него на ладони.

«Хоть бы выйти на прямую, — думал Иван Петрович. — Хоть бы выйти на прямую в разговоре».

Но Иван Петрович еще не решался.

Женщины чем-то таким обладают, словно каким-то особым продуктом, который стараются все получить, — женским обаянием, мягкостью что ли, всем, что есть женщина. При этом в женщинах есть все другие человеческие свойства, как и в мужчине, — и вот им всем кажется, что какой-нибудь такой Иван Петрович ищет в них то, только то, что есть женщина, то есть словно бы некий опять же продукт. И женщины, им не обладающие, получают от этого горе и злобу, а женщины, у которых он есть и в избытке, имеют от этого тоже обиду, потому что им кажется: это в них ущемляет зато человека.

Неизвестно сколько они уже гуляли, когда Иван Петрович вдруг решился.

— Свернем? — предложил Иван Петрович осторожно. И они свернули в тихую улицу.

— У меня на каждой улице есть любимая сторона, — говорила девушка. — А на этой нет. Пускай будет правая? — Нет, не любимая. Пусть будет левая? — Нет, и не левая. Которая же любимая? Никоторая.

— Поцелуемся? — попросился Иван Петрович вдруг, без подхода, и остановился у какого-то дома.

— Что? — сказала девушка, удивившись. — Чего вы сказали?

— Очень хочется целоваться, — сказал Иван Петрович виновато.

— Мало ли чего мне захочется, — сказала девушка. — Надо взять себя в руки.

«Так она уже проникнута своим необычным поступком — знакомством на улице, — думал Иван Петрович, — и так сознает в себе эту необычность, так гордится, что уже не хватает ее продолжать эту линию такими же искренними поступками, как и первый.»

«Игра, — сказал он себе со вздохом. — Всем им нужно от нас, чтобы мы не говорили им прямо, чтобы мы подчинялись бы правилам этой игры. А я не хочу. Я хочу быть искренним! Как же тогда?»

Иван Петрович знал, но не хотел себе в этом признаться: просто нужно, чтобы в нем была такая игра, которая обнимала бы ее игру, да и все — как и бывает у всех молодых мужчин. Но у него эта игра прекратилась.

— Вот я и пришла. До свиданья, — сказала девушка, когда они еще раз повернули.

— Уже? — воскликнул Иван Петрович. — Ну, хорошо, хорошо, я вас еще провожу!

— А я уже дома. Дальше меня провожать не надо. Дальше меня никогда не провожают: я не разрешаю.

— Да нет, мне же нужно записать телефон? — сказал Иван Петрович, хитря, как и полагалось

по этой игре, но с досадой. — Здесь неудобно, зайдите в подъезд.

— Ну, записывайте, — сказала девушка, заходя.

— А вы на каком этаже? — спросил Иван Петрович, как и полагалось спросить в этом случае.

— А зачем вам знать? — сказала девушка (и это полагалось)

— Так. Интересно, — сказал Иван Петрович, понемногу поднимаясь с этажа на этаж. Девушка между тем поднималась за ним.

На третьем этаже Иван Петрович взял ее за руку и потянул к себе.

— За кого вы меня принимаете? — быстро сказала девушка, будто только и ожидала, чтобы он потянул.

— Да нет, да я что? да я ничего, — сказал Иван Петрович, обнимая ее за плечо.

— Не трогайте меня, я никому не разрешаю трогать!

— Ну, конечно, конечно, я верю, ясно, никому... но я же ничего? я не трогаю.

— Мы еще с вами три часа как знакомы. Ну хотя бы три дня, — а три часа это мало.

— Но это же условность! — закричал Иван Петрович. — Так условились люди, то есть так договорились, а мы же можем условиться по-другому.

— Нет, — сказала девушка. — Мы не будем по-другому.

— Почему? — сказал Иван Петрович в отчаянии и схватил ее руки. — Конечно, я ждал, что вы скажете что-то такое. Но давайте попробуем?

А? Попробуем со мной? Я уверен, что после у нас и начнется. Пусть их, все... как хотят, а мы по-другому...

— Нет! — сказала она и отняла свои руки обратно. — Ничего у нас не начнется. Не троньте! Вы, конечно, симпатичный, но что вы говорите? За кого вы меня принимаете? Я не такая!

— Нет, нет, — сказал с волнением Иван Петрович, — конечно, не такая... ну, я не буду говорить... я ни за кого... вот... сейчас...

Он осторожно расстегнул у нее на пальто две верхние пуговицы. Она схватила его за пальцы и другой рукой застегнулась. Но Иван Петрович заметил: она застегнулась на одну только пуговицу, на вторую. Тогда он враз расстегнул все четыре, девушка оттолкнула Ивана Петровича, но застегнула опять только две.

Он вылутил по одной из петель эти две последние пуговицы и остался один на один с гладеньким, открытым фиолетовым платьем, но тут же наткнулся на жесткий, выставленный вперед, ему под ребро, край ладони.

— Нет! — сказал Иван Петрович убежденно. — Нет. Не надо.

— Вот и я говорю, что не надо, — ответила девушка.

— Нет же... нет, нет... право, не надо! — сказал Иван Петрович еще убежденней. — Со мной так не надо, правда же не надо, правда!

— А почему я должна уступать как по-вашему? Я ведь тоже сказала не надо. Вот вы мне и уступите!

— Я... да, я уступлю... я вообще... — говорил Иван Петрович, запуская ладони все дальше меж-

ду ней и пальто, отделяя ее от пальто. — Я не такой... то есть я такой... не в этом смысле... но со мной это можно... со мной только так...

— Зачем же вы это! — крикнул вдруг он с обидой, почувствовав, что рука ощутимо толкает его под ребро.

Девушка удивилась и пока что толкать перестала.

Он, наконец, обхватил под пальто ее руками, изогнул к себе — и она изогнулась, вся приплась вдоль него, и вот уже жесткая, упертая рука послабела, подалась и вдруг провалилась вниз между ними.

Иван Петрович зашелся от нежности и доверия.

Так они стояли у окошка, прижавшись, вернее, девушка позволила ему к ней прижаться; немного дольше, чем нужно, был он уже в этом состоянии нежности, и девушка опять удивилась, потому что приготовилась к продолжению боя. Когда наконец он пустил свои ладони гладить везде, где бы им захотелось, девушкины руки крепко их хватали, как жандармы, на окраинах платья — хотя и не прежде — и тут же опять отсылали их к центру, то есть к середине платья, на талию.

Долго продолжался этот бой, с постепенными уступками и отвоеваниями, Иван Петрович всего не упомянул, он был только уверен в своей правоте, он честно знал: это так все и нужно — все, что он делал, и даже досада одолевала не очень, потому что девушка постепенно сдавалась. И каждый раз, когда рука добиралась до теплой, живой кожи тела, Иван Петрович от волнения вздрагивал, словно добирался до голой, живой, человеческой сущно-

сти этой девушки, уже не закрытой от него в скорлупу.

Вдруг по лестнице, снизу, кто-то стал подниматься, девушка выскочила из его ладоней, быстро застегнула пальто и отвернулась к окну.

Иван Петрович почувствовал настоящее горе.

По лестнице поднималась старуха с батоном, поднималась медленно, с одышкой, отдыхала, опершись на колено рукой. Ее голова постепенно вращалась вокруг проема, добираясь до них. Иван Петрович тоже стал смотреть в окно. Так они стояли молча, он и девушка, и глядели в окно, будто там было что-нибудь интересное. Две мухи ползали по стеклу с двух сторон, одна по другой, и согласо сворачивали в сторону, ни на шаг не расставаясь, как подруги.

Пройдя их площадку, старуха часто останавливалась, глядела на них из-под мышки, ждала. Долго возилась с ключами на шестом этаже, наконец, захлопнула дверь и затихла.

Иван Петрович сразу же кинулся к девушке. Надо было опять начинать все сначала.

— Нет, — заговорила девушка. — Хватит, не надо!.. На сегодня хватит... здесь нельзя.

— А где? — спросил Иван Петрович с выдохом, принимаясь опять за пальто.

— Нигде, — отвечала она, но не очень твердо. — На сегодня хватит.

— Нет! — вскричал Иван Петрович. — Как раз сегодня не хватит! Так нельзя!

— Можно, — сказала девушка быстро.

— Нет, нельзя, — сказал Иван Петрович, раскрывая пальто.

— Можно... — еще раз сказала девушка и замолкла.

Под пальто было все, как он оставил: все, что расстегнуто, было расстегнуто; все, что отогнуто, оставалось отогнутым. И от этого Иван Петрович опять зашелся и ринулся целовать и гладить девушке тело, а она отступала немного быстрее, чем прежде.

Они уже так перепутались, что иногда, целуя вниз, куда-то в тело, Иван Петрович попадал на себя и целовал по ошибке свое плечо или руку и только тогда замечал.

Неожиданно девушка по локоть закинула руки Ивану Петровичу за плечо, привстала и крепко прижалась к нему. Ей было некуда уже отступать.

Иван Петрович слабо, но настойчиво толкал ее переступить слегка назад, она подалась, они согласно сделали вдруг этот шаг, прикоснулись к стене...

И вот, наконец, было все.

Потом они недолго постояли, прижавшись; девушка, ошеломленная, ушла к себе в квартиру, а Иван Петрович с ее телефоном спустился по лестнице к выходу, вниз.

Он вышел из парадной, словно весь изнутри и снаружи промытый, добрый, свежий. На улице стало темно и просторно. Целый день его обидной зависимости был окончен. Ближний бой, который ему навязали, он выиграл.

Но вот он думает: а кто победил? Пусть он выиграл бой, но ведь бой состоялся? Не того ли и добивались все те, кто желали ему такого ближнего боя? Ясно, что так или иначе, а победа должна быть его, он мужчина, это все совпадает с

законами, так по природе. И он, очень слабый, чтоб все изменить, только и смог, что ускорить победу, уменьшить длительность боя — и то было трудно, целый день на это ушел у него. Правда, мог бы и месяц, и год, даже больше. Значит, всё же хоть слегка победил? Только очень слегка, очень мало.

Эта игра, по законам, с приемами, к этому женщины сами его приучили (зачем это им?), и вот что хуже всего: ведь он знает, если он искренен с ними при этом — так и искренность входит прекрасно в игру, игра получается — лучше не надо, какой не придумаешь так ни за что.

Значит, надо ему сторониться всех женщин, очень выверить какую-то, отыскав среди прочих. Но ведь как отыскать? Да и вдруг не найдешь?

Нет, сказал себе Иван Петрович неожиданно с силой, возмутившись. Все же нельзя относиться мужчине ко всему этому так нестерпимо осторожно, словно некоторая часть его организма не находится вблизи от свободы, слегка застегнутая на четыре пуговики, меж которых может разгуливать ветер, — а расположена в дальней конторе, где она выдается по счету, заёмно, под строгим контролем всего государства.

— Господи! — сказал Иван Петрович, обращаясь не к Богу, которого не знал, а просто привыкнув к такому короткому слову, как вскрип. — Какое счастье людям дано между ног! И что они с ним делают! Как непростительно плохо они с ним обращаются!

И вот что еще вдруг открылось Ивану Петровичу: женщины всё это придумали не сами — весь ближний бой, все приемы игры! Это им руковод-

ство приказало так делать, через них, через женщин, на мужчину влияет его руководство, когда, наконец, отпускает его по звонку. Через женщину оно командует своими мужчинами, оно подсылает к ним женщину, уже воспитанную так, как ему нужно, уже обученную, с малых лет обученную, в животе у матери обученную, поколениями обученную, веками — как же тебе против них устоять?

Женщине, конечно, кажется, что это сама она делает так, как захочет. А на самом-то деле ничуть не бывало — даже когда она тебя целует, это ей разрешили тебя целовать, кинули ее к тебе на поцелуи, отпустили — то есть как бы тебя за ее губами нехотя целует разрешившее руководство.

В общем, снова Иван Петрович ощущал себя обиженным какой-то высшей властью.

Часть II

ДУСЯ

«Два человека приткнутся друг к другу — вот уже и Бог; и только так.»

Из старого дневника

Глава первая

ДУСИНЫ ДЕНЬГИ

1

Этот раз у Дуси был отпуск зимой. Она не поехала к матери — далеко, нужно денег, а она не отложила. Не с чего было откладывать, работала мало, к тому же матери начала посылать, потому что знала из писем, что той это кстати. Повидаться же успеют не раз.

Дуся договорилась под городом с одной пенсионеркой-старушкой и там у нее задешево прожила отпуск, свои две недели.

Чисел старушка не наблюдала, ей все равно было, что за число, тем более пенсию приносили домой, а до следующей ждать все равно не хватало — так что нечего числа и считать до нее.

Так получилось, что Дуся опоздала на работу из отпуска, потому что перепутала дни.

«Я опоздала на работу на два дня, — писала Дуся в объяснительной записке, — потому что в отпуске не следила за отрывом календаря и перепутала, которое сегодня число. Прошу наказать меня по всей строгости советского закона.»

Ее наказали, но не как она боялась, не по всей законной строгости: просто дали выговор в приказе по заводу. Одно только плохо — за выговор обязательно снимали премию, и в следующем месяце она получила только свой тариф, то есть меньше на двадцать рублей, чем всегда.

«Ничего, — думала Дуся. — Как-нибудь исправлюсь постепенно.»

Но пока что никак с этих пор не выправлялась, даже хуже. Потому что, кроме всего, Дусю очень стыдила за опоздание мастер, всё считала, что Дуся ей нагло врала, и Дусе стало постепенно вправду стыдно, она стыдилась иногда и не выполняла полную норму, несмотря на плакат, который висел у нее перед носом: «Наш девиз — норма доступна каждому!»

2

В тот день Дуся будто бы вдруг повзрослела, и перед самым окончанием смены у нее отпала последняя бородавка на пальце.

— А я опять сегодня норму не выполнила, — сказала Дуся, придя с работы к себе в общежитие. — Опять чего заработаю? — смех! И мастер ругается. Разве я виновата?

— Я два года норму не вырабатывала, а потом только стала, — откликнулась Люба.

— Дуся, тебе от мамы посылка, — сказала Нина. — Смотри.

— Ну-ка, дай-ка, — сказала Дуся. — Ага. Это, наверно, яички. Куры как раз сейчас много несут.

Дуся, не откладывая, спустилась на улицу и сходила на почту.

В посылке, и верно, оказались внутри два с половиной десятка яиц.

«И друга своего угости, я не против, — писала Дусе мать в письме, положенном тоже в посылку, чтобы не платить отдельно. — Есть же у тебя какой наверно друг, хотя и не напишешь матери. А половодье в этот раз было сильное, вода дошла до сирени и по-за кустами протекла в задний подпол. В огороде остались три здоровые льдины и лежали все лето, особенно одна, пока не сделалась вся длинными иголками и не стаяла. Сараюшко наклонился, надо его починять, а берут нынче дорого, не знаю что делать. Приходил Илья Магьюнов, и говорит: ты, бабушка, никого не проси, я тебе, бабушка, сделаю разом. Это он все бабушка да бабушка, а сдерет за милую душу, ты Илью того знаешь.»

«Здравствуй, дорогая мама! — писала Дуся в ответ. — Спасибо за яички. Дошли они хорошо, только два по дороге треснули, но я их сразу же пустила на сковородку, они и вытечь совсем не успели, разве самую малость белок. Сараюшку ты починить позови, посылаю тебе переводом отдельно сколько могу. А Илье Магьюнову ты поставь четвертинку, больше сразу не ставь, а потом, скажи, еще обещаю поллитру. Он тогда не сдерет и быстрее починит, потому что сколько сдерет —

все жене, он соврать ей не может, не сумеет, я знаю. Побоится, что люди соврать не дадут. Живая поллитра ему интересней. А друга у меня пока что нет и не надо, ни к чему он мне сейчас. Так что яички съем сама с девушками. Они меня тоже всегда угощают, если есть. На этом целую тебя крепко-крепко. Твоя дочка Дуся.»

Дуся заклеила письмо языком и снесла его в ящик, напротив от дома.

Возле ящика, на скамейке, сидел мужчина в пиджаке, очень сильно раздутом на месте карманов. Он поманил к себе Дусю длинным пальцем.

— Простите на минуточку, — сказал без запятых человек.

Так он и сидел — раздут, плечо с зацепом, из которого виден лоскутик холста.

«И чего ему надо?» — подумала Дуся, но ей было любопытно, и она подошла.

— Гражданочка! — обратился он к ней, и это обращение было Дусе приятно.

— Мне очень и очень и очень и очень — СТЫДНО! — сказал он громко, но совсем не стыдливо. Дуся хотела засмеяться, но не стала.

— Если бы профсоюз оплатил бюллетень, я бы никогда не осмелился вам предложить... вот... он начал вытаскивать из карманов блестящие банки, — одна... три... четыре... если бы профсоюз оплатил бюллетень... вот, смотрите, гражданочка, свиная тушенка... я предлагаю вам дешево, запасы лучшей жизни, по полтиннику штука. Повторяю: мне очень и очень и очень и очень СТЫДНО!

Последним словом он грозно выстреливал, продолжая вытаскивать банку за банкой, и было неясно, как они там у него помещались.

«Мужчина! — подумала Дуся с участием к этому слову. — Не на что выпить. Да и мне пригодилось бы. Маме пошлю. Там у них с мясом теперь очень худо. Денег нет — ну, да ладно, займу. И себе оставлю две банки, да теперь яйца есть, картошки наварю, чай-заварка еще оставалась в коробке, — вот и завтрак и обед на три дня. А тушенка в магазине почти в два раза дороже. Сколько сразу выгоды! А потом видно будет.»

Ничего не будет видно, но это неважно.

— Погодите, дяденька, — сказала Дуся. — Я схожу за деньгами. Но вы не уйдете?

— Я не могу долго ждать, — отвечал мужчина. — Но вас подожду. Идите, гражданка, за своими деньгами.

Он сел, растопырив колени, согнувшись спиной по спинке скамейки и раскинувшись руками в ширину, сколько мог — в этой неудобной позе он ощущал, видно, большую степень свободы.

Но скоро устал от своей свободы, от своей автономности, от своей независимости от изгибов скамейки. Сел нормально.

— Девочки, дайте мне пять рублей. У кого занять до аванса? — сказала Дуся, вбегая в комнату.

— У меня больше нет, — ответила Люба.

— А зачем тебе? — спросила Нина.

Тут бы ей рассказать, но она не рассказала.

— Нужно. Потом объясню. Неужели же нет ни у кого? Очень нужно!

— Погоди, — сказала Нина. — Я сейчас соображу.

Она посмотрела в кошельке, сперва только сверху, а потом глубоко; посидела, держа его рас-

пахнутым в руках перед собой, пошептала; вынула пятерку, опять запихала; что-то прикинула и вдруг сообразила.

— Ладно, бери, я уж как-нибудь выживу.

— Вот спасибо! — обрадовалась Дуся и схватила пятерку.

— Я отдам! Может, даже и раньше! — крикнула она из дверей и умчалась.

Мужчина, действительно, все еще ждал. Банки он составил на скамейку и прикрыл полой пиджака — как насадка.

— Вот видите, из-под полы, — сказал он, встрепенувшись. — Все как полагается.

— Мне очень и очень и очень... — начал он опять, но задумался и кончить забыл.

Дуся вежливо согнула вдоль пятерку и тактично подала ее щепотью. Собрав в сетку банки, она убежала домой.

Никому не сказав, она вскрыла одну из банок на кухне. Из дырки брызнул обильный жидкий сок.

«Сочная, — подумала Дуся. — Это хорошо, что сочная».

В банке была не свинина, а зеленый горошек.

— Перепутал! — испугалась Дуся за того мужчину. — Вот ведь дурачок, перепутал же банку!

Она представила его — чего ему делать когда обнаружит? — и даже захотела, пускай он этого никогда не заметит.

Но оказалось — нет, не перепутал, не ошибся. Все банки были с зеленым горошком.

— А ведь обманул, пожалуй! — догадалась вдруг Дуся с непонятной радостью. — И как хорошо обманул, культурно! Ну и я сама виновата.

— Ну и что, ну и ничего, — успокаивала Дуся себя, как чужую. — Горошек тоже есть можно, заместо завтрака. Я даже, честно, горошек люблю. Это ничего, а могло быть и хуже.

Хуже быть не могло, потому что денег теперь не достать ни за что, больше негде, а скоро надо уже отдавать. У каждой в комнате Дуся уже одолжила, у них у самих больше нет и не будет. «Всё, — говорят, — есть, ну а денег, извините, нету. Где их взять? Не растут где попало. Оттого их и нет.»

— А ведь в общем-то мне их не надо, — подумала Дуся. — Только бы выкрутиться, а так-то зачем? Да ведь не выкрутишься же теперь. Ни за что!

Дуся посидела одна в темной кухне, а потом пришла к себе в комнату получить сочувствие. В комнате были только Катя и Нина.

— Дура! Ой, какая ты дура! — сказала Катя со всей сердитостью, какая в ней набралась.

— Ты бы хоть у нас-то спросила, хоть бы намекнула, — расстроилась Нина.

— Катя, Нина, — сказала вдруг Дуся отчетливо. — Я сегодня соль просыпала.

— Ну, — сказала Катя, удивленная.

— Катя, не будем ссориться. Мы ссоримся и думаем, что это мы сами, — а это соль. Давайте не будем делать ей удовольствие.

Тут она села на кровать, отвернулась и недолго плакала, — мокро, но без голоса.

Вернулась Любаша и включила репродуктор.

— Сообщение о погоде, — сказало радио.

Только это оно и успело сказать. Дуся кинулась и выключила его и не стала слушать дальше. Ничего хорошего не ждала она от погоды.

— Что это ты? — удивилась Любаша. Ей рассказали.

— Нет, придется мне, видимо, сходить на проспект, — сказала с силой неожиданно Дуся, начисто утираясь от плача.

Эти слова не ушли, как обычно, куда-то, куда они уходят всегда. Они остались висеть в этой комнате, где-то под лампой с сиреневым абажуром.

— Да что ты, Дуся, да ты подумай, — сказала Катя, очень быстро сказала, как будто думала об этом сама.

— А чего и беречь-то? — сказала Любаша. — Вот бережем, бережем, а на что? Хорошему человеку на это плевать, а худому и беречь не хочу.

— Да тебе-то нечего уже беречь, — сказала Нина строго. — Утащили.

— Я сама отдала. Ни за так, — сказала Любаша громче, чем надо, и вышла на кухню.

Остальные затихли.

— Да, — сказала вдруг Нина серьезно. — Видно, надо разок тебе съездить на проспект. У меня если б были, я сразу тебе отдала, хоть десятку. А и у меня теперь долго не будет.

— Это надо выбиться разок из долгов, а потом оно само пойдет, — согласилась и Катя.

— Вот Маруся Лопухова. Знаешь ты Марусю Лопухову?

— Нет, — ответила Дуся.

— Да как же, да ты знаешь Марусю, у нас в цеху, такая еще... ну, ты знаешь.

Нина кругло почертила в воздухе двумя руками, разводя их все дальше.

— А, — сказала Дуся. — Ну, знаю.

— Вот она ходила однажды. Враз всё поправила и еще на пальто начала набирать. Год уже набирает, скоро, видимо, купит. Но она, правда, видная из себя, не как ты.

— А тебе не страшно? — спросила Катя с интересом.

— Нет, не страшно, — отвечала Дуся. — А мне ничего, я же только на раз. Ничего не поделаешь, если это так надо.

— Да, — сказала Катя. — Ничего тебе не сделать. Заработать бы сразу — так где заработать.

— Нет, и не заработать теперь сразу много, — подтвердила со знанием Нина. — Нет, не заработать. Все шабашки сейчас поприкрыли или плоттют мало.

И Дуся поехала на главный проспект.

Глава вторая

СТЫДНО

Целый день Иван Петрович не думал о женщинах.

К вечеру все же он больше не смог и подумал.

Сначала он вспомнил про вчерашнюю девушку, но тут же его захлестнула обида.

Конечно, девушка ждет, что он ей позвонит. Она считает, что он теперь должен ей уже позвонить. У нее уже прочно живет убеждение, буд-

то она поступила с ним жертвенно, необычно. Чем же, чем она пожертвовала для Ивана Петровича? Что она может вообще ему отдать? Одну-единственную женщину, что в ней содержится и не больше, а это очень мало, — но сколько при этом на это настроено, сколько обидной зависимости должен он ощутить у нее на глазах, как должен он уступать, даже если не хочется ему уступать, как нападать — если даже в жизни не любил нападать.

— Нет, — сказал себе Иван Петрович, испугавшись. — Я не буду сегодня звонить этой девушке. Я не буду сегодня звонить никому.

«Женщины? — подумал Иван Петрович, стараясь вызвать в себе равнодушие. — Не нужно, достаточно, я уже знаю вперед все, что будет.»

«То есть не нужно куда-то их звать, уводить, уговаривать на что-то, обнимать их руками, — тут же поправился он, чтобы быть все же честным. — Я и так всех, меня окружающих женщин, всех проходящих, всех встречных, живущих со мной почему-либо рядом — имею немедленно в сердце своем!»

Думая так, он точил свою острую обиду на женщин, хорошо отточил, а потом собрался, спустился по лестнице, вышел из дома, прошелся у выхода назад и вперед, повернул в переулок, миновал переулок, вышел на большую улицу, потом на проспект, ухватил себя пальцами за края рукавов и неспешно двинулся блудить кругом глазами.

Со всех сторон на проспект съезжались люди. Они торопились, бежали, давились в трамвае, вскакивали на автобус, пересаживались, а потом

доезжали наконец до проспекта, сразу же затихали, расправлялись и пускались в прогулку: руки вдоль тела, нога за ногой, не спеша.

«Какое у меня наслаждение все-таки от простых моих глаз! — удивился Иван Петрович и даже потрогал глаза свои пальцем. Они выпирали под веками и немного дрожали, торопились раскрыться, только снимется палец. — Как они цепко хватаются за всё по пути! Больше всего мне, конечно, нравятся люди: как они ходят, как выглядят и одеты. А среди них все же мне интереснее женщины.»

Вот совсем молодые — едва только грудь. Как они вышагивают, шествуют строем, легко кидая ногами подола от платьев!

Стоит у магазина спокойная, зрелая женщина, не защитив свои колени платьем, не нуждаясь, а она у ней в горсти, склонившись, пишет адрес.

Парни втроем уговаривают на что-то рыжую девушку, а рядом, немного в стороне, отойдя, стоят две других, уже бесповоротно уговоренные, и спокойно ожидают, не вмешиваясь.

Очень высокая идет по городу вечером совершенно одна и ничего не боится. Кто же к ней пристанет? Не каждый. Не найдется такого, чтоб мог к ней пристать и хотя бы достигнуть плеча.

Иван Петрович смотрел, открыв рот. Как ее обнять, думал он. Как обнимают таких громадных женщин?

Патефон, поставленный не на свою, не под пластинку, слишком быструю скорость, орал в окне верещливым бесполом голосом.

Даже едучи в трамвае, Иван Петрович всегда найдет среди женщин такое лицо, которое может ему соответствовать, то есть с которым внутри у него могла бы установиться связь, и прислонится к этому лицу глазами, ничего не желая в ответ от него. «Почему бы это?» — думал он иногда.

Вдруг Иван Петрович встал на месте. Мимо него выступала красивая девушка в брючках. Он так и вцепился в нее глазами.

Нет, это были не те тонконогие девочки, вынутые из обычной одежды, пересаженные в брюки с мужского плеча, — это был гренадер в светлых, в серых лосинах, туго наполненных всем, что должно их наполнить; с обозначенными впадинами — там, где надо впасть; с нежными линиями зада, в красных модных сапожках, достигших утолщения икр.

— Ишь ты! — воскликнул про себя Иван Петрович. — Какие люди ходят тут в это время! Невиданные люди.

«Какое же наслаждение идет у меня через глаз! — удивился он снова и зажмурился на мгновение. — Вот шагает обросший телом по бокам и с пуза, при ходьбе нажимает на правую ногу, — у меня и от него наслаждение, от того, что я вижу, как он мощно оброс, как старательно нажимает. Всё же я думаю, что это нечестно! Люди идут и не знают, что мой глаз получает и с них удовольствие. Может, если бы знали, они что-то сделали? Спрятали пузо, измяли костюмы, не шагали, не подмигивали, не писали в горсти.»

— Нет, это все-таки стыдно, — сказал Иван Петрович едва ли не громко, и ему действительно сделалось стыдно.

Глава третья

СОВСЕМ СТЫДНО

«Вот я иду по улице скромно, — думал Иван Петрович (и теперь, действительно, шел очень скромно), — никого не разглядываю больше из женщин, не пристаю к ним с нахальным знакомством, как другие, и это должны они все оценить; сами, сами! меня должны они за это любить, за такую скромность, не похожую на других, несмотря на мое желание с ними знакомиться, то есть с женщинами.»

«Но как бы только они оценили во мне мою сдержанность, как бы не подумали, что просто я занят, просто на них не хочу и смотреть, просто мне и сдерживать нечего к ним — они ведь этого не полюбят во мне!»

Иван Петрович заволновался, стал оглядываться и увидел еще одну девушку, которая медленно шла ему навстречу, как-то странно, как на уже совершившееся, на решенное, глядя на него распахнутыми глазами.

Она тоже вольно и, как показалось Ивану Петровичу, несколько грустно шла по асфальту прямыми ногами, одетая в текучую шелковую кофту — не совсем по погоде; круглые руки болтались у тела вдоль ее хорошего, основательного роста; волосы скобкой повешены над ушами, временами сползают с ушей на лицо. На лице не видно привычки красоваться, а то оно было бы, может, красивым.

«Я бы ей убирал эти волосы от лица», — пронеслось у Ивана Петровича вдруг.

— Возьмите меня с собой! — сказал он неожиданно сам для себя, легко так сказал и пошел было дальше.

Девушка остановилась, обсмотрела его и, вздохнув, проговорила:

— Ну, ладно.

— Значит, что же... пойдём? — сказал растерявшийся Иван Петрович.

— Хорошо, — ответила Дуся. — Только мне нужно будет денег заплатить.

— А, вы такая... — сказал Иван Петрович, слегка испугавшись.

— Да, — подтвердила Дуся. — Я такая.

— А разве такие теперь бывают? — удивился Иван Петрович.

— А как же? — сказала Дуся. — Вот я и есть.

— Ну хорошо, — подумав, проговорил Иван Петрович. — Я согласен. Куда мы пойдём?

— А куда вы меня приглашали?

— Ну, я так... я не знал... ну, в кино или куда там сейчас в общем ходят. В ресторан.

— Нет, в ресторан я не хожу, — сказала Дуся, вскинувшись. — Я никогда и не была в ресторане. То есть меня ухажеры очень часто приглашали и даже тянули, только я не пошла. Я не хотела после рассчитываться с ними.

— Что это значит — рассчитываться? — спросил Иван Петрович.

— Я никогда не любила, чтобы я была должна. Даже в кино если купят билеты, я потом незаметно откуплю в другой раз. А в ресторан столько денег надо сразу, это сколько же нужно работать — неделю! — мне эти деньги зараз тратить жалко, и ему, я думаю, жалко, а все же он тратит? Ну

так, наверно, он это с расчетом. Значит, я должна оплатить ему, но я не хочу. Так и не ходила, потому что еще не решила рассчитывать.

— Подождите, подождите, — сказал Иван Петрович и заморгал, не понимая. — Вам же и надо потом рассчитывать, раз вы такая? Или вы не такая? Не пойму.

— Нет, нет, — заверила Дуся. — Я такая. Только я за это ресторан не хочу.

— А вообще-то вам хотелось в ресторан? Интересно?

— Ну конечно, мне интересно, я же там не была. Интересно, но не очень. А меня очень часто приглашали, да я не пошла. Может, потому и приглашали, что не шла. Вон Валя просится, чтобы ее пригласили, а ее не зовут, потому что ей нравится. Я и то говорю: Валя с вами пойдет; ты иди с ними, Валя! — Они же меня не зовут, — отвечает Валя. — Они зовут тебя. — И обижается. Они-то и правда ее не зовут, а меня приглашают, добиваются, чтобы мне пойти — а всё потому, что я туда не иду.

— А куда же еще? — затруднился Иван Петрович. — Я бы все-таки в ресторан. А?

— Да и чего же в ресторан-то? — удивилась Дуся и по-тихому оглядела Ивана Петровича. — Вы ведь, наверно, не того хотите?

— Не того, — подумав, ответил Иван Петрович.

— Как же мы «то» в ресторане сумеем?

— Не сумеем, — согласился Иван Петрович.

— А у вас разве дома нельзя? — спросила Дуся.

— У меня... — замялся Иван Петрович. — Нет. У меня нельзя.

На это Иван Петрович не мог решиться.

— Да я очень тихая, вы не подумайте. Я у вас и прибрататься могу, если вы один проживаете. А если опасаетесь соседей, это ничего, вы меня так проведете, так тихо (я умею!), что никто не увидит. И потом я из комнаты никуда не уйду, даже в уборную могу не ходить. Я очень долго умею терпеть, верно-верно.

— Нет, — с трудом проговорил Иван Петрович, покрасневши. — Я не один.

Это была неправда.

— Ну, придется ко мне, — с сожалением сказала Дуся. — Что же делать.

И они поехали в общежитие.

Глава четвертая

ОБЩЕЖИТИЕ

В комнате были четыре кровати, стол, стулья и шкаф. Комната как комната, как любая другая в любом общежитии, слегка приспособленная для неприхотливого общего житья.

И как всегда это водится, кровати, стол, стулья и шкаф, а особенно стены имели знаки внимания от девушек, проживающих среди них, носили следы их старания сделать кругом небольшую красоту, которая им по вкусу и по средствам.

Подушки стояли стоймя на одном углу посредине кровати. На столе накрыта вырезная бумажная скатерть. Между стенкой и шкафом набиты

фанерные полки, на которые ставится лишняя обувь. Полки покрашены розовой краской, на верхней наклеены артисты кино.

Главное украшение на стенах — отрывной календарь, целых три календаря за разные годы. От календарей ничего не оторвано за все эти годы, но они хорошенько распухли и внизу расходятся в гармошку от стенки, — потому что, видимо, их нередко читают.

Это не просто календарь, это календарь, между прочим, специально для женщин, и здесь его любят ежедневно листать, а особенно Катя.

Каждое утро, просыпаясь со сна, она перевертывает прошлые страницы и находит новый сегодняшний день.

— Что сегодня? — говорит себе Катя. — А ну-ка посмотрим.

И смотрит.

— «Как поживаете, стальные земляки?»... — читает Катя. — Нет... это было вчера. А сегодня... Где же сегодня? Да вот: «В мире капитализма ежегодно голодает... (Подумать только, ужас какой! Голодают!) шестьдесят процентов населения».

— А где это, где? — спрашивает Нина.

— Дак в Америке же, говорю, в капитализме!

— Неужели сразу столько процентов? Вот так и написано?

— Ну да, — говорит Катя. — Как бы вы узнали, если бы не календарь?

И все соглашаются, что да уж, никак.

— А что было в прошлом году в этот день? Ну-ка взглянем, — говорит себе Катя.

И взглянет.

— «Комплекс гимнастики для женщин среднего возраста». Жалко, что я еще не в среднем возрасте. Но я в нем когда-нибудь буду. Значит, мне когда-нибудь этот комплекс сгодится.

— Я все теперь знаю, что надо знать человеку в наше время, — говорит часто Катя. — А все благодаря календарю.

И это верно.

Дверь изнутри, из комнаты, они покрасили белым, тогда как снаружи она оставалась зеленой.

Дуся сперва постучалась в эту дверь, как чужая, а потом уже ее отворила.

— Вот, — сказала Дуся, входя с Иваном Петровичем. — Познакомьтесь.

— Здравьете, — сказал Иван Петрович смущенно и потрянул головой на две стенки.

Девушки все поздоровались и сказали, как звать.

— Вот деньги, — сказал Иван Петрович. — Купите, пожалуйста, вина и закуски.

— Ну хорошо, — сказала Дуся, доставая кошелек. Она потрясла кошелек и пошарила в нем руками.

— Все же я не люблю свой кошелек, — подумав, сказала она. — Во-первых, за то, что он часто пустой.

— А во-вторых? — спросил Иван Петрович.

— Что? — переспросила Дуся. — Во-вторых?

Она подумала снова.

— И во-вторых потому же.

Дуся взяла у Ивана Петровича деньги и вышла.

— А вы не скучайте, — сказала она, возвращаясь с дороги. — Девушки, вы не давайте ему соскучать, хорошо?

И ушла.

Иван Петрович сел и немного поулыбался для начала.

— Криворожье мое, Криворожье, — пело радио.

Девушки сидели у себя по кроватям и казались Ивану Петровичу немного похожими. Милые такие девушки, очевидно, веселые, а может, и нет.

— Криворожье, тебя нет дороже! — пело радио жизнерадостно.

Катя стояла коленями на постели и листала календарь.

— Что ты ищешь? — спросила Нина.

— А так, — ответила Катя. — Говорят, в Америке изобрели такую машину, которая уличает человека во лжи. Что-то там одевают, подключают, и сразу становится ясно, правду человек говорит или врет. Это верно?

— Да, — подтвердил Иван Петрович с удовольствием, что может не молчать. — Есть такая машина, это верно.

— Неужели есть? — удивилась Нина.

— Вот бы, — сказала Любаша с какой-то задней мыслью, — всех бы мужчин пропустить через эту машину.

— Да, — сказала Катя. — Вот бы узнать, что они думают на самом-то деле!

— Почему же мужчин? — слегка обиделся Иван Петрович. — Не все ли равно, если врет, так уж врет, все равно, мужчина или женщина.

— Женщина мужчине не врет, — сказала Нина строго. — Если даже и врет, потому что он этого хочет. А мужчина женщину все время обманывает.

— Даже в разговоре врет, — добавила Катя. — Почему он с женщиной притворяется скромным, а с мужчинами как говорит? Вы же знаете. У мужчин могут быть только грубые разговоры.

— Да, — сказала Люба. — Я тоже, когда захожусь в мужском обществе, я всегда боюсь, что они забудут и скажут что-нибудь лишнее. Хоть я и сама бы могла им сказать, но их разговора почему-то боюсь.

— Мы и вам не особенно верим, вы учтите, — сказала Нина. — Вы назвались по имени Ваней, а мы не очень поверили. Верно?

— Верно, — ответила Катя. — Может, вы и не Ваня.

— Да зачем же мне врать-то? Не все ли равно? — улыбнулся Иван Петрович, как шутке, не показывая виду, что ему не по себе.

— Мало ли какая в этом выгода, — сказала строго Нина. — Мужчина женщине всегда немного врет.

— Ну, у нас все равны, — сказал Иван Петрович, не желая спорить.

— Что-что? Все равны? — переспросила Нина.

— А как же, — подтвердил Иван Петрович несерьезно.

— Вот вы и равны сам с собой, — сказала Катя с укором, как маленькому. — Вы серьезно это думаете?

Иван Петрович задумался. Почему бы и нет, почему бы и не серьезно?

— Да, у нас все равны, — сказал он снова, улыбаясь и желая показать, что он не спорщик, а нормальный, славный человек без задних мыслей.

— Это вы про мужчину и женщин? — спросила Нина.

— Ну, и не только... Вообще все равны.

— Да, конечно, равны... — начала было Катя, но Нина сразу прервала ее:

— Дай я скажу.

Она немного помолчала, словно думая, как бы попроще объяснить Ивану Петровичу и отдельно сказала:

— Ну, ладно, ну действительно, теперь все равны. (Она притворно будто бы с ним согласилась.) Но почему же генерал все же толще, чем, к примеру, полковник?

— Да! — вскочила Катя. — Почему?

— А полковник всегда вдвое толще нормального лейтенанта?

— Почему, вы скажите-ка? — радовалась Катя.

— Это верно, у меня был когда-то ухажор лейтенант. Очень тощий, — подтвердила Любаша.

— И все они толще, чем прочие рядовые. И немало! — с убеждением закончила Нина.

— Ну, так почему? — спросила Катя, так и глядя на Ивана Петровича.

— И я тоже думаю иногда, почему? — встала Любаша, как не столь серьезная, не в пример остальным.

Все ждали, что скажет Иван Петрович на это.

Тут отворилась дверь и вернулась в комнату Дуся с покупкой.

— Ну что, не скучали? — спросила она совсем другим голосом, чем сейчас говорили все в комнате.

— Нет, — сказал Иван Петрович честно. — Не скучал.

И вздохнул.

Дуся была спокойная и даже веселая. В магазин она ходила быстро, несмотря на очередь, и от этого было у ней удовольствие. А от необильной еды за последнее время в животе было ясно и светло, и легко можно было представить себе, что там уложено одно на другое. От этого в голову шли тоже ясные мысли. Дуся даже слегка напевала дорогой.

— Давай никогда не ссориться... — пела Дуся. Эта песня ей нравилась по своей по идее.

— Да-вай никогда не ссориться! — дальше слов она не помнила и пела так: тя-ря-ря.

Она принесла в сумке маленькую водки, триста грамм колбасы и сто масла.

— Что так мало? — спросил Иван Петрович.

А Дуся ответила:

— Хватит.

Она собрала в кошельке и в карманах сдачу и всё положила перед Иваном Петровичем. Иван Петрович удивился и сдачу убрал.

— Ну, что же, — сказал он нерешительно. — Давайте... Катя, Нина... Любаша... Давайте, Дуся, выпьемте понемногу. Только что же тут пить? Нет, это мало, очень мало! Есть же деньги! У меня как раз получка сегодня.

— Я не хочу, — ответила Нина. — Спасибо вам.

— И я, — сказала Катя. — Я тоже... спасибо.

— Пейте вы, — сказала Дуся. — Это вам для настроения. А мы не нуждаемся, мы и так все веселые.

— Нет, а я бы глотнула, — сказала Любаша. — Разок!

— Вот, вот, — обрадовался Иван Петрович. — И я говорю!

— Люба, — сказала Нина. — Ты что, не пила ни разу? Оставь!

— Ну ладно, — сказала Дуся, решившись, как главная. — Тогда сходи сама. Ладно, сходишь? Купи портвейного вина и булку хлеба, я забыла. А больше не трать ничего, не надо. У него они тоже не растут в кошельке.

— Я мигом! — крикнула Люба и убежала.

Не успели снова начать говорить, а она уже вернулась с вином.

Сдачу она ссыпала Дусе в ладонь, а Дуся пересчитала и вернула Ивану Петровичу.

Выпили все церемонно, по разу, за столом посидеть не захотели, не стали. Тут же все, кроме Дуси и Ивана Петровича, разошлись и сели у себя по кроватям.

«Что же я делаю? — вдруг подумал Иван Петрович и ясно поглядел на Дусю. — Теперь мне нужно отсюда уйти!»

— Ну ладно, — сказала Дуся Ивану Петровичу. — Выпили? Закусили?

— Да, — ответил Иван Петрович. — Закусил.

— Будем свет теперь гасить, — сказала Дуся. — Девушки, я буду свет гасить?

— Гаси, — сказала Нина.

— Верно, спать пора, — согласилась с ней Катя.

Люба чего-то засмеялась сама про себя и сама себе рассказала смешное:

— Идешь иногда, а тебе кричат: ты что идешь, пятки сзади? Посмотришь, а они, и правда, сзади. То-то смеху.

Она еще посмеялась сама над собой и стала расстегивать кофточку на ночь.

«Уйти, так подумают, что я денег жалею», — сказал Иван Петрович про себя.

Свет между тем погасили.

«Я и выхода теперь не найду», — подумал Иван Петрович.

Ему ничего не оставалось, как лечь вместе с Дусей.

— Теперь уже нельзя по-другому, — думал он. — Ну, пускай, будь что будет!

«Но ведь ей же от этого хуже не станет! В этом нет ничего худого, само по себе это дело хорошее, — честно возникло у Ивана Петровича. — Может, с кем-то другим это было бы плохо, а со мной ей не может быть плохо, со мной никому не может быть плохо. Я ведь верно все это пойму, ну а это же самое главное. Мало ли с кем бы ей пришлось без меня, а со мной все же лучше, я такой человек...» — какой он человек, Иван Петрович не определил, но чувствовал в себе и старался передать это Дусе.

— Только имейте в виду, что я девушка, — сказала Дуся.

— К утру узнаем, всё узнаем, — торопливо закивал в темноту Иван Петрович.

— Нет, это правда, — сказала Дуся упрямо.

— Что же теперь делать? — быстро откликнулся Иван Петрович, не давая себе испугаться. —

Теперь уже это все равно — девушка или не девушка.

— Нет, я вам правду сказала, вы учтите. Люба, я правда ведь девушка?

— Да, — ответила Люба. — Она, правда, девушка, верьте.

— Катя, я девушка?

— Да, — ответила Катя. — Ты девушка.

— У нас все девушки, кроме Любаши, — сказала Нина, оцупью заводя будильник.

— Я знаю, с девушкой это труднее, но ничего, постарайтесь, вы просто учтите, — сказала Дуся. Кругом все затихли.

Люба лежала, вспоминая своего лейтенанта.

— Что же мне делать, когда я хочу? — говорил он ей несколько раз до того.

«А правда, чего же ему делать, когда ему хочется? — думала Люба. — По другим ходить, что ли?»

И она уступила.

— Но ты мне что-нибудь пообещай, мне тогда и полегче это будет, — попросила она.

— Нет, я не могу ничего обещать. Не то сейчас время, чтобы вам обещать, — отвечал он прямо.

«Что же делать», — думала Люба ничуть не печально.

В общежитии все собирались уснуть, ходили, фыркали — умывались на ночь. Двери плакали, как маленькие дети.

— Сразу нельзя, — сильным шепотом сказала вдруг Дуся. — Даже голубь не станет топтать голубку, пока не нацелует, сколько надо, — а то голубка его не допустит.

«И верно же!» — изумился Иван Петрович.

Он долго и старательно укрывал, запутавшись, Дусю своим углом одеяла.

— Да не так, — сказала Дуся и поправила одеяло как надо.

— Ах да, ах да, — сказал Иван Петрович.

По лестнице ходили шаги вверх и вниз.

— Кровать скрипит, — тихо проговорил Иван Петрович через некоторое время.

— Ну и что? — спросила Дуся. — Вам противно?

— Нет, что вы, что вы, — отвечал Иван Петрович. — Просто это неудобно. Мы же девушкам мешаем засыпать.

— Девочки, я вам мешаю? У меня кровать скрипит, — сказала громко Дуся.

— Нет, не мешаешь, — ответила Катя.

— А скрипи, если нужно, — сказала Любаша и перевернулась под своим одеялом.

Нина молчала: возможно, спала.

Всё реже плакали двери у комнат и тем всё заметней.

Глава пятая

УТРОМ

— Сколько это будет стоить? — спросил Иван Петрович, проснувшись наутро.

— Тридцать рублей, — сказала Дуся, не задумавшись.

— Почему же именно тридцать? — спросил Иван Петрович, удивленный, но с полной готовностью.

— Десять рублей я должна вот этой девушке, пять той, восемь рублей — вон, которая у окна, остальные семь рублей мне дожить до получки, — быстро ответила Дуся.

— Люба! — позвала она.

— Я, — сказала Люба, высунув голову на подушку.

— Я тебе должна десять рублей?

— Должна, — подтвердила Люба и спряталась.

— Катя! — позвала Дуся.

— Нет, зачем же, я верю, — сказал Иван Петрович. — Я просто.

— Катя, — сказала Дуся, не слушая Ивана Петровича. — Я должна тебе пять рублей?

— Да, должна, Дуся, правда, — ответила Катя, не поворачивая к ней лица.

— А тебе, Нина, восемь?

— Да, восемь, — ответила Нина, опуская ноги с постели, как будто Ивана Петровича не было в доме.

— Мне самой до получки семь рублей прожить надо?

— Надо, — сказала Нина. — Не меньше.

— Семь рублей — только-только, — подтвердила Любаша.

Катя встала в рубашке у себя на кровати и уже потянулась к своему календарю.

— Что сегодня? — сказала она. — Ну-ка взглянем.

И она полистала страницы.

— А сегодня африканская пословица: «Не отталкивай лодку, которая помогла переправиться тебе через реку».

Она подумала над этой пословицей.

— Да ведь это же как наша пословица: «Не плюй в колодец» и так далее. У них совсем одинаковый смысл! Значит, мы с этим африканцем как будто соседи, да ведь, Нина? Мы думаем с ними почти одинаково. Может, они и живут так, как мы? Просто, видимо, у них нет колодцев, а то б они тоже плевали туда.

— А я полжизни в реке провела, — сказала Дуся, одеваясь. — У меня поэтому все поговорки рыбные.

И правда, поговорки у нее были рыбные.

Люба посмеялась про себя на что-то, а потом рассказала:

— А в деревне еще, бывает, шутят так. Едет мужик, на лошади, а ему кричат от дороги: Эй ты, едешь! — лошадь-то у тебя в хомуте! Он слезает, посмотрит, а лошадь-то и правда в хомуте. То-то смеху.

Все смеялись, вставали, одевались, не обращая внимания на Ивана Петровича как на мужчину.

Иван Петрович стыдливо оделся.

— Вы, наверное, выйти хотите? — спросила Дуся.

— Нет, нет, — сказал Иван Петрович. — Ничего.

— Пусть уж потерпит, — заметила Нина. — А умыться мы ему принесем. Люба, принеси ему помыться, пусть умоется. А выходить сейчас не надо, заметно.

Люба принесла в кружке воду и полила Ивану Петровичу над тарелкой. Он умыл лицо и руки.

— А теперь идите, — сказала Дуся. — Спасибо вам.

— Погодите, я выгляну, чтобы никто не видал, — удержала их Нина и пошла в коридор.

— Можно, идите, — позвала она. — Только быстро! На втором этаже можно медленно, там уже мужчины. До свиданья!

Иван Петрович в момент очутился на улице.

Глава шестая, глубоко символическая

Едва дождавшись, пока кончится сегодня работа, Иван Петрович помчался назад в общежитие.

Он дошел до остановки со всеми, но на ней не остался, а пошел через улицу и стал ждать трамвая в другом направлении, прямо стоя лицом против всех тех людей, с которыми вместе привык возвращаться и которые — тоже привыкнув к нему — сегодня косились на него через рельсы.

Все люди, что ехали обычно с ним вместе, ехали сегодня ему навстречу.

Глава седьмая

ШАЛАШ

Он стоял возле двери общежития и немного похаживал, ожидая Дусю с работы.

— Здравствуйте, — сказала Дуся, подходя к общежитию, хотя они и виделись сегодня с утра. — А вы чего? У меня теперь до получки хватает. Мне теперь никогда больше будет не надо, я уже не буду залезать больше в долг.

— Да нет, я бы хотел с вами по-другому, то есть встретиться, как будто я вас жду и вы пришли, — сказал Иван Петрович необычно для себя, очень просто, хотя и несколько неловкими словами.

— Вам правда хочется, чтоб я пришла, а вы меня ждали? — спросила Дуся с пониманием, немного подумав.

— Да, — отвечал Иван Петрович.

Дуся снова подумала.

— Ну хорошо, а куда же мы тогда пойдём?

— А туда же, к вам, в общежитие, — ответил Иван Петрович.

— Нет, если так, то тогда в общежитие неприлично.

— Почему неприлично? Вчера же было прилично?

— Ну, вчера — другое дело, — отвечала Дуся твердо. — А если так, то нельзя. В общежитие приглашать не положено. Лучше мы пойдём в кино. Только я сама заплачу за билет.

— Почему же вы? Всегда за билет платит кавалер, — сказал Иван Петрович.

— У меня же теперь деньги есть, — возразила Дуся. — Я пойду, только буду сама покупать.

— Ну ладно, — согласился Иван Петрович. — Пусть будет по-вашему.

И они пошли в кино.

Но в кино они сегодня уже не попали.

И опять на мгновение Ивану Петровичу пришли обидные мысли по этому поводу.

«Город, он все время тебя соблазняет, — в момент распаяясь, подумал Иван Петрович, — и все

время обманывает! Вот ровная зеленая трава в саду и в сквере, — а на ней полежать, поваляться, как тянет, нельзя; вот женщины, приодетые, никуда не спешат, — а обладать ими нельзя, в крайнем случае только одной, не всегда самой лучшей, и то с громадными трудами, с ближним боем; вот кино, реклама так и светится из конца в конец улицы, — а билеты все проданы еще в два часа!»

Уже он в полсилы распалил в себе обычную обиду, но Дуся спокойно сказала на это:

— Ну и хорошо. Я на этот фильм все равно бы не пошла.

— Почему? — спросил Иван Петрович и в момент успокоился, от чего — непонятно. — Вы его видали?

— Нет, я сама не смотрела, мне его передавали. Там все время говорят о справедливости, а я не люблю.

— Что же, вы не верите, что есть справедливость? — спросил Иван Петрович.

— Нет, справедливость, конечно, имеется, — отвечала Дуся спокойно. — Только не для всех одинаковая. Мне не нравится, когда меня упрашивают быть всегда справедливой, а со мной не обещают справедливо обращаться.

— Для кого же справедливость не такая, как для нас? — спросил Иван Петрович с интересом.

— Для нахальных более простая справедливость, — ответила Дуся. — Они ее себе выбивают, как могут.

«А они, в общем, могут», — пронеслось у Ивана Петровича со стыдом на прежнее его поведение и тут же исчезло.

— Вот что, — сказала Дуся решительно. — Ну его, кино, поехали в парк, погуляем? Я знаю парк один хороший.

И они поехали в парк.

Ехать надо было метро. В метро шла бойкая покупка лотерейных билетов.

— Сумма маленькая, а счастье больше! — кричал продавец, крутя за ручку лотерейное счастье с крупной надписью: «Завтра тираж!»

Иван Петрович замедлил ходьбу, выпустил Дусю и пошел немного боком, оглядываясь на вертушку с билетами и уже представляя, как он очуется от этого дешевого лотерейного счастья.

Он уже потянулся в карман, уже собрался купить себе с Дусей билетов, но тут вдруг исполнилось шесть часов вечера. Продавцы враз окончили свою дневную работу. Подхватив в одну руку стул и вертушку, они побежали куда-то туда, где, видимо, оставляли их на ночь. Один из них, толстый и в каракулевом картузе, два раза бегал через толпу со столом под мышкой, возвращаясь за оставленными калошами.

Иван Петрович слегка огорчился, но тут же заметил, что Дуся за все это время не взглянула в сторону лотереи, не соблазнилась этим заманчивым счастьем. Он посмотрел на нее очень долго и с интересом.

Они с Дусей сели на поезд и скоро приехали.

У парка, у входа, стоял инвалид. От него шел крепкий, лошадиный запах.

— Будьте любезны! — говорил инвалид, приглашая помочь на его угощение, и протягивал руку.

— Здоровья и счастья! — благодарил он потом и немного кренился вперед в знак поклона.

Немолодой человек шел из парка с женой и все время интересно говорил с ней о погоде, то и дело называя жену Ирусей.

— А я, — говорила Ируся радостно, — сегодня перед работой прошла пешком до самого завода!

— А я сегодня прогулялся во время обеда!

— Итак, сколько мы были сегодня на воздухе?

На кустах вдоль дорожки были понавязаны банты из розовой мягкой бумаги, отмечая пути для каких-то маршрутов. Банты были расположены по двое рядом: вот два, а через тридцать шагов снова два. Один из них был всегда на большой высоте, а второй, рядом с ним, был, напротив, повязан на нижние ветки. Видно, это ходили какие-то двое — и уже представлялось, что парень и женщина, и как им было хорошо тут ходить: нацепят по банту на куст, поцелуются, пройдут недолго и вяжут опять.

— А я устраиваю вас? — спросил неожиданно Иван Петрович, только и спросил он всего на эту тему и смолк.

— Да, — отвечала Дуся охотно. — Только вы очень взрослый, а так устраиваете.

— Что значит взрослый? — спросил Иван Петрович.

— А так, просто взрослый, и всё. Но это ничего. Это может пройти, если я постараюсь, — сказала Дуся, ничего не объясняя; только и сказала всего на эту тему и взяла его руку.

Волосы у нее разбрасывало ветром и под ними раздувалось нежное белое темечко, которое тихо гуляло вокруг головы.

— Думают, что я хуже других, а я и не хуже, — сказала Дуся негромко. — Видишь ли, у меня лицо такое, не очень. А так я везде ничего и характер общительный.

Какая-то птица, ворочая головой, выкрикивала на дереве свое чириканье.

— Вот руки у меня плохие, — говорила Дуся. — Видишь ли, у меня такая работа...

Она подолгу рассматривала свои руки, круглый ноготь на мизинце и сустав большого пальца, переходящий в край ладони, как он ходит там внутри, в ладони, морщит кожу, — начиная удивляться себе, словно в детстве.

Временами Дуся останавливалась, словно укушенная за ногу мошкой, и любовно и нежно, с задержкой на икрах, проводила подслоненным пальцем себе по ногам, поправляя чулок.

Навстречу попался одинокий бульдог без хозяина. Бульдог шел спокойно, виляя шелковым задом, как дама, и не удостоил посмотреть на проходящих.

Дорожка с бантами привела на аллею. Сразу стало понятно назначение розовых лент: на аллее в это время проводились бега; судя по оркестру в погонах и по сложенным в кустах гимнастеркам, бега проводились среди солдат или других каких военных, квартирующих в этом районе.

Много людей собралось возле финиша, зрителей. Все ждали убежавших.

Поперек аллеи висел транспарант: «Вперед, к победе коммунизма!»

Мальчишки стреляли из рогаток друг в друга устаревшими гривенниками, избежавшими обмена. Гривенники перелетывали через аллею, как птички.

А мы гаврики из Луги
И танцуем буги-вуги, —

пели гаврики, пристукивая друг друга по спине, по лопаткам, но не танцевали ничего и никак.

Оркестранты соскучились сидеть в погонах без дела, они почесали за пазухой под зеленым мундиром и дружно взялись за свои духовые.

Оркестр заиграл сам собой, без команды. Вокруг оркестрантов стояли мальчишки и глядели, не мигая, им в трубы. Другие кривлялись, взявши палки в рот, будто трубы, надували щеки, тиская бока тонким палкам, кланяясь ими на две стороны, подгибая колени, выпирая вперед колесом живота; но без смеха.

Откуда-то из лесу пришел дирижер, дал оркестру две ноты чувствительным пальцем и опять отошел.

Один из мальчишек сейчас же изобразил из себя дирижера, а потом перестал, продолжая дуть в палку.

Дирижер походил, поиграл с ребяташками, посидел на корточках, погонялся за кем-то, сказал, не догнавши: «Сейчас же поймать!» — затем возвратился перед лицо оркестрантов и еще немного подирижировал ими, хоть они и совсем, видно, в том не нуждались.

— Бегут! — сказал кто-то рядом и оркестр задумчиво заиграл мазурку.

На аллее появился усталый спортсмен, который небыстро бежал со всех ног.

Совсем нестрашный пьяный человек, прижавши висячий пиджак под рукой, стоял среди ожидавших у финиша: стоит, стоит и посунется на дорожку; после снова себя принимает назад. Вот и он заметил бегуна на аллее.

— Бегут! — закричал громким голосом пьяный человек.

Перед финишем бегущий слегка отклонился с пути, на ходу сплюнул в урну немного вкусной спортивной слюны, чтоб не пачкать дорожки и не заплевать целый парк, — а потом поднажал и финишировал первым.

Оркестр заиграл «На рыбалке у реки».

После первого потихоньку бежали другие. Рядом с ними, вдоль самой аллеи, по десятку раз финишировали все мальчишки.

Возле финиша со скрежетом затормозил мотоцикл. Из него вышли два генерала. Генералы были в лампасах и в пузе.

Уже одетого бегуна без веселья качали в стороне меж деревьев; он качался, не забыв придерживать свой карман, потому что человек не рассчитан, чтобы его переворачивали вверх ногами — тогда у него из карманов начинают высыпаться различные вещи и часто пропадают безвозвратно.

Пробежали какие-то неспешные, штатские люди, одетые в тапки с шипами и в безупречную новую форму, так красиво взяв финиш, словно были не последними, а самыми передовыми.

Двое медленно свернули финиш и унесли его на плече.

Свернули транспарант. Унесли вперед, вслед за финишем.

Уехали два генерала в машине, в которой уже находился полковник.

«И верно, — отметил Иван Петрович. — Генералы-то толще полковников. Почему?»

Мотоцикл заводил худощавый сержант.

Оркестр поиграл, поиграл и собрался.

Расходились.

Дуся с Иваном Петровичем пошли дальше в парк.

Парк утеривал свои аллеи, становился леском, чисто выкошенным кем-то с опушек и между кустами.

— А я, — сказал Иван Петрович грустно, — десять лет не ходил по траве без сандалий. Это зря?

— Ясно, что зря, — согласилась Дуся сразу. — Вы дайте и телу немного пожить, расправьте его, искупайте в воде. Надо и телу, не всё для себя.

— Да я купаю, — отвечал Иван Петрович. — Купаю, но мало.

Возле самой опушки был пруд. Вода в пруду лежала вровень с берегами. Как раз в ту минуту, что они проходили, рыбак поймал, наконец, свою рыбку.

Лодки ближнего военного санатория стояли строем на глади пруда, красиво выкрашенные в цвета офицерских мундиров.

Вдаль за прудом открывались поля, черно запаханные под озимые. На пашне бегали по черноте стаи чаек.

— Чего они там делают? — неподдельно удивился Иван Петрович на чаек.

— Они ищут червей, — отвечала Дуся.

— Что, червей? Для чего же им черви? Они рыбой питаются, как нам известно?

— А чтобы после ловить на них рыбу, — сказала Дуся без всякого смеха.

— Я полжизни в реке провела, — сказала Дуся снова. — Я про рыбу все знаю.

И верно, про рыбу она знала все.

Близко в овраге проходят пути. Паровозы везут длинный поезд вдвоем. Кудрявая стрелочница, высоко оголившись, протирает рельсы грязной тряпкой у себя на участке, чтоб они не стопорили на ходу поезду. В жидкой траве, на уклоне в овраг, стоит, сощурившись, молодой человек и крутит меж пальцами листик на сухом черенке. А по зеленой тропинке, шириной в одну неширокую ступню, бредет осторожная серая кошка.

В небе начинается ежедневная игра заката в разноцветные краски, которую мы наблюдаем обычно, только если настроены для глядения вдаль.

Вот и опять Иван Петрович был на улице, вернее, ощущал, что он на улице, было у него такое острое понятие об этом, было настроение, но уже не на грустной, а скорей на задумчивой, более прочной основе. Все, что не дом, называл для себя Иван Петрович улицей.

«Глядя на ближнее, на бумагу, на книгу, на людей, повстречавшихся в улице, — размышлял Иван Петрович очень остро, — можно нарочно так расфокусировать свой глаз, что не увидишь того, что перед тобой, или смутно увидишь, в двойных силуэтах. Но дальний взгляд невозможно искусственно затуманить, нельзя самому для себя иска-

зить; дальние люди, явления мира (то есть те, что являются кругом, вдалеке), увидятся так, как мы можем их видеть, — возможно только отворотиться и не смотреть на них вовсе.»

Иван Петрович отворотился, стал смотреть на Дусю и повел ее вдаль.

За дорогой парк продолжался опять. Он стал еще диковатей и гуще. Попадались березы на белом колене; молодые, лохматые вдоль ствола тополя; круглые, масляные листья кустов, растущих зелеными из самой земли; небольшие поляны в малиновых цветиках — среди желтой, забытой, стоялой травы.

Они вышли в этот малиновый цвет и увидели в центре поляны шалаш. Составленный из разных повянувших веток, шалаш стоял прочно на теле земли. Он был брошен людьми, в нем давно никто не жил, но внутри сохранилась подстилка из трав. Две плетневые стены подпирали друг друга, не давая упасть шалашу под себя.

«Как же образуется шалаш? — пронеслось у Ивана Петровича. — Берут две стены и насильственно каждую нагибают к противной. Стены падают, но наткнувшись одна на другую, уперевшись друг в друга, они удерживаются на месте и дальше больше не упадут никогда, продолжая косо стоять опершись. И в этом шатком объеме вполне можно жить, даже и очень великому человеку, — как то и было однажды в недавнее время.»

Ему захотелось забраться в шалаш; он вспомнил одно из главных впечатлений от детства, одну из немногих поездок в деревню. Он сидел на сеновале один, и шел дождь, он накрылся желтым бабушкиным полушубком и смотрел в небольшое

окошко на дождь. Сеновал протекал, через щель в потолке по одной то и дело стекали крупные капли. Капли стукали гулко в дубленую кожу и прибавляли Ивану Петровичу — а тогда просто Ване — чувства удовольствия от крепкой защиты.

«Дождь идет, но не может ничего со мной сделать!» — думал он непрерывно одну только мысль.

Пришла соседская девочка Таня, как ее все называли — Танюша, такого же возраста, что и он, лет тринадцати, а может быть, несколько больше. Танюша забрала у него четверть шубы, укрыла себя по плечам и затылку и тоже стала смотреть за окно. Сеновал был общий на целый их дом, в котором у бабушки было полдома; на другой половине жил Танин отец.

Ване нравилась она, как впрочем нравились многие, с кем он учился и вырос. Но уезжая в город, он только ее вспоминал по-особому и чёт знает что себе с ней представлял.

Он представлял, что, конечно, будет лето и не в городе, они с Танюшей разденутся где-нибудь в комнате, разденутся не так, как на пляже, а со значением, и останутся голые. Снаружи обязательно хлынет нестрашный им дождь, будет громко колотить по чему только можно. Он тронет ее не одетый тонкий бок, а она дотронется ему до плеча, потом до ребер. Так легко они будут касаться друг друга и вздрагивать кожей от холодного пальца. Это было все, что он тогда представлял, но уже тогда ему казалось самым главным, тем, что и решит, что он будет чувствовать при этом — как они придут к такому смелому решению, какие скажут слова перед тем, которые могут их заставить устыдиться — не друг друга, а себя, внутри, за нелов-

кость и поспешное стремление скорее, словно к делу; которые могут их сделать врагами и уже через вражду добиваться того, что рисовалось обоим; которые могут, наконец, оставить им для пущей их радости небольшое смущение, а вместе со смущением позволяют им так много доверять друг другу, так преодолеть недоверие и страх перед реакцией другого, что интересность иного человека, понимаемая через открывшиеся очертания и нежность тела, касание холодных пальцев, вздрагивание, через замедленное течение суток, устроила бы им такой счастливый день, которого еще не достигали никакие люди.

Но так у него никогда не случилось с Танюшей. Так у него не случилось ни с кем и никогда, хотя уже многое с ним в общем случалось.

И сейчас ему очень захотелось в шалаш, только он не знал, как отнесется к этому Дуся.

И словно узнав, что он только что думал, Дуся нагнулась и села в шалаш. Иван Петрович поспешно забрался туда, сколько мог. Ноги ступнями вылезали наружу. Дуся немного нависала над ним. Он неуверенно взял ее горстью за шею, потихоньку приближая к себе ее большой, от природы малиновый рот. Сильная шея поддавалась не вдруг, и Иван Петрович уже приготовился к обычной досаде. Но Дуся сама забрала его рот к себе в губы и долго, хорошо поцеловалась с Иваном Петровичем, а потом засмеялась и утёрлась запястьем.

Иван Петрович тоже хохотнул на себя, на свою неуверенность, которая была и вся вышла. Он вдруг зашелся от нежности к Дусе за ее понимание; нежность хлынула в нем от ушей и до пяток, заходила, защемила, заискала, где выйти. Он

почувствовал, что самое большое желание — повалиться Дусе головой на колени. И он позволил себе это желание и повалился ей головой на крутые колени, чего никогда не позволил бы прежде. Он вывернулся головою по этим коленим, обхватил их назад, через плечи, руками, стал глядеть на Дусино лицо снизу вверх, на ее округлый подбородок, губы, косо уходящие в рот, на ее подвешенные волосы, застилавшие глаз. Он потянулся и убрал их от глаза. Больше ничего, он чувствовал, ему не хотелось. Снизу поднимался запах прелой травы, какие-то веточки отделялись и сыпались вниз, на лицо, тонкая сухая шелуха струилась в воздухе от движений, колебавших шалаш.

Что-то чуть не попало в глаза, но глаза успели прикрыться; что-то втянуто в нос, и в носу запершило. К глазам подкатились, не пролившись, легкие слезы, грудь поднялась в непомерном, чудовищном вдохе, и Иван Петрович громко и счастливо чихнул на всю поляну раз и другой. Он остановился, зажмуренный, ожидая третьего раза, но третий раз всё не шел.

Дуся засмеялась.

— Вы такой же, как и я. Вам тоже не хватает одного чиха до счастья, — сказала она.

Наморщив щеки, подняв губы к носу, ждал Иван Петрович, но действительно не дождался и понемногу огорченно распустил опять лицо до гладкого.

— Да, — ответил он Дусе, удивленный. — Пожалуй.

И тут у них с Дусей произошел настоящий разговор двух людей, когда каждый говорит о себе, а другому это как раз интересно.

А потом у них этот разговор продолжался всю жизнь.

— А я... — говорила Дуся. — У меня...

— Нет, а я... — говорил Иван Петрович.

— А вот я, например, — говорила снова Дуся.

— Да, да! — подтверждал Иван Петрович. — И я!

По кустам кто-то шлялся и глухо шумел.

«Надо бы убраться из этого места», — тревожно подумалось Ивану Петровичу вдруг.

Он не решился сказать это Дусе, но Дуся сама, без него, точно в тот же момент, пришла к этой мысли и заторопилась из парка.

Им теперь не хотелось чужих лишних глаз.

Они выбрались из шалаша и немного оправились. Миновали поляну, потом дорогу со стрелкой. Уже подходили к переднему парку.

На дорожке, вдали, показался тот самый человек, с черенком. Он надвинулся на них очень быстро, как транспорт.

— Ну как, погуляли? — спросил он, сощурясь, и добавил прямое, гнусное словцо в виде вопроса — и тут же быстро прошагал мимо них.

Само словцо не вызвало у Ивана Петровича злобы, как у показного завзятого чистоплюя, никогда не слыхавшего, не читавшего по заборам. «Да таких же людей и совсем нет у нас, — думал он иногда. — Или есть?» Но так, в упор произнесенное, обидно, при Дусе, оно заставило его метнуться внутренне за тем негодяем, которого, впрочем, и след по дорожке простыл, а потом метнуться обратно к Дусе, чтобы не позволить ей почувствовать, будто что-то случилось, чтобы затереть у нее

внутри слуха другими словами это словцо сощуренного человека.

Но тут Дуся вдруг рассмеялась и сказала добродушно:

— Вот ведь гад, с картинками выражается!

Иван Петрович поначалу не понял.

— У нас в деревне тоже был один, Словантий Романыч, — сказала Дуся. — Он пел. В деревне этого много, у нас не считается, если поёт, а в городе его бы ценили за голос. Я такого громкого голоса никогда не слыхала. Правда, мотив у него был плохой, но голос громкий. Словантий Романыч забирался на крышу или на стог и пел оттуда на всю деревню. Песни у него все такие, с картинками, — сильные картинки! Он поет, а мы смеемся.

— Нахальный! — добавила она, хорошенько припомнив.

С картинками, понял Иван Петрович, это то есть с матюгами. И так ему спокойно сделалось с Дусей, они посмеялись да и напрочь позабыли сощуренного.

На опушке леса, в безлюдном начисто месте, почему-то вдруг стояла тележка и с нее продавщица в белом халате, не столько в общем-то белом, как удивительном среди зеленого, темного леса кустов и деревьев, продавала жареные рыжие пирожки.

— А вот хорошие пирожки, — говорила продавщица доверительно. — Ешьте сами и другим расскажите. Девушка, всем скажите, что тут пирожки!

— Хорошо, — согласилась Дуся. — Скажу.

Сказать было некому, даже если как следует постараться.

— Тому, с картинками, скажем! — предложил Иван Петрович и долго смеялся.

Дуся тоже на это так и прыснула смехом.

Они долго смеялись, подгибая колени, приваливаясь в смехе друг к другу плечами и опять отпадая со смехом назад.

— Тому, этому самому, с прищуром! — говорила Дуся сквозь смех.

— С картинками! — хохотал Иван Петрович.

— С листиком!..

— Уж мы ему скажем!

Пронесли у земли, в длинной сетке арбуз, аккуратно завернутый в газету, со множеством складок, углов и подворотов. Как будто хотели скрыть, что внутри газеты положен арбуз, словно это когда-нибудь можно скрывать.

— Смотри, — зашептал Иван Петрович, придерживая прежний смех. — Знаешь, это что?

— Что? — спросила Дуся в слабости, ожидая нового смеха.

— Это арбуз! — закричал Иван Петрович на все окружение и опять зашелся в хохоте.

— Ах-ха-ха! — смеялась Дуся, выдыхая из себя весь воздух, аж до хрипа. — Это же арбуз! А я-то и не знала!

— Всем же, всем видно сразу, что это арбуз! — заливался Иван Петрович, как будто невзрослый. И Дуся было так сильно смешно, что самой даже делалось иногда страшновато.

Они посмеялись, а потом стали медленно утихать, выжали пальцами слезы из глаз, бросили их на дорогу и смолкли. Только временами они еще взбулькивали ненадолго остатками хохота, но уже старались не поддерживать в этом друг друга.

— Да, а чего же пирожки-то, забыли? — напомнила Дуся.

Они успокоились, стали есть пирожки.

— Да он пустой, пирожок, — сказал Иван Петрович, откусив.

— Нет, — ответила Дуся серьезно. — Это пирожки с повидлой. Я знаю.

Он еще откусил:

— Нет, пустой.

— Это такие пирожки, — объяснила Дуся. — Ешь и думай: мри душа, скоро сладко будет!

И скоро, действительно, сделалось сладко.

Глава восьмая

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ

Через месяц Дуся переехала к Ивану Петровичу.

В контору загса они не ходили. Он не мог сразу взять и пойти к руководству просить разрешения, а это, считал он, как раз было так. Всё же он должен был сначала смириться.

Ведь если бы всё было нормально, как надо, рассуждал Иван Петрович вначале, никто бы не спросил у женатого: хороший ли ты человек?

— Вот моя жена, вот эта женщина находит возможным любить меня все время, не переставая, — вот как ответил бы он им тогда, то есть женатый. И этого было бы совершенно довольно.

— Ха-ха! — скажут теперь на такие слова. — Ах-ха-ха! Каждого любят... любят! А потом и разлюбят... да мало ли что. Подумаешь, женщина лю-

бит! А сама она, женщина, какой человек? Да и любит ли, а может ей просто так надо; кто ее знает вообще.

— И она человек, такой человек, что я не стесняюсь любить ее перед всеми, — так бы им можно очень твердо ответить.

— Вот вы и любите друг друга-то! Ха-ха! Оба, например, кривые, нагнулись и уперлись друг в друга... и держат. Мало ли! Нет, это ничего не доказывает. Это не то.

«И они в общем правы, — соглашался Иван Петрович. — Негодяи кругом тоже все ведь женатые — или же нет?»

Долго не ходил Иван Петрович из-за этого в контору, но потом все же несколько смирился и сходил.

Нельзя сказать, чтобы полный покой наступил для Ивана Петровича с Дусей.

Правда, он перестал волноваться на улице, видя людей; его удовольствие через глаза сократилось, замкнулось на Дусе и не беспокоило больше его так мучительно. Глаза, насыщенные видом одного, очень близкого им человека, теперь разглядывали чаще предметы.

Делая иногда себе завтрак, собираясь идти на работу, Иван Петрович засматривался в сковородку, наблюдая, как разламывается яйцо о ее чугунный бортик; сколько надо выливать его из каждой половины — бесконечно; глядел, как варятся пельмени в кипятке, — если прозевать, они станут почти все раздетые; смотрел на яблоко, которое Дуся любила съесть утром: как она обгрызает это яблочко с боков и из-под низу.

Нравилось Ивану Петровичу посмотреть на всё это в зеркало, но не на себя, а на комнату. Ему нравилось зеркало с жизнью наоборот, будто справа налево, и с чистым пространством, расположенным среди предметов. Даже грязь и беспорядок отражались в зеркале остановленными в своем продолжении, а значит, в виде какой-то картины, имеющей свою красоту и интересность.

Но временами темные, стихийные силы взаимного раздражения обрушивались на Ивана Петровича и на Дусю.

В одну из суббот Иван Петрович вышел с завода попозже, слегка задержавшись.

Проходная уже успокоилась и была без народа. Охранник доверчиво стоял в стороне, не имея подозрений к таким серьезным, ответственным людям, что и в субботу вовремя не уходят домой.

Совершив субботний выпуск людей за ограду, начальник охраны, счастливый и слабый, отправился сам в свой семейный, обычный, никем не охраняемый дом.

Проводив завод на отдых, уходил зам по кадрам, догонял свои поотставшие кадры и неспешно, но с силою их обходил, потому что устал всё же меньше от своих телефонов и трудных анкет. Зам спешил поскорей утверждать себя дома, в своей мужской, рыболовно-охотничьей жизни.

К этой же жизни помчались и кадры.

Иван Петрович зашел в магазин, чтобы купить много всякой еды и обрадовать Дусю. Ему постоянно хотелось теперь приносить Дусе все, что ей нравилось.

В магазине было много людей. Весь завод перешел в магазины напротив, желая купить по до-

роге еды, а дома наесться. А в другие магазины перешли другие заводы и институты.

Иван Петрович терпеливо стоял. Он стоял в общей сложности около часа. Он купил масла, сахара, сливки в бутылке, помидор, хлеб и булку. Он купил уже больше, чем мог унести. Сетки у Ивана Петровича не было.

И тут он увидел в продаже арбуз. «Я куплю ей арбуз, — подумал Иван Петрович, восхищаясь собой. — Ничего, донесу как-нибудь, неужели же не донесу?»

Покупка арбуза — это дело настолько неясное, темное, скрытое в себе, под зеленой корой, что очередь глухо шевелилась и шумела, требуя от арбузов чего-то невозможного. Кто-то хотел подавить, чтоб трещало; ему не давали подавить, чтоб трещало. Кто-то просил выбирать, но ему отказали. Кто-то пробовал выкатить сбоку — но ему никак не удавалось выкатывать.

— Следующий! — кричала продавщица. — Вам чего?

— Арбуз! — просил следующий как какую-то новость, хотя тут и только продавали арбуз.

Продавщица сгибалась, ныряла в садок и вытаскивала наружу то, что она выловила там, в густоте. Покидав из ладони в ладонь перед ухом и для виду помяв с воображаемым треском, она приблизительно вешала и в момент кидала арбуз на прилавок.

Покупавший открывал кошелек, закрывал; он сомневался, он был недоволен быстротой и боялся. Очередь была недовольна покупавшим, и все вместе были недовольны продавщицей, выражая глухое недовольство народа арбузами.

Стоило Ивану Петровичу заикнуться о чем-то, попросить что ли самый большой, самый лучший, как продавщица накричала на Ивана Петровича, очередь накричала на Ивана Петровича, Иван Петрович накричал на продавщицу и на очередь и крепко расстроился.

Отходя с небольшим арбузом под мышкой, держа перед грудью остальную еду, Иван Петрович вдруг ни от чего, а только от расстройства, послабел, покачнулся, выпустил из руки хлеб и сахар, выронил сливки в бутылке и помидоры. Арбуз почему-то задержался под мышкой.

Иван Петрович опустил на корточки, взял арбуз двумя руками и долго сидел. Вслед ему что-то кричала продавщица, что-то торжествующее против всех покупателей, бестолковых и наглых.

Песок порассыпался и бутылка разбилась. Сливки залили помидоры и булку. Кто-то взял у Ивана Петровича несчастный арбуз; подержал. Он собрал все, что можно, взял арбуз, не сказавши спасибо, и ушел в совершенной и горькой обиде.

Он вспомнил о Дусе, о своих покупках в ее интересах, и ему захотелось на нее обижаться, чтоб она посчитала себя виноватой.

Он издалека нес во рту к ней свое раздражение, плотно захлопывал губы, боясь растерять, а свернул, поднялся по лестнице, надавил лбом звонок и уже не донес, закричал через дверь:

— Никогда я больше не пойду в магазин!

Дуся выскочила поскорей открывать. Он свалил на столе все, что нес, и горько еще покричал обо всем — о торговле, о людях, что не могут как будто покупать не все враз, о том, что ей надо давать ему сетку.

Дуся заплакала и ушла на диван.

Иван Петрович тоже ушел на диван и лег там отворотившись, в обиду на Дусю, за то что она не сочла себя виноватой и легко не успокоила его от обиды.

Полежав, он вскочил и пошел на кухню разрезать арбуз. Арбуз был розовый и, как видно, неспелый. Это вовсе расстроило Ивана Петровича, он вернулся и с ходу упал на диван.

Так они лежали на одном, на широком диване, отвернувшись каждый к своему раздражению.

Полежав в молчании с полчаса, Иван Петрович слегка отошел и вдруг понял про Дусю. Он понял, что ей бы хотелось об него ласкаться, как будто бы слабой, будто намного меньшей, не желающей знать про него, что он в чем-то нуждается, что он тоже может оказаться и слаб; ей хотелось, чтоб он бы над ней нависал, словно что-нибудь прочное, — а он и сам об кого-то хотел бы ласкаться (об нее), сам бы хотел, чтоб над ним нависали (хотя б не всегда, а когда очень надо), потому что он вовсе не тот покоритель над природой, мужчина-джеклондон, какого бы ей в нем хотелось иметь.

«Но тут я, конечно, допускаю ошибку, — размышлял Иван Петрович все мудрей и спокойней. — Такая поддержка должна бы идти этажами: я ласкаюсь об кого-то, кто выше, а она об меня, — потому что нельзя сразу быть очень сильным и слабым в одну и ту же сторону, потолок не может быть полом для этой же комнаты, а для другой, расположенной выше — очень даже просто. Прежде все это было гораздо спокойней, прежде для этого была мужчине мать: жена утешалась об него, а он утешался о мать, она же получала поддержку и

прикрытие от отца. А отец уже привык, проживя очень долго, быть сам себе защищающей крышей — или искал утешения от какого-то дела, которое он делал, пока только мог.»

«Теперь в большинстве наших отцов поубивали на фронте и рассеяли, или же они не вынесли специально обученных, государственных жен и ушли или умерли, не дождавшись до смерти, и матери сами остались теперь без прикрытия и уже не могут, хотя и желают, посылать книзу к нам, к сыновьям, свое прикрытие, свою поддержку, какие надобны выросшим людям, а не ребятишкам, и мы прижимаемся для этого к женам: «останься здесь и на плече повисни, на миг вдвоем посередине жизни», — пишет поэт.»

За этой мыслью прошло полчаса. Потом Иван Петрович устал и заснул.

Вдруг, во сне, Ивану Петровичу стало лучше жить. Он проснулся посмотреть снаружи, что случилось. Дуся лежала, обнимая его сонным локтем, словно не было между ними обиды. Она обнимала его своим сном, она уронила в сторону ногу и уперлась коленом в Ивана Петровича.

Ивану Петровичу было необычайно покойно. Все обиды и всё беспокойство за линию жизни в этом общем, едином и взаимном сне с женщиной куда-то ушли.

— Отчего же я в книгах не читал про такое? — подумал Иван Петрович с сожалением. — Я бы, может, тогда по-другому стал жить? Конечно, я что-то встречал в каких-то старых, классических книгах. Только я не поверил тогда ни на грош. Не то чтобы не поверил, почему бы и нет? — просто я не узнал, что они про меня. Это были всё

книги о трудной жизни людей, которым не надо ходить на работу.

— Ну да, ну конечно, — понял он вдруг и нахмурился ненадолго. — Нельзя написать про такое в искусстве, в нашем искусстве, чтобы наши враги никогда не узнали, как спит с женщиной простой советский человек. Мы уж как-нибудь проживем без таких нужных книг. Ничего.

На часах было около трех часов ночи. Несмотря на это, в комнате горел полный свет. Муха летала, ударяясь о стены, облетала вокруг лампы и ударялась опять. Муха тоже мучилась из-за них, не спала, думая, что просто вечер и что так оно и надо.

Иван Петрович выключил свет и собрался заснуть, но какое-то новое беспокойство развивалось в нем дальше. Он себе не прощал, что не мог догадаться о такой взаимной жизни, много раньше.

«Вот как делится жизнь, — проносилось у Ивана Петровича. — Очень долго идет установка понятий о счастье, о правде, а потом в соответствии с этим понятием начинаем мы что-то предпринимать. Но и тогда, когда устанавливаются эти понятия, мы что-то делаем параллельно, еще принимая на веру, потому что не может же человек жить без дела, потому что, наконец, обстоятельства, да и кажется часто, будто вот она, правда, будто вот оно, счастье; мы какие-то стадии установки, уступы, поскорее кидаемся принимать за вершину; потому, в конце концов, что у многих людей очень затягивается первый период, а то так почти не кончается век — что же делать тогда, и вообще не начать?»

«И часто оказывается, что когда мы всё знаем — как поступать, как нам жить по свободе, по правде, со счастьем, мы уже начали жить по-иному, начали другое, не свое вроде дело, начали отношения не с такими людьми, как хотелось — и вот ничего невозможно поделаться, «так же невозможно, как отправиться гулять пешком по Французской Гвиане или переехать в Чикаго и там начать новую жизнь под новой фамилией». (Эти слова Иван Петрович прочел в одной книге и с тех пор не может о них позабыть.)

Ах, кабы знал человек, что все его слова и поступки сразу тут же входят в его составную судьбу, кабы можно заставить его это чувствовать и держать при себе и всегда вспоминать при каждом слове — он тогда ничего бы не сделал без пользы для своей судьбы и без опасения ей повредить, а значит, и всем бы тогда была польза. Несомотрительные, нерасчетливые слова и наши действия резко уменьшились бы, что для жизни, работы и общественного порядка стало иметь замечательное значение.

Оттого и многие разные книги озабочены показом судьбы, чтобы на примерах показать, доказать, дать почувствовать, как наши действия, как разговоры тут же записываются в некую книгу жизни, от которой потом никуда не уйти.

— Но я же, — подумал Иван Петрович, высовывая голову из-под одеяла на подушку, — я же ничего еще не начал, пока не установился. Пока я не понял, я и не начал жить по-иному.

Он честно стал убеждать себя, что это только так, вспоминая как главное переход с факультета.

Убедив, он попробовал снова заснуть, но заснуть ему уже не позволило счастье.

«Как получается личное счастье? — пронеслась у Ивана Петровича еще одна мысль. — Ценой отказа от свободы вольной жизни, которая в итоге ведет к одиночеству (и я отказался). Ценой усиленной заботы о семье, о зарплате, о доме. Ценой смирения перед своим руководством. (Я и это сумел, я сходил всё же в загс?) Ценой подавления в себе ненужной тяги к неожиданному, ценой воспитания в себе спокойной, скромной жизни. Вот какие средние цены на личное наше, семейное счастье. Многие этого так и не могут достичь. Или, может быть, они не хотят?»

Иван Петрович приподнялся на локте, разглядел в темноте тихо спящую Дусю, вместе с ним согласно спящую в одном общем сне, и повертел сам себе в темноте головой:

— Нет, они просто не могут!

И в сознании того, что он сумел достичь, что сумел отыскать и сумел подавить, Иван Петрович нетрудно заснул.

Глава девятая

ПОТРЕБНОСТЬ БЫВАТЬ

— В забой ли ты спускаешься! — пел Иван Петрович по утрам, направляясь на работу, хоть в забой и не спускался.

— В скалу ли ты врубаешься! — пел Иван Петрович, ускоряя шаги, хотя и в скалу не врубался он тоже; но неважно.

Ивану Петровичу нравилось идти на работу. Конечно, и утром вставать неохота. Очень рано. Конечно, в автобусе едешь, — толкают. А летом погода, летом хочешь на солнце.

«Но всё же я, честно, работать люблю», — признавался Иван Петрович себе. Он любил рассчитывать общую пользу, потому что он был экономист, и это было его делом.

Вот они проходят на заводе у фонтана. Из земли, из люка вырывается пар. В фонтане поставлена фигура спортсменки — хорошая, крепкая девка, с веслом. Эту фигуру рабочие любят и всегда обсуждают ее, проходя.

— Что-то дева сегодня моросит на дорогу. Ей погода не нравится, ветер, вот она на прохожих и брызжет.

— Она уже тридцать лет назад разделась и с тех пор стоит раздетая.

— И как ей не холодно! А особенно в зиму.

Ее каждый год красят снова серебряной краской. Она с каждым годом от краски все толще. Отбитые пальцы нарастили цементом, и они врастают прямо в тело весла.

— А внутри она худая, — говорит Галя Морина из первого цеха. — Правда, худая, я помню. Такая стройная даже.

Однажды в газете про завод написали: «На территории есть где отдохнуть во время обеда. Везде растут цветы и бьют свежие струи фонтанов». Ивану Петровичу это было смешно. Газетчики — народ такой: прошелся по заводу, увидел фонтан, записал и сочинил про свежие струи. Иван Петрович стал газетчиков слегка не уважать.

Этот смешной, некрасивый фонтан, торжество дурного вкуса, был рассчитан совсем не для струй на обед. Иван Петрович знал, для чего тут фонтан, он считал, сколько пользы несет он заводу. В фонтане бьет круговая вода, идущая для охлаждения генераторов в цехи. Эта круговая вода, забираемая однажды, сэкономила многие мощности водопровода.

Иван Петрович любил некрасивый фонтан.

Своя работа, которую любишь и которая тебе по силам и по знаниям, это единственное место на свете (думал Иван Петрович), где тебе никто не страшен, где ты всегда точно знаешь, что и как тебе делать в любую минуту, где ты всегда уверен, что прав и что нужен. А это каждому человеку надо знать.

Конечно, бывает и на работе, что могут обидеть — не всегда тишь да гладь. Недавно Ивана Петровича обидел его начальник. «Но это ничего, пусть меня обидают иногда, я крепкий, — соглашался Иван Петрович. — Он же ненарочно, я на него не сержусь. Он меня обидел по работе, а не сам от себя.»

Уезжая с завода, он не оставался без поддержки надолго. Он тут же ехал встречать после смены Дусю.

Их потребность бывать часто вместе всё упорчнялась, расширялась, хотя и не доставляя им всё большего удовольствия; это было уже опирание друг на друга, и не виделось ему конца, потому что оно заменяло им ненужную свободу друг от друга; это была уже зависимость, потому что их понятия, представления о правде и о счастье все точнее пригонялись друг по другу, и уже вы-

страивался мир «посредине жизни», и они в этом мире любили друг друга за полную возможность понимания, но был и оттенок, пожалуй, немалый, в этом и обиды от такой зависимости, обиды, приводившей ко все более частым, и в то же время к все более легким — что тоже обидно! — быстро проходящим, пустяковым ссорам.

Иван Петрович глядел иногда на Дусю и думал:

— Они тебя хотели обидеть и, конечно, обидели бы за милую душу. Они меня тоже хотели обидеть, и им бы это хорошо удалось. А мы ухватились вовремя друг за друга и их обманули! И нам теперь ничего нельзя сделать, только бы мы теперь так и держали внутри, между собой, и не поддавались бы характеру, настроению или прочим мелким ежедневным врагам.

Кто это «они» и как они каждого из них могли обидеть, Иван Петрович теперь никогда не пояснял себе, даже и в мыслях, но чувствовал крепко.

— Могли бы сделать из жизни ад, но она не разрешила, — говорили соседи, которые бегло, но всё замечают.

А поэтому они с Дусей жили уже душа в душу — и это было заметно даже внешне, по тому, как они ходили по улице: плечом к плечу, нога в ногу, рука об руку, голова к голове.

Он слегка притворялся очень искренним и мягким — но пока притворялся, он и был такой, разве это плохо?

Пиджачок, поддуваемый ветром вразлет, открывал рубашку и коротенький галстук, трепещущий на сторону, над плечами и дальше.

Рукав пиджака попадал меж ладоней, расплетая им пальцы, и обоих сердил...

1964

МАРАМЗИН Владимир — родился в 1934 году в селе под Ленинградом. Окончил технический вуз. Автор нескольких детских книг и киносценариев.

Цикл стихотворений

Александр Г а л и ч

ОПЫТ НОСТАЛЬГИИ

...Когда переезжали через Неву, Пушкин
шутливо спросил:

— Уж не в крепость ли ты меня везешь?

— Нет, — ответил Данзас, — просто через
крепость на Черную речку самая близкая
дорога!

Записано В. А. Жуковским со слов
секунданта Пушкина — Данзаса.

...То было в прошлом феврале,

И то и дело

Свеча горела на столе...

Б. Пастернак

...Мурка, не ходи, там сын

На подушке вышит.

А. Ахматова

**
*

Не жалею ничуть, ни о чем, ни о чем не жалею,
ни границы над сердцем моим не вольны,
ни года!

Так зачем же я вдруг при одной только
мысли шалею,

Что уже никогда, никогда, Боже мой,
никогда...

Погоди, успокойся, подумай —

А что — никогда?

Широт заполярных метели,
Тарханы, Владимир, Ирпень —
Как много мы не доглядели,
Не поздно ль казнить теперь?!

Мы с каждым мгновеньем бессильней,
Хоть наша вина не вина.
Над блочно-панельной Россией,
Как лагерный номер — луна.

Обкомы, горкомы, райкомы
В подтеках снегов и дождей.
В их окнах, как бельма трахомы,
(давно никому не знакомы)
Безликие лики вождей.

В их залах прокуренных — волки
Пинают людей, как собак,
А после те самые волки
Усядутся в черные «Волги»,
Закурят вирджинский табак.

И дач государственных охра
Укроет посадских светил,
И будет мордастая ВОХРа
Следить, чтоб никто не следил.

И в баньке, протопленной жарко,
Запляшет косматая чудь...

Ужель тебе этого жалко?
Ни капли не жалко, ничуть!..

Я не вспомню, клянусь, я и первые
годы не вспомню,
Севастопольский берег — младенчества
зыбкая быль...
И таинственный спуск в Херсонесскую
каменоломню
И на детской матроске — Эллады
певучая пыль!
Я не вспомню, клянусь!..
Ну, а что же я вспомню?..

А что же я вспомню? Усмешку
На гадком чиновном лице,
Мою неуклюжую спешку
И жалкую ярость в конце.

Я в грусть по березкам не верю,
Разлуку слезами не мерь,
И надо ли эту потерю
Приписывать к счету потерь?

Как каменный лес, онемело
Стоим мы на том рубеже,
Где тело — как будто не тело,
Где слово — не только не дело,
Но даже не слово уже!

Идут мимо нас поколенья,
Проходят и машут рукой,
Презренье, презренье, презренье,
Дано нам, как новое зренье
И пропуск в грядущий покой!

А кони? Крылатые кони,
Что рвутся с гранитных торцов,
Разбойничий посвист погони,
Игрушечный звон бубенцов?!

А святки? А прядь полушалка,
Что жарко спадает на грудь?
Ужель тебе этого жалко?
Не очень... А, впрочем, чуть-чуть!

Но тает февральская свечка,
Но спят на подушках сычи,
Но есть еще Черная речка,
Но есть еще Черная речка,
Но есть еще Черная речка...
Не надо об этом, молчи!

ЗАКЛИНАНИЕ ДОБРА И ЗЛА

Здесь в окне, по утрам, просыпается свет,
Здесь мне все, как слепому, на ощупь
знакомо...

Уезжаю из дома, уезжаю из дома,
Уезжаю из дома, которого нет!

Это дом и не дом, это дым без огня,
Это пыльный мираж или Фата-Моргана.
Здесь Добро в сапогах, рукояткой нагана
В дверь стучало мою, надзирая меня.

А со мной кочевало беспечное Зло,
Отражало вторженья любые попытки,
И кофейник с кастрюлькой на газовой плитке
Не дурили и знали свое ремесло!..

Все смешалось — Добро, Равнодушие, Зло,
Пел сверчок деревенский в московской
квартире,
Целый год благодати в безрадостном мире,
Кто из смертных не скажет, что мне
повезло?!

И пою, что хочу, и кричу, что хочу,
И хожу в благодати, как нищий в обновке...
Пусть движенья мои в этом платье неловки —
Я себе его сам выбирал по плечу!..

Но Добро, как известно, на то и Добро,
Чтоб уметь притвориться — и добрым
и смелым,
И назначить, при случае, черное — белым,
И веселую ртуть превращать в серебро.

Все причастно Добру, все подвластно,
Добру,
Только с этим Добрынею взятки не гладки,
И готов я бежать от него без оглядки,
И забиться, зарыться в любую нору!..

Первым сдался кофейник — его разнесло,
Заливая конфорки и воздух поганя...
И Добро прокричало, гремя сапогами,
Что во всем виновато беспечное Зло!

Представитель Добра к нам пришел поутру
В милицейской (почудилось мне!) — плащ-
палатке...
От такого, попробуй, сбеги без оглядки,
От такого, поди-ка, заройся в нору!..

И сказал Представитель, почтительно-строг,
Что дела выездные решают в ОВИРе,
Но что Зло не прописано в нашей квартире,
И что сутки на сборы — достаточный срок!..

Что ж, прощай мое Зло, мое доброе Зло,
Ярым воском закапаны строчки в псалтыре.
Целый год благодати в безрадостном мире —
Кто из смертных не скажет, что мне
повезло?!

Что ж, прощай и прости!
Набухает зерно,
Корабельщики ладят смоленые доски,
И страницы псалтыря в слезах, а не в
воске,
И прощальное в кружках гуляет вино.

Я растил эту ниву две тысячи лет —
Не пора ль поспешить к своему урожаю?
Не грусти, я всего лишь навек уезжаю —
От Добра и из дома —
которого нет!..

ВОСПОМИНАНИЕ ОБ ОДЕССЕ

...Когда бы не Елена,
Что Троя вам, ахейские мужи?!

О. Мандельштам

Научили пилить на скрипочке?
Что ж, пили.
Опер Сёма кричит:

— Спасибочки!
Словно — пли!

Опер Сёма гуляет с дамою,
Весел, пьян.
Что мы скажем про даму данную?
Не фонтан!

Синий бантик на рыжем хвостике —
Высший шик!
Впрочем, я при Давиде Ойстрахе
Тоже — пшик!

Но под Ойстраха непростительно
Пить портвейн.
Так что в мире все относительно —
Прав Эйнштейн.

Всё накручено в нашей участи —
Радость, боль.
Ля-диез, это ж тоже, в сущности,
Си-бемоль.

Сколько выдано-перевыдано,
Через край!
Сколько — видано-перевидано,
Ад и рай!..

...Так давайте ж, Любовь Давыдовна,
Начинайте, Любовь Давыдовна,
Ваше соло, Любовь Давыдовна,
Раз — цвай — драй!
Над шалманом тоска и запахи,

Сгинь, душа!
Хорошо хоть, не как на Западе,
В полночь — ша!
В полночь можно хватить по маленькой,
Боже ж мой!
Снять щиблеты, напялить валенки
И — домой!

...Я иду домой. Я очень устал и хочу
Спать, говорят, когда людям по ночам
Снится, что они летают — это значит,
Что они растут. Мне много лет, но
Едва ли не каждую ночь мне
Снится, что я летаю.

...Мои стрекозиные крылья
Под ветром трепещут едва,
И сосен зеленые клинья
Шумят подо мной, как трава.

А дальше — Таласса, Таласса,
Вселенной волшебная статья.
Я мальчик из третьего класса,
Но как я умею летать!

Лечу наяву, а не в сказке,
Лечу сквозь предутренний дым —
Над лодками в пестрой оснастке,
Над городом вечно-седым,

Над пылью автобусных станций —
И в край приснопамятный тот,
Где снова ахейские старцы
Лады снаряжают в поход.

Чужое и глупое горе
Велит им на Троию грести —
А мне — за Эгейское море,
А мне еще дальше расти.

Я вырасту смелым и сильным,
И мир, как подарок, приму,
И девочка с бантиком синим
Прижмется к плечу моему,

И снова в разрушенной Трое
— Елена! — труба возвестит,
И снова...

...На углу Садовой какие-то трое остановили
меня. Они сбили с меня шапку. Засмеялись и
спросили:

— Ты еще не в Израиле, старый хрен?!
— Ну, что вы, что вы?! Я дома, я — пока —
дома. Я еще летаю во сне. Я еще расту.

**
*

Ты прокашляйся, февраль, прометелься
Грянь морозом на ходу — с поводца,
Промотали мы свое прометейство,
Проворонили свое первородство!

Что ж, утешимся больничной палатой,
Тем, что можем ни на что не решаться,
Как объелись чечевичной баландой,
Так не в силах до сих пор отдышаться!

СЛУШАЯ БАХА

На стене прозвенела гитара,
Зацвели на обоях цветы.
Одиночество Божьего дара —
Как прекрасно и горестно ты!

Есть ли в мире прекрасней, чем это —
(Всей доуке земной вопреки!)
Одиночество звука и цвета,
И паденья последней строки?!

Отправляется небыль в дорогу
И становится Былью потом..
Кто же смеет приказывать Богу
И заведывать Божьим путем?!

Но к словам, ограненным строкою,
Но к холсту, превращенному в дым —
Так легко прикоснуться рукою
И соблазн этот так нестерпим!

И не знают вельможные каты,
Что не всякая близость близка
И что в храм ре-минорной Токкаты
Недействительны их пропуска!..

ГАЛИЧ Александр Аркадьевич — родился 19 октября 1919 г. Литературным творчеством начал заниматься еще в ранней юности. Окончив студию Станиславского, А. Галич во время войны служил во фронтовом театре. С 1945 года стал работать в области драматургии. В СССР поставлено десять пьес Галича, среди них: «Вас вызывает Таймыр», «Будни и праздники», «Походный марш» и другие. Однако лучшие его произведения этого жанра так и не увидели света рампы. А. Галич много работал также и в кино. При его непосредственном участии созданы фильмы «Верные друзья», «На семи ветрах», «Государственный преступник» и многие другие.

В начале 60-х годов А. Галич становится широко известен как поэт-песенник. «Самиздатовские» записи его песен расходятся по всей стране. Злободневность содержания, остро сатирическая и политическая направленность произведений поэта вызвали преследование со стороны властей. 29 декабря 1971 года А. Галича исключили из Союза писателей, Союза кинематографистов и Литфонда. В обстановке тотальной травли он вынужден был покинуть пределы Советского Союза. В июне 1974 г. А. Галич выехал за рубеж. В настоящее время проживает в Норвегии.

На Западе по-русски вышли четыре его книги: «Поэма России», «Песни», «Поколение обреченных» и «Генеральная репетиция».

“СЁРВЕЙ”

Журнал исследований Востока и Запада

«Сёрвей» был основан в 1955 году, как журнал по вопросам Советского Союза и Восточной Европы. За время своего существования «Сёрвей» приобрел репутацию ведущего журнала в этой области.

В настоящее время журнал еще более расширил область своих исследований, обсуждая проблемы современности в рамках отношений между Востоком и Западом. Публикуемые в нем статьи охватывают широкий круг научных дисциплин, включая сравнительный анализ политических, культурных и социально-экономических изданий, посвященных проблемам коммунистических стран и новейших идеологических направлений.

Каждый, кто интересуется актуальными вопросами современности и нуждается в строго научной и фактически достоверной информации по этим вопросам, изложенной в живой форме, должен скорее подписаться на «СЁРВЕЙ»!

Цена подписки на четыре номера: 4 фунта или 10 американских долларов.

Цена одного номера: 1 фунт или 2,5 американских доллара.

Заказы направлять по адресу:

Journals Manager, Oxford University Press, Neasden,
London NW 10 ODD, England

Вл. Корнилов

БЕЗ РУК, БЕЗ НОГ

Повесть

(Окончание)

16

Она пошла к красному корпусу. Теперь не раскачивалась. Абсолютно деловая женщина с планшеткой, как с папкой, шла на доклад к народному комиссару.

Я рад был поостыть. Больные оглядывали меня — видно, скукотища была в этой больнице! — но я думал о своем. Ритка права: у меня впереди не светит. Потому и играла со мной, как с мышью. Чем рисковала? А мне все хотелось ее обнять. Такая она была собой замечательная.

Но жениться я не хотел. Мне еще много чего сотворить надо было. Козлова положить на лопатки — это первым делом. Иначе все — нечестно. И еще — но это в сто сорок седьмую очередь — хотелось выяснить, почему МХАТ — старье. Жаль, не выпросил телефона у этой театралки.

Только Козлова не положишь. Он, собака, всего начитался. Голова у него — хоть и контуженная — а варит! А у меня дрянь, а не голова. Есть ребята — «Анти-Дюринга» щелкают, как орешки.

«Капитал» читают. А я несчастного «Людвига Фейербаха» полистал-полистал и бросил. А в «Капитале» прочел только «сюртук — десять аршин холста». Единственное, что смотрю — это «Вопросы ленинизма» — есть у мамы старое издание. Но эти «Вопросы» — не сложно, даже не очень скучно. Особенно, когда ругань идет. А про колхозы — так вообще смешно. Одна баба задрала подол и говорит: вот вам, нате колхоз. Вообще, Сталин доходчиво дает. Чтоб даже такие болваны, как я, понимали. Но Козлов — чёрт проклятый! — говорит — это что. Достоевского читай.

— Читал, — говорю.

— А ты «Бесов» читай. Там про Шигалева поучительно.

— И «Бесов» ваших читал, говорю. — Никакого там Шигалева нет. Там все про иждивенца отца и трепача сына. И еще про одного красивого психа, что губернатору ухо откусил.

— Ты просто проглядел, — говорит Козлов. — Ты за сюжетом не следи. Сюжет — это для дураков. Это Достоевский их сюжетом тянет, как Уленшпигель ишака — репейником. Помнишь — перед мордой вытягивал — чтобы осел вез. Ты за мыслями следи.

— А, скукота!.. — отмахнулся я. — И некогда. Физика у меня, химия, запущены. (Это я тогда еще в девятом классе учился.)

По правде говоря, я «Бесов» читал невнимательно. Больше интересовался, что с кем получилось. Застрелился ли этот чудаковатый инженер, который все обещал пустить себе пулю в лоб. Вот я тоже инженером стану. Но, может, они не все такие. Вот Огородников карточки у матери стащил.

А дед мой — он в революцию концы отдал, — смертную пил. Дед бы стал миллионером, если б не зашибал. Брал подряды, настроил по губернии мостов, вокзалов, просто доходных домов, каких-то присутственных мест, но главное — надирался. Я, наверное, в него. Однажды он вернулся в дым косою из какой-то поездки, до дивана не дополз и лег под письменный стол между дубовых тумб. И вдруг среди ночи жуткий крик. (Федор рассказывал, нас с Сережкой трясло.) Оказывается, деду приснилось, что его живого в гроб засовывают. Он начал тарабанить изнутри, а кругом дерево. Еле его успокоили... А в девятнадцатом или двадцатом году деда зарубили. Город все время кто-нибудь занимал, а он пьяный вышел, угодил под лошадь и его сверху, с седла не слезая, в рай отправили. Еще, наверно, приматерили. Жил — и нету. Теперь просто примириться — столько людей уничтожено. Евреев миллионов шесть, немцев миллиона четыре, наших в Ленинграде — миллион и на фронте семь (хоть говорят — десять!). Миллионы. Миллионы. Где тут одного человека пожалеть. Но вот так о деде подумаешь, которого в глаза не видел, и то становится не по себе. Или взять Анастасию. Вчера на поминках сидел, а сегодня не вспоминаю. Некогда. С Риткой всегда времени не будет. Было, пока она с кем-то за город ездила. А теперь у нее, видно, там разладилось... Но все равно хорошо, что она ко мне подобрела. И хватит мыслей о Козлове, о психе Достоевского, о деде — обо всем. Чего задумываться? Все равно замуж она за меня не пойдет.

Голова у меня как будто работала отдельно, а сам я хотел вмяться в Ритку. Свинство, конечно.

Ведь идти на завод ради нее не собирался. Сейчас — во всяком случае. И потом, если завалю экзамены или просто сдавать их пропадет охота и уйду в военное училище, в какое-нибудь горно-артиллерийское, и потом буду, как Печорин, жить в ауле и ходить на охоту — Ритка ко мне не переедет. А, честное слово, часто хочется куда-нибудь в горы, куда-нибудь подальше от всех и всего. Я уже опять видел хребет Кавказа с папиросной коробки, уже успел проститься с Марго, поглядеть в зеркало, как парикмахер в военкомате состриг мне чуб (он лежал на полу таким аккуратным могильным холмиком...), как вдруг из красного больничного корпуса для желудочников вышла Ритка. Планшетка у нее в руках размахивалась во всю длину ремешка. Ритка сияла — мне даже неловко было перед больными в синих халатах и своей на мгновенье оболваненной башкой.

— Скучал? — сияла Марго. — А у меня удача. Такая удача! Такой чудесный день. Ну, прямо не поверишь!

Она бухнулась со мной рядом на скамейку.

— Живем, Валерочка! Я такая счастливая. Даже перед тобой неудобно.

И она чмокнула меня при всех. Замечательные у нее были губы, пухлые и крепкие, не мокрые и не липкие.

— Завидовать не станешь? Я получила аттестат! — она вытащила из планшетки вдвое сложенный лист, свидетельство об окончании школы. На твердом ватманском листе — буквы позолочены! — снизу чин-чинарем печать и подпись директора, завуча и еще три или четыре — учите-

лей разными чернилами. Только отметок не было проставлено.

— Завидуешь! Завидуешь! — пропела она.

— Да что ты, — пробормотал я. — Тоже сказала... — Но мне и впрямь было как-то не по себе.

— Завидуешь, завидуешь, — пела Марго. — Думаешь про себя: нечестно, а на самом деле завидуешь.

Но я не завидовал. Просто мне вдруг стало обидно, что теперь она уйдет с курсов. Не хотелось так сразу с ней расставаться.

— Па-аздрывлаю с правытэлственный ныградый! — выдавил я из себя на кавказский манер.

— Чего-чего?

— Не знаешь? Эта в городе Тыбылысы в паадвааротны, — давил я на акцент, — адын кацо прадает ордэн другому кацо. Привесили цацаку на пиджак, выходят на улицу и вдруг мильтон свистит. Орденоносец испугался, дрожит, подходит к постовому, а тот трясет ему руку: «Па-аздрывлаю с правытэлственный наградый!..»

Ритка захохотала, но тут же смутилась:

— Ты что, считаешь, — нечестно?

— Да иди ты, — сказал я. — Подумаешь — нечестно! А где ты видела честное? — я уже распалился, врал и сам верил. — То же мне, какой-то паршивый аттестат. Даже не аттестат — свидетельство. Без водяных знаков. — (Ну, да, за водяные знаки Таисья, небось бы, две косых содрала!). Ведь тебе ни химия, ни физика, ни всякая хитрометрия не нужны. А нужны были б — сдала.

— Конечно бы сдала, — согласилась Ритка. — Это я на всякий случай купила. Я все равно

сдавать с вами буду. Это я просто, если во Внешторге экзамены раньше начнутся.

— И молодец, что купила, — сказал я. — Только не выводи себе много пятерок. Больше четырех, кроме русского и истории с конституцией — нигде не ставь.

— Ну, я не дура. А ты милый. Ты мне очень нравишься, потому что не завистливый. Светка — та бы просто подавилась, а ты добрый.

— Чепуха, — я съезжился от похвалы. — Как будто, если надо, не достану. Да я бы тебя попросил — ты бы у Таисьи второй выторговала. Все это ерунда. Не думай даже.

— Конечно, — сказала Ритка. — Но ты все равно очень милый. Я тебя потом по-настоящему поцелую.

Вокруг скамеек копошились и жужжали большие, как большие синие мухи.

— Пойдем, тут плохо, — сказал я.

— Да, — кивнула Ритка. — Бедная Таисья. Какой-то у нее желудочный сок берут. Говорит, два часа сидела с кишкой во рту.

— Тьфу!

Не могу слушать про болезни, особенно про живот и желудок. И Таисью, хоть она и жулье, мне вдруг стало жалко. Хотя, чем она хуже меня? Я вон утром толкнул хлеб. За это тоже посадить могут.

— Давай выпьем за ее здоровье! — сказал вслух. — Заодно отметим там твою школу. А? Тут рядом бега. Там вроде ресторан есть.

— Я в ресторан не пойду, — сказала Ритка. — До двадцати четырех лет я в ресторан ходить не буду. Или пока замуж не выйду...

Чёрт, есть же у людей правила! У меня никаких. Особенно по таким пустякам.

— Все равно неплохо выпить, — сказал вслух.

— Тоже мне алкоголик, — скривилась Ритка. — Небось, врешь больше. Хотя погоди. А ну дыхни. Мне приснилось или правда? — Она чуть не стукнулась своим коротким вздернутым носом о мои зубы. — Ого! А я целоваться с ним собиралась!

— Ну, — заныл я.

— Ну, ну... Все вы сопляки, маменькины сынки, храбрости у вас — тьфу, вот и прикладываетесь.

— Так ведь друг приехал. Летчик. Проездом в училище.

— Врешь. Какой там еще друг? Мать уехала, друг приехал. У тебя что — вокзал? А если и приехал — так сразу и назююкиваться? И за такого человека я собиралась замуж! Вот дуреха.

— Так ты же за дипломата...

— За дипломата — это потом. Погоди, тебя же не распишут. Паспорт у тебя уже есть? Может, у тебя и паспорта нет? А? Ну, покажи паспорт!

— Пожалуйста, — я отстегнул английскую булавку на кармашке под свитером.

— Смотри, — сказала она. — Действительно, есть паспорт. Как у большого. Коромыслов Валерий Иванович, 12 августа 1928 года. Да тебе еще семнадцати нет. Нас не распишут.

— Брось, — взмолился я.

— Серьезно говорю, не распишут. Или ты должен подарить мне ребенка. Ты любишь детей, Коромыслов?

— Брось...

— Не любишь, значит? Я их сама терпеть не могу. Только придется, Валерочка. А то в загсе на смех подымут. Тебе даже голосовать еще нельзя.

— Сейчас нет выборов.

— Значит, не хочешь ребенка? Трус ты, Комыслов. Я к тебе в гости набиваюсь, а ты какого-то летчика поселил.

Ну и язва была Ритка. За словом не нагибалась. Раскладывала меня чище Козлова. Тот про политику горло драл, а эта на ровном месте одной левой на ковер меня бросала да еще глаза невинные выкатывала.

— Ты все-таки летчика выгони. Дружба дружбой, а любовь все равно главнее. Выгонишь?

— Угу...

— Ты веселей отвечай: Вы-го-ню!

Ей бы в самом деле поступать во ВГИК или ГИТИС.

И вдруг она вытащила из своей планшетки трофейную авторучку и на второй странице моего паспорта вывела синими чернилами ДОРОНИНА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА 20/V 26 г., ЖЕНА. Почерк у нее великолепный, четкий и ни капли не канцелярский. Вот дела! Чего врать — приятно было, хотя теперь хлопот с паспортом не оберешься. И потом там совсем не жену, а детей пишут. Я на этой странице был вписан у матери.

— Доволен? — спросила Ритка. Наверно, думала, крик подыму, что паспорт испорчен.

— Ага, — засмеялся. — Теперь можем выпить.

Но она вдруг захотела на курсы. Пришлось топтать до «Динамо». Улица была прямая, — хоть

ставь пушку и прямой наводкой расстреливай. Обняться даже негде было. Но зато в вестибюле метро и на эскалаторе было пусто. Все билеты на завтрашний матч распродали еще в среду. Я, конечно, проморгал. Но с такими деньгами уж как-нибудь завтра пролезу. Я стоял ступенькой ниже и несколько раз ткнулся мордой Ритке в грудь.

— Не балуйся, — сказала Ритка.

17

В институтской столовой было тоже пусто. Лето. Во всем храме науки одни наши курсы. Вот недельки через две здесь не пробыешься. Наедут абитуриенты. Говорят, наш механический теперь становится модным вузом. «Катюши» создали ему рекламу. А пока меню в столовке было не длинней экзаменационного билета, никакого выбора.

Я взял два «ритатуя», рожки с мясом и еще два стакана суфле — оно без карточек. Подавальщица сама оторвала талончики, налила в миску суп, набросала в тарелки макароны и мяса и теперь глядела, как мы ели. Легла своими мячами на цинковый прилавок и смотрела, подперев щеку. Скучно ей было. Но по-моему, еще скучней глядеть, как другие запитываются, особенно, если сыт и если это не твои гости.

Я ем быстро. А Ритка держала ложку так, словно боялась заразиться. Локтем в стол не упиралась, хотя был чистый. Спорю, что за ним еще сегодня не сидели.

Первого не доела, оттолкнула миску. Рожки тоже только поковыряла. Про мясо сказала:

— Подошва.

Однако умяла все. Я даже хотел на нее шикнуть. Не люблю, когда ругают еду. Особенно при поварах. Не хватало еще, чтобы подавальщица взвилась. Но в столовой было солнечно, жарковато, наверно, спать хотелось, а не ругаться, и тетка за стойкой на Риткин выпад ухом не повела.

И тут появился Дод Фишман.

— О! Приятного аппетита! Кого я вижу?! Хав-ду-иду, мисс Мáргарет!

Он, верно, удивился, что мы одни и вместе.

— Ты чего сюда?! — спросил я. — У тебя ж язва!

— Вот поэтому! — ответил он, вытащил из портфелика завтрак — два куска белого хлеба с каким-то паштетом, завернутые в восковку. Потом принес стакан суфле и сел рядом.

— При... азве... адо... асто... итаться, — объяснил он, заталкивая булку в маленькую щель рта.

— Мудрец, — сказал я.

Дод парень неплохой, но не очень чуткий. А, может, просто считал, что Ритка ему тоже авансы выдавала. Хотя влюблен в другую девку. Та его еще почище шпыняет.

— Мамахен улетела? — спросил.

— Да, — ответила Ритка. — Теперь гуляет! Даже в ресторан приглашал. Предлагал руку и сердце.

— Ого! — подыграл Дод.

— Серьезно. Коромыслов, а ну, отстегни кармашек. — Она полезла рукой за вырез моей безрукавки. — Ну и денег у тебя!

— Брось, щекотно, — дернулся я.

— Смотри, Додик, смотри. — Она отстегнула английскую булавку и вытащила паспорт. — Видишь, чего написал?

— Это не его почерк, — сказал Дод.

— Конечно, не его. Он кого-то попросил.

— Чудак, не на том месте надо писать, — хмыкнул Дод.

— Ладно, — огрызнулся я. — Ты чего так рано приперся?

— На собрание.

— Брось врать.

Он медленно жевал булку и попивал суфле.

— ...а...ет...естное... ово, — он дожевывал последний кусок. — Вчера ты ушел, объявили.

— С какой радости? Экзамены же вот-вот!

— Заткнись, — сказала Ритка. — Тебе что? Ты не на учете.

— Что?! Интересно — вот что! Теперь меня отсюда не выманишь. Ох, чудики! Нашли время...

И вправду, только этого не хватало. Начнут про посещение, успеваемость. У нас были курсы — полная запорожская сечь. Прогуливай сколько хочешь. Комсорг, геноссе Колосков, ни во что не вмешивался. Хороший был парень, бывший лейтенант, две «Красных Звезды» на гимнастерке таскал. Смешливый, рожи умел строить и еще по-немецки здорово болтал. С того и прозвали геноссе.

И вот теперь он стоял за столом, как шкраб какой-нибудь, и строгость в нем была, как у электрической будки, где намалеваны череп и косточки и еще надпись — «Опасно для жизни».

— Привет, геноссе, — сказал я, вваливаясь за Риткой и Додиком в аудиторию. В ней с двух потоков народу сидело кот наплакал.

— Быстрее рассаживайтесь, — мрачно сказал Колосков. — А тебе, Доронина, сегодня совсем не к лицу опаздывать... Значит, теперь у нас, — он тыкал в каждого пальцем, — ... двадцать шесть, двадцать семь, двадцать...

— Людей так не считают, — не выдержал я.

— Молчи, — огрызнулась Ритка.

— Коромыслов, я вам слова не давал, — скорчил рожу геноссе.

— Тоже, грамотный, — зашипела Додкина длинноносая Райка. — Вечно высовывается. Оставят после лекций — лучше? Да?

— Тридцать один, тридцать два, — бубнил Колосков, но уже без пальца. — Итак, всего тридцать два человека из семидесяти шести. Какие есть мнения?

— Разойтись, — брякнул я.

— Коромыслов, кончай паясничать, — цыкнул геноссе.

— Цыц, — ткнула меня Ритка в ребро.

— Нет кворума, — крикнул Дубов, красавец из соседней группы. Морда у него, как у оперного дьявола, хотя по-моему, он тоже еще девушка.

— Правильно, — сказал я.

— Больше всех надо, — опять зашипела Райка. — Коромыслов не на учете.

— Я тоже не на учете, — пискнул кто-то из другой группы.

— И я...

— И я... — пошли якать.

— Товарищи, тихо! — гаркнул геноссе. — Давайте по порядку. У нас ведь всего два вопроса. Прием новых членов и экзамены. Давайте организовано. Какие есть суждения?

— У нас нет кворума, — сказал я. — Кроме того, многие не на учете и по уставу голоса не имеют.

— Да хватит тебе, — гудели кругом.

— Умнее всех...

— Брось баланду...

— Не трави...

— Минуточку внимания, — застучал карандашом геноссе. — Давайте рассуждать по-человечески...

— Чего рассуждать? Собрание не подготовлено! — крикнул красавчик Дубов.

Не терплю таких слов — «не подготовлено!» (Дубова, правда, тоже не терплю...). Или «надо готовить»! Какой толк, если все, как опера, по голосам расписано? По-моему, если что нужно стоящее, так без говорильни само выйдет.

Как-то перед войной Берта решила устроить в соседнем дворе футбольное поле. Мяч гоняли под нашими окнами, пыль в комнаты летела и даже как-то разбили стекло. Провели три собрания в жилкоопе, какую-то комиссию выдумали, но ничего не вышло. А началась война, отец вынес лопату и начал рыть щель. И за ним — другие. Даже рельсу для перекрытия откуда-то приволокли. Чин-чинарем в два дня мировой бункер отгрохали. Без всяких обсуждений. Потому что кому охота погибать под бомбежкой или осколками зениток...

— Товарищи, дела-то всего на двадцать минут! — взмолился Колосков. — У нас тут есть заявление от несоюзной Дорониной Маргариты с просьбой принять ее в наши ряды.

— Нашла время! — пискнула длинноносенькая Райка.

Я чуть язык не прикусил. А Ритка сидела рядом и хоть бы хны... Только порозовела немного. Красивая была до ужаса!

— Я не знал. Извини, — шепнул я.

— А всегда лезешь, — смилостивилась Ритка.

— Итак, два вопроса, — построил мрачную рожу геноссе. — Экзамены и прием новой... тьфу, нового члена. Какие есть суждения? Давайте поактивней?

Все молчали, вернее, чего-то бормотали, шум стоял, а суждений не было.

— Сдать всем экзамены на четыре и пять, — ляпнул кто-то.

— Катись колбаской. Малая Спасская близко. Кто-то хихикнул.

— Что же, до вечера молчать будем? — спросил геноссе. — Экзамены всех касаются.

— А ты причем? — буркнул Дубов. — Ты их у нас принимать будешь?

Дальше шло уже совсем неразборчиво. Фон подымался, как в приемнике, когда крутишь громкость.

Наконец перешли к Ритке.

— Суждения? — спросил геноссе.

— Заслушать автобиографию.

— Кто за? Коромыслов, ты за?

— Как все, — махнул я рукой.

— Он в нее влюбленный, — брякнул кто-то.

Но это была не Светка. Светки нигде не было. Наверно, еще отсыпалась.

— Можно с места? — спросила Ритка.

— Нельзя. Выходи, товар показывай, — подмигнул геноссе, и вдруг стал как всегда запьянцовским, своим в доску парнем.

Ритка поднялась. Лицо у нее немного конфузилось, но в походке не было никакого смущения. Планшетку она взяла с собой, может, боялась, что раскроют.

— Родилась в тыщу девятьсот двадцать шестом году...

— Ого!

— Замуж пора! — крикнул Дубов.

— Тихо, — шикнул геноссе.

— В сорок первом году закончила семь классов. В войну потеряла год. Ну, теперь учусь на курсах...

Как всегда, рассказывать было нечего. Я тоже два года назад больше не выжал.

— Какие будут вопросы? — спросил Колосков.

— Родители?

Это был опять Дубов. Ритка однажды чуть в него не влюбилась, а он про нее сказал — пучеглазая. Я ее даже успокаивал, мол, глаза в полном порядке. Мне, например, нравятся. Это было еще до моей влюбленности.

— Служащие, — ответила Ритка. — Отец — член партии. Мать тоже.

— Еще есть вопросы? — спросил Колосков.

— Как у вас с учебой? — вылез какой-то мудрец. Я его не знал.

— Ну, что с учебой — учится, — сказал геноссе. — Готовится к аттестату.

(Все эти собрания — просто игра во взрослых.

И еще, чтобы не ранить гордость. Дескать — не приказали, а сами решение приняли. Сами обсудили, постановили. Сами начальство. Это так в детстве отец со мной советовался:

— Понимаешь, Топса, тут картина вышла, но детей до 16-ти лет не пускают. Так что я без тебя пойду. Как ты считаешь?

— Иди, конечно, — отвечал я. А чего скажешь?..)

— Правильно! Хватит вопросов!

— И так все ясно.

— Пусть ответит про международное положение, — опять сунулся Дубов. Зануда был, вроде меня. Только еще глупее. Будь я таким смазливый, рта бы не раскрывал.

— Читаете газеты? — спросил он Ритку. Тоже манера на собраниях переходить на — вы.

— Да, — кивнула она не очень уверенно.

Чудно было глядеть. Такая ладная, большая. А стоит у доски, мнетя, сжала под мышкой планшет, тушуетя.

— Проясните обстановку в Триесте! — Вот тип! Небось, Триеста на карте не найдет, а давай обстановку!

— Это не вопрос, — поднялся я. — В Триесте сам чёрт ногу сломит. Ты еще про подмандатные территории спроси.

— Пусть ответит, какими орденами награжден комсомол.

Но она, чудачка, и этого не знала.

— Орденом Боевого Красного Знамени, орденом Трудового...

— Правильно, — пожалел ее геноссе. — И еще в позапрошлом году орденом...

— Ленина! — крикнул Додик. — Есть предложение принять.

— Орденом Ленина, — как ни в чем не бывало повторила Марго.

Все подняли руки, а она пошла на место и плюхнулась рядом со мной.

Ничего себе получилось кино. Но у меня внутри кошки поскребывали. За два года я сильно изменился.

Тогда, в апреле, когда Федор написал мне рекомендацию, все было по-другому. Казалось, вся жизнь поделилась — до этого апреля и на после. Ничего, что я тогда билеты у кино перепродавал, водку и газеты носил на рынок. Это была мелочь. Немцы еще сидели в Харькове, а я уже мечтал, как лезу на американскую Статую Свободы с красным знаменем. Я тогда знал, что это будет, и сейчас знаю, но только думаю об этом реже. Я не из мечтателей. Но все равно приятно было писать в анкетах: член ВЛКСМ и восьмизначный номер билета. Последние четыре цифры сходились у меня с годом рождения.

Сразу убежать было неудобно, и Ритка осталась на истории. Историчка была симпатичная тетка лет двадцати четырех, красивая и классно одетая. В глазах у нее блестела такая стервинка, я

бы даже мог сказать точнее... Словом, она улыбалась так: как будто знала, что глядеть на нее приятно, и не сердилась, что на нее пялят глаза. Когда ты красивая — не трудно быть доброй. Ритке она тоже нравилась и первые пятнадцать минут Марго даже за ней записывала, вырвав пару листков из тетради Дода. Остальное время мы играли в «морской бой».

Светка так и не появилась.

— Надо бы к ней зайти, — сказала Марго.

— А оттуда — в кино? — подмигнул я.

— Угадал, — она показала мне язык.

Мы сбежали с химии. По Боброву переулку я шел согнувшись. Не хватало еще напороться на тетку Александру. Подумала бы — нарочно здесь брожу, в гости напрашиваюсь. А с чего это она сегодня? Не люблю загадок. Слишком ленив.

— Хочешь, зайдем вместе? — спросила Ритка, когда вышли из Мархлевского.

— Нет, — мотнул я башкой.

Не хотелось опять спорить с Козловым. Если бы мы раскричались, я б ему наверняка ввернул, что он в любви не смыслит.

— Не скучай, — сказала Ритка и вошла в подъезд. И мне вдруг стало одиноко. Суток не прошло, как улетела мамаша, а я уже чудился себе заброшенным, никому не нужным. Нефедовы не велели показываться. Мать в Фрицляндии, отцу вообще до меня дела нет. У него своих бед по горло. Две жены, раздоры с начальством. Генерал однажды его чуть не застрелил за то, что под бомбежкой отец не успел пост залатать.

Я поплелся во двор шахматного клуба и сел там на каких-то сваленных столбах. Обидно, а все-таки

приятно быть одиноким. Сладость в этом какая-то, как в слезах, когда вдоволь выревешься. Наверно, все одинокие, кто хоть малость соображает. Мамаша одинокая. Но не от соображения, а от несчастья. И отец одинокий. Когда приезжал зимой, никакого разговора у нас не вышло. Вернее, говорили много, даже пили вровень. Но все разговоры так, о случаях-эпизодах, о скорой Победе. А о себе он не говорил. И я тоже. Если все наши разговоры преобразовать, как примеры по алгебре, получилась бы чепуха. Есть такие примеры — на полстранички задачника. Иксы в кубе, игреки в десятой, извлечения корня, логарифмы понатыканы. А начнешь приведения подобных и все прочее, сокращения, извлечения — и бах! — все оказывается равно нулю или единице. Вот так с отцом: да, сдам на аттестат, да, поступлю, да, кончу, да, пойду работать в стоящее КБ. А для чего, зачем? — не говорили. Для чего зубрить формулу CO_2 , силен, ацетилен? Для чего шпаргалеты выписывать? Для чего в вуз попадать — не говорили. Да и вряд ли бы понял. Не то, чтобы он такой беспросветный труженик! Но просто привык человек всю жизнь работать. Ему уже тридцать семь, а он с шестнадцати или даже с пятнадцати вламывает. Если его спросишь, зачем? — скажет:

— Чтоб тебя, оболтуса, кормить!

Или что-нибудь в этом роде. Чтоб зарабатывать... Да, конечно, без денег — никуда! Без них цветов не купишь, а без цветов Ритка неизвестно еще, станет ли дружить. С Риткой тоже одиноко. По-другому, чем с матерью, но все равно одиноко. С матерью плохо, потому что она ругает, ноет — мешает одиночеству. А Ритка мечту навевает. С

Риткой себя забываешь. С ней обниматься хорошо. Она собой удивительная. Балдеешь от Ритки. А вот уйдет — и тоскливо. Приходится возвращаться к себе, как в фатеру, где не метено не топлено, посуда грязная стоит.

Ритка — это роскошь. А была из себя самая нормальная деваха. Я ее даже не замечал. А она ко мне подкатилась. Навела свои невинные гляделки и говорит:

— Ты едешь в библиотеку Маяковского? Возьми меня.

— Давай, — говорю.

В библиотеку, конечно, мы с ней не поехали, а влюбился я — это точно. Погода тогда была — дождик со снегом. Март апрелем пахивал. Я однажды выскочил из института, гляжу: впереди Ритка. Я за ней. Она в метро. Я следом. Она по эскалатору. Я всех расталкиваю, слетаю вниз, а она уже в поезде, и двери перед моим носом соединились. В стекле вижу ее голубые глаза — и влюбляюсь. Просто март апрелем пах. Одиноко было. Хотелось кому-нибудь себя вывернуть, поднести — смотри, бери. Распирало всего.

Ну, и олух! Вот уже четвертый месяц вокруг нее кручусь — никакой исповеди не получается. Да и говорить пропала охота. Обниматься — другое дело. В общем, у меня все по-чудному. У многих ради этого самого всякие высокие материи, а у меня наоборот — от высоких материй нежность и потом только это самое...

Я сидел на сваленных столбах и весь от сапог до хохолка на загривке (он у всех Коромысловых — у отца, у Федора и у Сережки был!) — дождался Ритки. А голова и то место в груди, где си-

дит страх, — глядели через Ритку вслепую, куда-то дальше и ничего хорошего не ждали. Все-таки я устал. Не физически, не телом. Ту усталость утром сняло в душевой и потом, после собрания в курилке стащил свитер с рубахой и смочил под краном голову и спину. Страх сегодня был задвинут, прикрыт Риткой. Ведь, если уж честно говорить, Ритка была мое прикрытие. От всего — от учебы, от работы, от долга перед мамашей, отцом, Бертой. Учиться мне не хотелось. Хотя, опять же, если честно говорить, эту химию я мог сдать одной левой. Память у меня зверская. Все засасывает, как болото. Если бы приперло, я бы в три дня вызубрил хоть древнегреческий. Честное слово. Для меня самое трудное — сесть сразу, не откладывая. Очень я не цельный человек. Гриня Выстрел тот гранит, скала. Знает: армия — хорошо, вуз — отлично. Пойдет в институт. Станет конструктором. Самолет назовут его именем. В-девять, или Выс-девять, или даже Выстрел-девятый. А мне ей-Богу неинтересно, если в воздухе будет порхать какое-нибудь Коромысло-восемь. Я вообще не интересуюсь самолетами. Ничем не интересуюсь. Собачий Козлов своим враньем отбил у меня интерес ко всему. А теперь еще со Светкой путаться стал. Фу, чёрт, как вспомню вчерашнее — тошно становится. Сидел он в своих галифе, скрестив ноги, тесемочки кальсонные трепыхались. А Светка вошла в халате, а под халатом, небось, готовность номер один. Бабеха она большая, правда, некоторая рыхлость имеется. Ну, и устроился полиглот! С доставкой на дом.

Травит, травит, орет о несправедливости, а сам нашел себе укромное местечко. Что ж ты так, Па-

вел Ильич? Меня гвоздишь, от науки отвращаешь, а сам пристраиваешься. Я, правда, и сам пристраиваюсь. Сегодня мне с Риткой ух как везет! Но разве Ритку удержишь? Она как у Киплинга, сама по себе. Надо денег до дьявола, цветы на каждый день. На машине возить. На Черном море, как для Барсовой, дачу построить. Ритка у моря, небось, хорошо смотрится. Наверно, любит во всяких ку-пальниках позировать.

Только вот говорить с ней о главном нельзя. Себя ей не расскажешь. А зачем рассказывать? Мужчина не должен разговаривать. Мужчина должен дело делать. Воевать или там завод строить, канал рыть. Ночью спать с женой или с любимой и будильник ставить на четыре тридцать. А у его подъезда в виллисе должен дремать шофер. Мужчина подымается, выключает звонок, целует сонную женщину, спускается по лестнице и мчится в ночь по приказу товарища Сталина. Разговаривать совсем не надо. Это только такие размазни-раззявы, как я, рта не закрывают. А настоящие люди пол-Европы прошли и, не растерялся бы, говорят, один маршал, к Атлантическому бы вышли.

Здорово было взглянуть на карту Европы, когда она вся красная. Козлов бы, конечно, объяснил, — почему.

У него идея, что в войну не жалели людей.

— Многие, — говорит, — генералы сапогами по солдатской крови хлюпали.

Но это вранье. Если было пару психов, вроде Горлова из «Фронта» Корнейчука, нельзя весь генералитет охаивать.

Нет, красная была бы карта Европы, потому что советская. Мы еще в шестом классе до войны об этом мечтали:

— Пол-Польши наши. Бессарабию вернули. Финляндию — только временно из-за морозов отложили. Прибалтика — вся. И Болгарию возьмем. Пока туда футболисты летают, Федотов из ЦДКА голы забивает, а скоро все прибудем.

Хорошо бы еще китайская восьмая армия японцев разбила, а заодно и Чан Кай-ши. И если б снова вернули III Интернационал. Да его и так вернут. Это только тактика. Сталин маршала Тито называет «господин», а Тито самый что ни на есть советский. И Берут тоже «господин» и тоже советский. В нашей половине Европы все советские. Это просто ради англичан пишут «господа».

Хорошо было мечтать о Советской Европе. Тогда ничего не имело значения: ни ругань с матерью, ни аттестат, который Ритка у Таисьи купила. Тогда все неважно. И пусть катится подальше Козлов со своей галиматьей, пусть обнимает свою Светку и не высовывается.

Эх, отпусти мою душу, Павел Ильич! Хочешь, я к тебе сейчас поднимусь. Ты, наверно, один. У твоей бабищи — Ритка сидит. Я к тебе поднимусь, и ты скажешь, что все твое вранье — просто оскорбленное самолюбие. Я кинусь к тебе на шею, и ты не будешь мне больше душу травить. А то у меня от твоих рассказней руки опускаются. Я ведь правда — хочу быть честным. Даже не то... Хочу, чтоб впереди у меня все ясно, все здорово было. Павел Ильич, мне ей-Богу, кроме тебя, поговорить не с кем...

Я уже в самом деле хотел подняться к Козлову, когда из подъезда вышла Ритка. До чего красиво шла! Голова задумчиво склонена набок.

— Скучал? — спросила. — Молодец, что со мной не поднялся. Светка лежит зареванная. Даже заикается. Я говорю: «Внизу Коромыслов...» — задерживать не стала. «Иди, — говорит, — к этому гаду. К этой тихой сапе!» Ты что, ее обидел?

— Нет.

— Ревет, как дура, а почему — молчит. Лежит не в их комнате, а в какой-то выбеленной комнате за кухней и плачет. И про тебя кричит: «Не шейся с ним, Марго. Ты этого субчика не знаешь. Страшный гад.» Вот дуреха! Ты — и страшный! А чего в тебе, Коромыслов, страшного? Очень даже из себя симпатичный! — и она погладила меня по щеке.

Мы спустились по Мархлевского к Кировской и оттуда к «Метрополю». Билетов — ясное дело — не было.

— Постой в сторонке, — сказал я Ритке, — чего-нибудь раздобуду.

— Ну, нет, — схватила она мою руку. — Что ты? В таком месте?!

И тут мы увидели Гришку.

— Познакомьтесь, — сказал я Марго. — Это тот самый летчик.

Она взглянула на него без особого интереса. Он был ей до плеча.

— А что, — спросила, — делает здесь летчик?

Я покраснел. Не станешь же объяснять, что он ищет девочку из второго «В». Марго бы сказала:

— Вам в песочек играть. Слюнявчики привесьте.

— Ясно, — кивнула Ритка. — Очень отважный летчик. Ничего не боится.

Девчонок и всяких бабищ вокруг было пропасть. И вправду чем-то они отличались, чем-то неприятным. Попадались, правда, смазливые, но уж чересчур покрашенные. Некоторые одеты были ничего, но у всех подряд была никудышная обувь. Может, если б платья у них были похуже, туфли не так бы бросались в глаза. Туфли ведь прежде всего изнашиваются.

— Слушай, летчик, — сказал Выстрелу, — достань нам в кассе билеты.

Мне не денег было жалко. Просто вдвоем, когда девка на руке, спрашивать билеты пустое дело. Среди спекулянтов есть деликатные, ненастоящие, которые боятся лишних свидетелей. А девчонок просто стесняются.

— Надеюсь, он с нами не пойдет? — шепнула Ритка. — Что, курочку ищет?

— Да нет, — сказал я. — Совсем не то.

— Ври больше! Такой сопляк, а куда лезет. А ты бы мог, Коромыслов?..

— Нет, — покраснел я.

— Врешь. Ты тоже такой.

— Нет, — сказал я. — Я вообще не знал, что здесь это...

— Не заливай.

— Нет, всерьез. По-моему, за деньги — противно... Да и они какие-то немые.

У меня и впрямь в голову не укладывалось: Москва, победа и такое...

Гришка вытолкнулся из касс и протянул два билета.

— Да, тебе телеграмма пришла, — сказал он.

— Чего там? — скривился я.

— Я не распечатывал.

— Ну, хоть откуда?

— Из Куйбышева.

Вот те на! Никого у меня в Куйбышеве не было. Опять загадка! Целый день одни загадки. То тетка, то Светка, то телеграмма. Да, Светка — уникам! Ну, разве можно человека назвать гадом, если он как-нибудь не так глянул на тебя, когда ты пришла спать к его другу. Ну, пусть себе поругалась с Козловым — плачь на здоровье. А причем я? Будь у Светки телефон — ей-Богу, позвонил бы, спросил, с чего это она? Стоп! Да ведь Козлова нет дома. Я и забыл, что он с утра собирался в Воронцовское имение. И тетка Александра там, в Теплом стане. Зря дрожал в Бобровском перелуке.

— Ты в кино идешь? — спросил летчика. — Тогда мотай отсюда. Смотри, патруль заберет.

Офицеров вокруг было действительно без счёту. Летчик, бедняга, прямо руки от пилотки не отрывал. Выглядел неважнецки, не спал все-таки. А про Зойку я и не спрашивал. Было и так ясно, что не отыскал.

Если это вообще правда, то она могла сейчас сидеть у какого-нибудь иностранца в номере. Хавду-иду, гуд лак, ай лов ю... Неприятно все-таки, что наши девчонки — какие они ни какие, иностранцев целуют и раздеваются перед ними. Особенно злость берет, если крутят с этими англичанами, которые со вторым фронтом мурыжили. Сталин верно сказал, что наш распоследний товарищ, самый наш расподонок, выше любой ихней шишки.

— Пойду, вправду посплю, — зевнул Гришка.

— До свидания, — смилостивилась Марго и протянула летчику руку.

Мне повезло. Наши места были у самой стенки, в предпоследнем ряду. Мы сидели с Риткой тесно-тесно и сразу после кинохроники стали обниматься. Она даже ненадолго положила мою руку к себе на грудь. Я дурел. Кругом смотрели это охламоновское кино, а мне хотелось утопиться в Ритке, пропасть, исчезнуть, так счастливо сдохнуть, чтобы никакого Валерки Коромыслова не осталось.

— погоди, — шепнула Ритка и отвела мою руку.

— Потом, потом, — повторила она, когда я погладил ее колено.

— Ну, смотри кино, — взмолилась и опять прижала свою щеку к моей, чтобы я не вертел шей.

На экране эта самая Энн снова пела, а глиста-композитор опять думал, что это радио. Я никак не мог отвлечься от Марго и хоть немного поверить в эту американскую чушь. Слишком уж все у них было просто. И одеты они были — во сне не увидишь. У таких франтов никакого горя не могло быть. И все эти типы, даже те, с кого песок сыпался, побросали своих жен, напялили на себя всякие фартуки и увивались на кухне за Энн-Дурбин. Она была в переднике и наколке — жутко красивая. Правда, ее красота меня не трогала. Уж больно смахивала на открытку или на этикетку с иностранной пасты. По-моему, нельзя влюбиться в женщину, на которую все смотрят. Ты в нее влюбишься, а где-нибудь в Иванове или Самар-

канде какой-нибудь пацаненок прогуливает школу — сидит в темном зале, луцтит семечки и облизывается на твою красотку. Никогда б не влюбился в киноактрису. Да меня бы каждую минуту от ревности выворачивало. Только ночью мог бы спать спокойно, когда кино закрыто. Да и ночью не мог... У нас страна здоровенная. Когда в Москве ночь, где-нибудь под Владивостоком сидит себе морячок на утреннем сеансе и слюни пускает...

Интересно все-таки, почему эта театралка ругала МХАТ. Дурень, телефона не попросил. Что-то в этой девчонке было свое, понятное. Какие длинные ресницы! Наверно, глаза потому не выгорели, были серыми и белки синеватыми.

На экране Дурбин уже пела цыганщину, а я, подлый, обнимал Марго и думал о девчонке, что гадала на Блоке.

19

Мы вытолкались из кинодушегубки. У Ритки опять глаза были мокрые. Разбери этих баб. Тут война недавно кончилась, народу столько перебили и посжигали, а они режут над какой-то заокеанской цыпкой, у которой в полчаса налаживается шикарная жизнь. Поет, правда, она хорошо. В голосах я ничего не смыслю, но ее понравился, потому что песни цыганские. С такими песнями хорошо напиться, нагуляться и повеситься. Я вообще Леценку люблю и еще блатнягу, но только чтоб без матерщины.

На Маяковской мы вылезли из метро и я снова купил эти дурацкие цветы. Букет опять получился красивым. Ритка ахала и гордилась.

— Я тебе тоже что-нибудь подарю! — сказала она. — Давай я тебе подарю цветы! Хочешь? — Я мотнул головой. Что было отвечать? — и мы помчались по Садовому кольцу до Спиридоновки (теперь — Алексея Толстого), а оттуда в первый переулок с чудным названием Вспольный. Такой темный, уютный, хоть и длинный, как коридор.

— Подожди, — сказала Ритка возле одного двора и сунула мне букет.

Не было ее минут десять. Я вспомнил, что где-то здесь живет ее англичанка. Вынырнула Марго из другой подворотни с охапкой желтых цветов. (Называются золотые шары и вправду на шары похожи. Запаха от них — никакого.)

— Спасибо, — сказал я и хотел ее обнять, но она сказала:

— Не здесь, — и поволокла меня дальше по переулку, почти до самого дома Берии и там, наискосок от этого дома, открыла дверь в какое-то парадное. Оно было освещено. Тогда Ритка потащила меня дальше к другим дверям.

В этом подъезде было темно и тихо. Ритка затолкнула мои и свои цветы куда-то в угол, за внутреннюю дверь, возле радиатора, и мы обнялись. Потом мне пришло в голову, что она эти подъезды на память, как стихи, знает, но тогда я весь пропал, исчез. Она обняла меня руками, сцепила их на моей спине. Мы стояли и, казалось, плыли, плыли, даже летели неизвестно куда, но куда-то, откуда не вернуться. Я ее всю так обнимал, так ощущал, что даже платье не мешало. Потому что мы были вместе, а платье — это тоже была она.

Так бы стоять, плыть, лететь всю жизнь — пропади она пропадом! Ничего не надо. Пусть у всех все будет хорошо и пусть оставят нас в покое. Пусть Ритка вот так будет со мной всегда. Хотя бы вот так, если нельзя иначе. Если я только выдержу вот так. Просто обнимать Ритку. Пусть через платье. Пусть только стоять, замереть, щека к щеке. Заснуть так. Провалиться в этом подъезде, сквозь его старорежимные метлахские плитки, сквозь его фундамент, вниз, хоть под землю, но только с Риткой, с Риткой. Плевать, что с ней нельзя говорить, но зато какая она!.. Спокойная. Ну, почти спокойная. Ну, относительно. По сравнению со мной... Только гладит меня по шее, загривку, а потом расстегивает ворот своего платья, словно ей душно, и просовывает туда мою руку. Я слышу, как ее сердце тоже выталкивается из груди.

— Расстегни, — шепчет Ритка.

И вот все уже свободно, я их трогаю, они такие вытянутые, совсем как лимоны. Такие же упругие, но только гладкие. Такие гладкие, что мне стыдно за свою шершавую ладонь. Я хочу втиснуть туда и вторую руку, но ворот слишком узок. Тогда я смелею — и Ритка меня не отталкивает. Я весь прилипаю к ней. Трогаю, где хочу, и она не прогоняет меня, а целует в щеку и возле уха. Только в губы она не дается, потому, говорит, что в губы ее будет целовать муж.

Так мы стоим целую вечность в этом непонятно откуда взявшемся парадном. В старинном аккुरатном парадном с масляными стенами, с метлахской плиткой и дубовыми дверьми, где, наверно, живут, вернее, доживают век какие-то сим-

патичные дореволюционные чистюли и моют в очередь лестничную клетку. Мы стоим вечность, целую счастливую вечность, пока Ритка не шепчет:

— Пойдем. Я поставлю цветы в воду и снова придем.

Мы забираем свои букеты и выкатываемся из подъезда. У меня болят ноги. Мы проходим мимо милиционера у дома Берии, сворачиваем на Малую Никитскую и оттуда переулками проходим к Риткиному дому.

— Выйдешь? — спрашиваю я.

Она кивает. Я остаюсь один в переулке с этими дурацкими золотыми, а теперь уже смятыми шарами.

Позавчера мне такое и в голову бы не пришло. Позавчера я бы за одну Риткину улыбку в лужу б лег: — иди по мне. А сегодня! Везет же человеку. Я стою в переулке с золотыми цветами в руке. Уже темно, в некоторых окнах свет горит вполсилы, откуда-то выталкивается патефонная музыка. Но ее тоже немного. Я стою, малость чокнутый. Ведь не спал ночь. Но все равно счастливей меня нет никого. Только тело так устало, что этого счастья ему не вынести. Оно даже не нужно ему. И я, пожалуй, уже жалею, что попросил Ритку выйти. Лучше бы добраться сейчас домой, рухнуть на топчан и уснуть без задних ног.

И, когда я уж совсем готов от усталости растянуться на тротуаре, Ритка выходит из своего шикарного подъезда. Она все такая же, только на ней синий реглан, потому что холодно. Она на тех же каблуках. Верно, у нее стальные ноги! И вообще она свежая-свежая, словно только что про-

снулась. Она берет меня под руку и мы идем к площади Восстания и оттуда по кольцу к дому Берии. Я тяну ее вправо, к тому подъезду, но она шепчет:

— Давай сначала немного погуляем.

Мы проходим дом Берии и дальше идем по узким мосткам вдоль деревянного забора. За забором дом, который, видно, начали строить еще до войны. Навстречу по тем же мосткам и еще рядом по асфальту бредет штук семь парней — некоторые лбы метра в два. Я задеваю одного. Задеваю не нарочно, просто еле тащусь.

— У, пьяный, — шипит парень.

Я не обращаю внимания. Мы уже почти проходим эти проклятые мостки и вдруг Ритка оборачивается и кричит во всю глотку:

— Дураки... олухи... хулиганы!

Я тоже оборачиваюсь и, как во сне, вижу: вся орава катится на меня. Один спрашивает:

— Ты кричал?

Я киваю. Чего отвечать? Идиот он что ли — бабьего голоса отличить не может?

И тогда самый длинный лоб, лет двадцати трех, стоя на асфальте, размахивается и своей чубатой башкой, как по мячу, ударяет по моей морде. Мать моя! Я думал, зубы вылетят. В ушах зазвенело и, честное слово, искры из глаз, как из карманной «катюши»¹ посыпались.

А ребята покатались дальше. Наверно, были не настоящей шпаной. Я от неожиданности поначалу даже не разозлился. Хорошо, у меня паяльник курносый. А то ходить с рулем набок.

¹ «Катюша» — кресало (жарг.).

— Доигрался, — сказала Ритка.

Она была презлая. Вдруг я понял, что надо было кинуться на эту братию. Но, честное слово, поначалу на них даже не обиделся. Даже цветы выбросить не успел. А теперь во мне всякие мечты разыгрались. Одному даю в зубы, другому свинга слева, третьему — бац — вверх, в челюсть. И злость у меня стала подыматься, как температура.

— Достукался, — повторила Ритка. — Измазался. Умойся.

Мы вошли в соседний двор. Там я нашел пожарный кран, из него чуть брызгало. Хорошо бы накостылять этой шпане. Но, честное слово, у меня тогда злости не было. А сейчас всего трясло. Я вообще не дерусь. Ну, было раза два или три за все время. Хорошо бы — они вернулись и стали б к Ритке приставать. Тогда бы я, как перед смертью, на них кинулся. Но они не вернулись.

— Я тебя провожу, — сказала Ритка.

— Пойдем туда...

— Молчи уж лучше.

Голос у нее был скучный. Мы побрели назад. Она ни в какую не хотела повернуть к этому тихому подъезду. Шла и всю дорогу молчала. Только у своего парадного ткнулась мне в плечо, выдохнула:

— Прости, Валерка, — и впрыгнула в подъезд.

Все-таки мировая была девчонка. Я уже повернул назад идти, как услышал:

— Коромыслёнок!

Она высунулась из окна второго этажа.

— Звони днем. Я пойду с тобой болеть за ЦДКА! — крикнула на всю улицу и махнула рукой. У нее свой собственный жест. Она подымает ладонь и словно отталкивает кого-то невидимого.

Я поплелся домой. Цветы затолкнул в первую же тумбу. Трамваи где-то застряли. Есть хотелось — спасу не было. У Малой Грузинской выкупил в ночной булочной последние двести граммов и умял их, не доходя до дому. Идиот, конечно. Но на этот последний километр до дома у меня воли не хватило. Даже не голод, а какая-то тревога ёрзала под рубахой. Может, из-за денег. Может, из-за разбитого носа. Ничего хорошего, если тебя бьют на глазах девчонки. Короче, я запихивал в рот черняшку, чтобы затолкнуть страх подальше, накрыть его, «сховать», как говорили в городе Днепропетровске. И еще эта дрянь, рябая Светка, гадом меня назвала. И телеграмма. Неужели кто-нибудь припрется? Другого времени не нашли!

— Опять гуляешь? — спросил старичок в проходной. На этот раз калитка была отперта, он сидел у ворот на лавочке. Грустил, должно быть: звезд на небе была прорва.

Я не ответил, поднялся по черной лестнице на второй этаж, в сортире стащил сапоги и вымыл в умывальнике ноги. Они жутко гудели. Хорошо бы совсем залезть в умывальник, но я в нем не умещался. Все тело ныло. Вытереться, понятно, было нечем. Но если б сначала зашел домой, то никакая сила не отодрала б меня от матраса.

— Иди, иди! Там тебя уже ждут, — провел старичок, когда я снова прошел по двору. Он нарочно вылез к внутренней двери. Голос у него

был злобный, словно я чего-то украл и теперь меня дома ждал оперуполномоченный.

Но это был отец.

20

— Пап! — кинулся я.

— Явился? А ну, покажись. Что у тебя с носом? Господи, отец приехал, а сын шляется до полночи и прибывает с фонарем. Я ведь сейчас уезжаю...

— Как? Куда?!

— Куда-куда? — передразнил он. — Служба. Не всем такая лафа, Валерий Иванович!

— Ты что, не демобилизован?!

— Нет, — он мотнул головой. Она у него уже малость поседела. И вообще был какой-то усталый, хоть и нажимал на иронию. Гимнастерка висела на нем не лучше, чем вчера на мамаше, хотя теперь был привинчен орден «Красной Звезды» и на поясе торчал парабеллум. Но все равно родитель не был похож на тех победителей, что кидали знамена к Мавзолею. Он как будто с зимы стал меньше ростом.

— Так ведь война кончилась! — выпалил я.

— Эх, топса, — потрепал меня по плечу. Вид у него был — я уже сказал — невеселый. Он как будто нервничал.

— Ты что, не хочешь демобилизоваться?

— Сразу видно штатского человека, — подмигнул отец Выстрелу. Теперь я заметил Гришку. Летчик жался в углу. Стеснялся.

— Я уж, топса, забыл про слово «хочешь», — вздохнул родитель и во вздохе было поровну горечи и бахвальства. — Кто же все-таки посадил тебе фонарь? — спросил он и опять подмигнул Гришке, словно они здесь без меня спелись.

— Да так... случайно... — запнулся я.

— Ты что, пьян?

— Откуда?!

Слава Богу, что не пошли в ресторан!

— Ну, ничего, — сказал родитель. — Сегодняшний день забудем. Погулял — считай — повезло. Лавочка закрывается. Завтра, брат, Берта приезжает!

— Врешь! — выпалил я. — То есть, извини...

— Ладно, — махнул он рукой. — Не обижаюсь, принимая во внимание твою радость... На, читай!

Я взял телеграмму.

«Встречай двадцать второго девять утра новосибирским вагон восемь Берта Федор.» Чёрт! Никогда еще десять слов не гробили так человека.

— Что, доволен? — Отец прикрыл глаз, словно прицеливался. — Вижу, вижу. А я — доволен. Поедешь с ними в Днепропетровск.

— Нет, — сказал я.

— Поедешь, Валерик. Здесь тебе делать нечего. Сдашь на аттестат, а там поступишь в Строительный. Вон Гриша тоже демобилизовывается. Поступите вместе.

— Нет, — помотал я башкой.

— Что мне — тебя пороть? Так вроде поздно... Я ж, топса, уезжаю через двадцать пять, нет, уже минут через... двадцать. — Он заметно

нервничал.. — Сам видишь, стоять над тобой с шомполом не могу. Я уезжаю. У е з ж а ю.

— Но вернешься...

— Не перебивай. Я уезжаю. У меня поезд в час тридцать.

Ей-Богу, он был не лучше матери. Я в самом деле боялся, как бы с ним не началась истерика. У всех теперь нервы...

— Ты когда приехал? — спросил я, чтобы хоть как-нибудь отвлечь.

— Да вот, сегодня, — промямлил он. — Нескладно вышло. Разминулся с мамой. — Голос у него сразу опал. — Ты, Валерик, не сердись, но придется тебе пока поступить в Днепропетровске.

— Да меня отсюда не отпустят, — взмолился я. — У нас секретный институт. Ракеты, знаешь... всякое такое. Скоро еще почище, говорят, будет. Это же Наркомат Боеприпасов.

— Ничего. Федор сходит — упросит. Строительный институт тоже не последняя спица. Восстанавливать — еще твоим детям придется.

— А мама как?

— Что ж, мама в Германии, — снова сник родитель. — А тебя тут пока убить могут! Поедешь в Днепропетровск. Вон какую в первый день блямбу заработал.

Я понял, что этот фонарь для него просто подарок.

— У меня экзамены почти до сентября. Федор ждать не будет.

— Слушай, топса. Приказ есть приказ. И надо его выполнять и думать, как выполнить, а не искать отговорки. Реши сам, как лучше устроить перевод. Может быть, есть смысл сдать досрочно.

Еще чего! Дай Бог мне в срок на тройках приехать. Но я молчу. Молчать — самое милое дело. Потом всегда можно будет придумать, почему не поехал. Но выдержка у меня на нуле, и я опять ною:

— А с чего ты взял, будто Берта и Федор так уж возьмут меня?.. Я им почти не писал.

— Ничего. Извинишься. Они хорошие ребята. Жалеть их надо. Сережки-то нет, — и он привистнул.

— Заодно и утешать их будешь, — добавил позже и неуклюже улыбнулся. — Словом, договорились и не хочу я разводить дискуссии. Некогда. Вот письмо. Отдашь Берте.

Конверт был здоровенный, из ватмана. Толстый, как бумажник. Весом, наверно, в полкило. Натыкано на нем было сургучных печатей — штук сто. Вернее, это были не печати, а оттиски какой-то иностранной монеты.

Странный отец мужик. Вежливый, застенчивый и в то же время настырный, но только до тех пор, пока ему скучно не станет. Ему быстро все надоедает.

— Я и так бы не распечатал, — сказал вслух.

Отец покраснел. Гришка — тоже. И тут я сообразил, что родитель заклеивал конверт в расчете, если я не появлюсь. И впрямь — стань на его место. В конверте наверняка деньги. А что отец знает про Грину? Оставишь, а потом ищи...

— Теперь костюм... — Отец распахнул дверцу шкафа. На распялке висел пиджак, темный, в сероватую полоску, и высывались брюки с подтяжками.

— Ого! Сбрую носишь?

— Вся Европа подтяжки носит. Ракоши на митинге в подтяжках выступает.

— Материал богатый, — сказал я. — На четыре косых потянет.

— Отдашь Федору. А будет отнекиваться, сам надевай. Но без жадности. На праздники — и хватит. Это, брат, все, что у меня есть. А туфли — носи.

Туфли были черные, совсем новые. Тоже богатые. Но как-то не до них сейчас было.

— Ладно, — отмахнулся я. — А куда ты едешь?

— В часть. В часть, сын. Сейчас пойдем. Не задержу тебя.

— Брось... Скажи, хоть демобилизуешься? Сам говоришь, восстанавливать надо...

— Демобилизуюсь, — вздохнул он. — Но потом. Сейчас надо одну работу закончить. Одно серьезное дело.

— Секретное?

— Да. Пока — секретное. Но скоро узнаешь.

— Всюду секреты... Расскажи хоть не про секреты. Ты из самого Будапешта?

— Почти.

— Ну, как в Будапеште?

— Ничего. Весело. Красивый город.

— Здорово побит?

— Средствененно.

— А коммунисты победят?

— Вообще должны. Их много. Я слышал Ракоши — он выступал на площади перед парламентом. Площадь была полна.

— А ты венгерский понимаешь?

— Объясниться смогу.

Молодец! Он уже Козлова обставил. За три месяца самый трудный язык в мире одолел.

— Расскажите про Ракоши. Какой он? — подал голос Гриша. До этого он сидел в углу, как мышь.

— Так. Обыкновенный. Маленький. Бритоголовый. На митинге был в подтяжках, — усмехнулся родитель.

— Правда, что он еврей? — спросил Гриня.

— Да, как будто. Там очень сильная партия мелких хозяев. Она пока в большинстве. Но коммунистов уже тоже порядком. Сейчас всех принимают в партию. Даже фабрикантов.

— Что, буржуев? — выпалили мы с Гришкой. Жаль, не успели желания задумать и схватиться за черное.

— Можете считать — буржуев. Мне знакомые венгры объясняли. Им сейчас важно набрать голоса. Самое главное — побольше собрать избирателей. Потом — кого куда — разберутся.

— Будут чистки? — спросил я.

— Наверно, чего-нибудь уж придумают. Сейчас важно, чтобы в правительство и в парламент попало побольше коммунистов.

— А ты сам вступишь? — спросил я.

— Нет... Предлагали несколько раз. Но мне уж поздновато. Ты за меня вступишь, — улыбнулся он. — Да, топса, чуть не забыл. Тебе завтра после вокзала придется на клубище съездить. Александра сюда прибегала. Умер Егор Никитич.

Я минуту моргал глазами: вдруг приснилось. Господи, опять известие. А я даже подумать о старике не могу. Некогда. Вот жизнь! То живешь —

ничего не случается, а то навалом одно за другим! Кучей! Одно за другим!..

— С ней Гриша разговаривал, — сказал отец.

— Часов в девять, — сказал летчик. — Она такая же была, как утром. Говорит быстро-быстро. Я еле понял. Триста раз повторила, чтобы ты ехал на Рогожское кладбище. Домой, говорит, пусть не едет, а прямо на кладбище. Гроб уже туда повезли. Он всю ночь в церкви будет. Понял? В два часа, чтоб, как штык, был на Рогожском. Я правильно запомнил — Рогожском?

— Правильно, — сказал я.

— Чего они так спешат? — спросил отец.

— Да-а... Вчера только Анастасию Никитичну схоронили. На поминках два попа сидело. А теперь вот — старик!

— Обидно, — сказал отец. Большого из себя не выдавил. У него, наверно, своих забот хватало. Не мог как следует на чужом горе сосредоточиться. А притворяться не любил. Хоть у него и недостатков куча, а врать не умеет.

Елки зеленые! У меня в голове и так все не уместалось. А тут еще старик... Вслед за сестрой. Теперь отворяй ворота... И какой старик! Я без него был бы темнотой, вроде Генки Вячина. А сейчас поплакать некогда. Но я знал, что мне его хватит на всю жизнь вспоминать. И еще этот чёртовый Днепропетровск со Строительным институтом. И завтра встречай Федора с Бертой. А я им только три письма за два года накатал. Что толку про себя каяться? Они-то не слышали. И отец уезжает... А еще мне по носу съездили. И Светка наревела, что я гад. Что ж, может, и вправду гад.

Но попробуй все это свяжи, разберись за полминуты!

— Пойдем, топса, — сказал отец.

Он стал ниже меня, а зимой были одного роста. Стриженный и седой, не такой, конечно, седой, как Козлов, но все-таки голова блестела. Ему до козловских лет еще пилять, ему только осенью тридцать семь будет. Так и хотелось погладить его по седоватому затылку.

— Пап! — вдруг разревелся я.

— Ну, будет, топса, будет. Давай вот выпьем на дорогу. — Он потащил меня в кухню, где осталась утренняя бутылка, на две трети пустая.

Мы чокнулись.

— Возвращайся, — сказал я, вытирая локтем слезы.

— Попробую, — кивнул он, но как-то вяло. Словно всё перед ним было темно, и он сам себе не был хозяином.

21

На улице похолодало. Я ёжился в безрукавке.

— Ты что — без шинели? — спросил отца.

— В камере хранения.

— Вещи тяжелые?

— Откуда? Сидор — и всё. Чемодан тебе оставил. Мне, топса, и рубля не накопили войны...

— Зато не барахольщик!

Но его утешать не надо было. Он ведь не из-за шмуток грустил.

Мы прошли проходным двором к шестнадцатому трамваю. Вагон подошел пустой. Замечательное дело — пустые трамваи. Летом, правда, и днем ездить можно, а зимой все пуговицы в часы пик

обрывают. Был даже анекдот. Черчилль рассказывает:

— Москва чудесный город. Люди веселые, хорошо одеты. Гуляют. Только странное дело: утром часов в девять и вечером в семь мчится по центру стадо каких-то нищих с портфелями, трамвай штурмует. А один, смотрю, идет себе не спеша и улыбается, показывает какие-то бумажки. «Вот, — говорит, — крупу отоварил, а талончики не отрезали».

Это, конечно, анекдот. Но все-таки ночью в трамвае не то, что днем. Дело даже не в толкотне. Ночью за окном темно, ни черта не разглядишь. И скучные места проносятся быстро, не то, что днем, когда трамвай еле тащится по унылым улицам. В Москве сколько угодно скучных кварталов. Едешь-едешь — и никак не кончатся. Вдруг мне захотелось с отцом за город. Если уж нельзя на Днепр, на острова, то хотя бы просто под Москву, где грибов навалом. Лежали бы на траве, я бы шуровал в костерке, а он бы чего-нибудь рассказывал, пусть не про эту, про старую войну, из книг или что-нибудь просто смешное. Он здорово рассказывает. Даже «Золотого тельца» может передать смешней, чем в книжке. У него с юмором в порядке. Вообще он стоящий мужик, лично храбрый, то есть перед опасностью, а не перед начальством. С непосредственным начальством он тоже храбрый. Но перед чинами у него какое-то почтение. Знания уважает и ордена. Зимой я его все донимал анекдотами про правительственные награды. Хорошо бы мы с ним сейчас вылезли из трамвая и пересели на автобус, в Серебряный бор. Или еще куда-нибудь. Ритка бы, в крайнем слу-

чае, подождала. Я бы написал ей, объяснил. Все-таки отца четыре года не было. Зимой — это не в счет. Зимой рядом все время мать была.

Иногда зверски хочется за город. Не на огород, а именно за город. В Днепропетровске мы с отцом каждое воскресенье ездили на острова. Так просто, ни для чего. Рыбу ловить не умеем, и плаваем средне. А когда на реку еще рано, или осенью — уезжали на велосипедах. Нашли одно место — совсем не похоже на южную природу. Холмы, и дубы на них. Отец называл его:

— О, русская земля, ты уже за холмом!

Оказывается, я потом узнал, это строка из «Слова о полку Игореве». Но самое чудное, что это место с холмами еще сто лет назад существовало, и отец туда ездил с девчонкой, когда чуть старше меня был. Это она так холм окрестила. Наверно, я думал, стоящая была. Высокая, длинноногая. Глаза серые, волосы светлые. Может, стихи читала или еще лучше — прозу. Какие-нибудь рассказы из старой жизни, где девушки читают книги над прудами, а у их ног лежат большие серые собаки. Иногда зверски хочется такой тишины. Чтоб никто не теребил, никуда спешить не надо было. Чтоб было, как у Есенина:

Не у всякого есть свой близкий,
Но она мне, как песня, была,
Потому что мои записки
Из ошейника пса не брала.

Но самое-самое чудное, что, оказывается, эта девчонка с холмов и есть моя мать. Это она приезжала в Днепропетровск на какой-то комсомоль-

ский слет (тогда еще была активисткой) и случайно познакомилась с отцом. Вот оно как. А я все с мамашей ругаюсь...

Словом, все не так просто. Иногда злюсь, что мне всего семнадцать, а я уже, когда смотрю на девчонку, думаю, а какие у нее ноги? А руки? А плечи? Не то, чтобы глазами раздеваю, но все-таки приглядываюсь. А вот сегодня утром у кино просто беседовал. Хорошо бы ее снова встретить и прямо так сказать:

— А я все вас вспоминал и жутко жалел, что не спросил телефона. — Так честно, глаз не отводя, сказать, чтоб она точно поняла, что я о ней думал, а чего нет. С такими девчонками нельзя грубо обращаться. Тогда на свете вообще ничего хорошего не останется...

— Не грусти, топса, — сказал отец. — Теперь ты уже взрослый. Самое трудное — позади. Немцев побили.

— А ты демобилизуешься?

— Ну, там видно будет. Кто ж тебе все-таки синяк посадил?

— Да, там. Одни типы. Это по ошибке.

— Будь с Бертой и Федором повнимательней. Сам знаешь, сына потеряли.

— Угу...

— Ну, и мне, разумеется, пиши. Я протелеграфирую полевую почту.

— Почему полевую?

— Мы, наверно, не на одном месте будем.

— А!.. Только, папа, знаешь... я лучше все-таки останусь в Москве. Мутит меня от щирого юга...

— Топса, мы договорились.

— Ну, чего ты боишься? Хочешь, до мамино-го приезда перейду в общежитие?

— Нет, сын. Дело решенное. Всё. Приказы не обсуждаются.

Я собрался с духом и решил не спорить. Пусть едет. У меня в запасе еще месяц. Чего заранее расстраиваться.

— Ну, не дуйся. Выше морду, Валерка, — сказал отец. — Я тоже не в Москве учился. — Он тронул мне подбородок. Рука у него была сильная. Наверно, наравне с солдатами траншеи рыл. Он, хоть и бахвал, но демократ, носа не задирает и готов все сам за других делать. Наверно, на войне ему нравилось еще и потому, что все доводил до конца. На гражданке он зашивался со всякими переделками. Все сроки запарывал.

Вагон гремел, как консервная банка на хвосте у собаки. Мы стояли на площадке. Грустно было и холодно. И еще тревожно. Всего один день свободы мне выпал и тот кончается. А утром встречай Коромысловых. Я их, ей-Богу, любил но сейчас они были совсем некстати. К тому же, встретишь и сразу на кладбище. А не пойти нельзя. Старик был ко мне добр, и я ведь его уважал. А сейчас даже поплакать некогда.

— Возьмешь на вокзал Гришку. Если запоздает поезд — пусть встретит. Он ведь их узнает.

— Там, наверно, Фира Евсеевна будет, — сказал я.

Фира — Бертина двоюродная. Наверняка они ей телеграфировали. Тем более, поезд приходит в воскресенье. Они, наверно, у Фиры пожить рассчитывали. Ведь не знали, что мать в Германию

улетит. Они и раньше мать не жаловали, а последние два года и вовсе не переписывались. Берта сердилась, что мать меня сманила в Москву, да еще в тот момент, когда убили Сережку.

— Пусть у нас поживут, — сказал отец. — Гришка где-нибудь пристроится. Или одну ночь поспит с тобой. В общем, пусть сам мозгами раскинет. Он ничего паренек. Серьезный. Не то, что некоторые. — Он снова взял меня за подбородок. — Выглядишь ты, мальй, плохо. Глаза красные и морда, — фо, — он втянул щеки и изобразил мою худобу.

— Не выспался, — ответил я. — Маму провожал. Вернулся — Гришка сидит на чемодане. Поговорили — уже утро. Я и не ложился.

— Тогда давай у метро распрощаемся и иди-ка ты, брат, поспи. А то у тебя встречи, приезды, похороны, а возраст, надо сказать, самый туберкулезный. Иди, иди.

Он вытолкнул меня из трамвая. Как раз была остановка стадион «Динамо».

В вагоне метро я немного отошел. Но отец был все таким же грустным, усталым до дьявола. По-моему, даже злился, что я увязался за ним. В этот приезд он был еще чуднее. Словно чего-то скрывал, недоговаривал.

— Да хоть куда едешь — скажи!

Он отнекивался, потом сказал, что в Сибирь.

— С Казанского?

— Предположим.

— С Ярославского?

— Ладно, Валерик. Не твоего ума дело.

— Чудно получается, — сказал я. — Коромысловы из Сибири, ты — в Сибирь. Скажи, хоть далеко?!

— Там видно будет. Чего пристал?

— Хорошо, не говори. На вокзале погляжу, что за поезд.

— Попробуй только, — погрозил он. Но улыбка у него была невеселая. Мы вылезли на площади Свердлова, а в Охотном он буквально вытолкнул меня из вагона и язык через стекло показал. Я даже не рассердился, потому что мне вдруг померещилось, что я вижу отца в последний раз. Но эта мысль проскочила еще быстрее пустого вагона, из которого он показывал язык.

Я махнул ему рукой. Сейчас в самом деле захотелось выпить. Таким быть пьяным, чтоб без страха сверзиться с платформы на электрические рельсы. Шмяк — и ты весь угольный, одна пыль-копоть.

Я доехал до Библиотеки имени Ленина. На пересадку уже не пускали. Пришлось вылезти и идти пешком. По улице Фрунзе дул ветер. Я продрог. Но, когда перешел площадь и свернул на Большую Молчановку, стало теплее. Я словно чувал, что завтра всему конец, и шел быстро. Каблуки, как вчера, опять стучали по обе стороны улицы, а потом по обе стороны переулка, самого замечательного в стране Трубниковского переулка, будь он трижды проклят. Риткин серый дом висел над ним, как скала, словно рухнуть на него собирался.

У Марго, в той комнате, из которой она махала мне рукой, горел нижний свет. Я подумал, вдруг она одна дома. Сегодня суббота, может, родители

с братом укатили к родичам на дачу. Я подобрал на клумбе засохший комок земли и осторожно кинул в раму. Ритка оказалась в окне. Руки у нее были открыты по самые плечи. Я ее поманил. Она кивнула. Я показал на асфальт. Она покачала головой и повела рукой вправо. Мы были, наверное, со стороны похожи на глухонемых. Наконец, я сообразил, что она зовет меня в парадное.

Подъезд был богатый, большой — с волейбольную площадку. Всякие лепные потолки, зеркало в три метра высоты. Наверху пробурчала дверь, что-то коротко звякнуло. Это Ритка поставила английский замок на собачку. Я взбежал на второй этаж, стараясь не звенеть подковками. Света на площадке не было. Ритка стояла у перил в реглане и в шлепанцах. Мы обнялись.

Это была какая-то невероятная ночь. Все в ней было видно и слышно далеко и на все стороны. Где-то в пустой церкви в гробу лежал Егор Никитич. Холодно, наверно, в церкви. Свечи коптят. Дьячок читает псалтырь, но больше сачкует или даже кемарит. Отец в поезде катит в Сибирь. Берта и Федор по Казанской ветке подъезжают к Рязани. Гришка дома второй сон досматривает. Козлов уже, наверное, из Воронцовского имения к Светке вернулся. А я прижимаюсь к Марго. На ней только пальто и под пальто одна рубашка. Я Ритку на всю жизнь запомнил сквозь эту рубашку. Ведь это мы с ней в последний раз в жизни обнимались.

— Бедный, — шептала она горячим ртом. — Жить тебе не дают.

Я ей все сходу выпалил: и отца, и Днепропетровск с родичами.

— Бедный, бедный...

Я был вовсе усталым. А Ритка была свежая-свежая.

— Никуда не уеду, — шептал я. — Пропади они все пропадом.

И ничего мне в жизни не надо было. Только вот так прижиматься к ней. Только стоять, растегнув ее пальто, обнимать, гладить, припадать к ней, забывая все смерти, отъезды, приезды, целуя ее в шею, щеку, в губы. Да, в губы. Она не отстранялась, не отворачивалась. Сама их протягивала, крепкие, полные, упругие губы. А за ними зубы, один к одному. Большие, тоже крепкие. И вот они уже прихватывали мой рот, прикусывали. Сначала невзначай, потом чаще, крепче, уже совсем больно. Чуть не вкус крови чуял. А Ритка уже в самом деле кусалась. Рот у меня весь горел, а я его не отрывал, хотя боялся, что в самом деле кровь потечет. Ведь этот лохматый меня крепко саданул.

Я обнимал ее, уже не стеснялся своих шершавых ладоней. Так мне хотелось гладить Ритку. А она прижималась, кусалась и вдруг замерла, зашептала:

— Я так не могу... Ты мучаешь, ты меня мучаешь, — и все равно прижималась, подгибая колени, прямо вкладывалась в меня, и опять шептала:

— Не мучь меня, Валерка. Я сама уже не своя. Я с тобой сейчас куда хочешь пойду.

Идиот проклятый! Дома Гришку поселил, а завтра еще эти приедут! Я стоял беспомощный, как интеллигент, а она шептала:

— Пусти меня. Я же не могу. Не могу. К нам же нельзя. Отец дома. Ты понимаешь?!

— Прости, — сказал я и отпустил ее.

Мне было зверски стыдно.

— Ты глупый, — сказала она. И мы еще долго целовались, но уже не так очумело.

На грузовом трамвае я доехал до нашего депо, прошел проходным двором на Ваганьковку и перелез через ворота. Дверь была приоткрыта. Гришка спал, накрывшись подушкой. Было уже почти светло.

Я боялся, что от усталости и всего другого не засну и стал считать слонов, как доктор Гаспар Арнери в «Трех Толстяках». Сперва не помогало. Чёрт-те чего крутилось в мозгу, перескакивало с одного на другое. Голова прямо раскалывалась. Мыслей было, как подставок на бильярдном поле, когда пижон разбивает пирамиду. Они прямо, как шары, все у луз торчали, забивай любую, а я терялся, хватался за одну, за другую и все промахивался. То думал про церковь, где дядька на холоду лежит, то про Марго, то про БERTУ, про отца, про мать, — всякий раз, как через канаву перескакивал с виденья на виденье и вдруг не допрыгнул. Куда-то меня потянуло, засосало, и я попал в какой-то зал. Большой, довольно светлый, хотя окна были высокие, стрельчатые, как в церкви. Я еще подумал, что это и есть церковь и что здесь лежит Егор Никитич, но гроба нигде не было. Везде почему-то стояли парты, и вдруг я заметил, что сижу на одной, и на каждой кто-нибудь да сидит. На всех партах сидело по одному парню или девчонке. Впереди, прямо как на сцене, вырос из-под пола здоровенный стол и над ним грифельная доска. Какой-то там тип — рослый, тучный — со слона! — в рубашке без воротника — блестела

на шее лишь запонка — стал орать, чтобы спрятали шпаргалеты. Я поначалу глядел без особого интереса. Я уже понял, что это письменные экзамены, а химия письменной не бывает. Этот тип все чего-то орал. Голос у него был милиционерский, а морда, как у мясника. Я обернулся и стал искать Ритку. Она сидела у самых дверей, в сером костюме. Этот мордатый все еще чего-то доказывал. Я хотел его прервать, потому что мне надо было узнать, что будет — алгебра, геометрия или все-таки литература. Надо было успеть накатать шпаргалку для Марго.

Наконец, он повернулся к нам спиной — зад у него был в два глобуса, — и стал писать на доске. Было видно неважно. Все-таки я разобрал:

«Затемнение в Грэтли»

Я никак не мог понять, откуда взялось это «Затемнение». Повернулся к соседу, но у того морда была какая-то нечеткая. Он вроде был, но одновременно исчезал. Все-таки я его спросил, откуда это «Грэтли». Он тоже не знал. Но тут вокруг стали шептаться:

— У-у-у! Шу-шу-шу!

Мордатый у доски сначала пытался что-то орать, но все-таки стер «Грэтли» и написал «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь».

Тот парень, что сидел рядом, теперь я его узнал, толкнул меня: напиши, мол, про Маяковского. Я написал, а он даже спасибо не сказал, только спросил:

— А на строчки правильно разбито?

Вот еще! Я, что ли, должен помнить, как Маяковский их нагонял?

Вдруг откуда-то сзади Райка Синельникова подала голос:

— Как писать горошина?

— Как угодно, — говорю, — но только не через «е» и не через «а». А откуда ты взяла горошину?

Оказывается, пишет по сказке Андерсена. Но я даже не очень удивился. Она вообще какая-то малявка, хоть и Риткиного возраста.

Вдруг вспомнил и спрашиваю ее:

— Где Полякова?

А Райка говорит:

— Ты что, не знаешь? Она умерла.

Я перепугался, повернулся, смотрю Ритки у дверей нет. Я думаю: куда делась Ритка. Вдруг эта дура Синельникова перепутала — и умерла Марго, а не Полякова. Я иду к Риткиной парте. Она еще совсем теплая от Ритки, я шарю, шарю под крышкой и нахожу эти самые листки. На одном выведено — 1-е августа 45 года. Маргарита Доронина. Потом дальше: «Образ Татьяны Лариной». И с пол-листа начато:

«Татьяна Ларина — любимая героиня великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Она родоначальница русских женщин, чей подвиг...». И все. Дальше белая бумага. Вот, думаю, психушка Ритка. Но что-то надо делать. Я сажусь за парту, сгибаюсь, как в окопчике, чтобы этот слон у доски — не заметил, и пишу. Почерк у меня получается совершенно Риткин. Все складно выходит. Я уже кончил черновик и пишу начисто, пишу не глядя на бумагу, чего получается.

Перо так и летает. Я тороплюсь, боюсь: туша с запонкой меня заметит. И тут слышу звонок, этот тип уже и вправду прет ко мне на своих тумбах. Туловище у него, как яйцо, сваренное в мешочке, когда с него сдерешь кожуру — так все переваливается из стороны в сторону. Он идет на меня, а мне одновременно смешно и страшно.

— Давай, давай! Опоздаешь! — орет он мне в ухо. — Опоздаешь, Чкалов! — Я думаю, вот сейчас врежу тебе за «Чкалова»!

— Да, вставай, Лерка, — орет Выстрел.

Я протираю глаза и он мне сует будильник. Вот жизнь собачья! Будто и не ложился. Всего ломит. Я натягиваю гольфы, сую ноги в тапочки, хватаю два ведра и мчусь наверх. Сегодня воскресенье. Институт пуст. Возвращаюсь, скидываю с себя все. Стою на крыльце, как Адам. Гриня выливает на меня два ведра. Немного очухиваюсь. Хорошо, дворничиха выстирала все рубахи и портянки. Надеваю свежее, шершавое от крахмала. От чистого белья не так спать хочется.

— Я поеду с тобой, — говорит Выстрел.

— Погоди.

Снова поднимаюсь наверх, набираю Фирин номер.

— Да, знаю, — отвечает Фира.

Я говорю про кладбище.

— Какой ужас! — говорит Фира.

Я спускаюсь вниз, мы вскрываем банку тушонки и по очереди черпаем алюминиевыми ложками. Хлеба навалом. Отец оставил буханку.

— Это тебе девочка по носу дала? — спрашивает Гриня.

— Нет. Но из-за нее.

— У тебя губы вспухли. Целовался?

— Ага. А что — нельзя.

— Да нет. Девочка у тебя ничего. Большая только.

— Мне — в самый раз.

Вижу, ему охота еще спросить, но не решается. И я тоже молчу. Не выскочка.

— Поплачет она, когда ты в Днепропетровск уедешь, — говорит Гриня.

— Там видно будет.

По правде сказать, я еще не решил, поеду ли. Я еще вообще ничего не решил. Если бы Гришки здесь не было, Марго, может, и пришла бы. Я бы ей втихаря открыл ворота.

— Не беспокойся, я в кухне лягу, — сказал летчик. — У меня в понедельник все должно решиться: либо институт, либо воздух.

— Ляжешь со мной. Может, они еще поживут у теткиной кухни. Может, они вообще с поезда на поезд. Тогда плакал этот Строительный. Не волнуйся. Они не рассчитывали у меня жить. Тетка с мамашей, как собака с кошкой. Не расстраивайся. Иди лучше свою четырехглазую ищи. Только, по-моему, она никакая не господин... Наверно, где-нибудь на заводе вкальвает. Ты бы вообще в справочном бюро спросил.

— А ведь правда, — сказал Гришка. — И как в голову не пришло!

22

Поезд опоздал всего на три часа. Я сидел в этом ангаре на лавке, похожей на скамьи в судебных камерах, и давил за милую душу. Фира при-

оделась, намазала губы и ругала моего отца на чем свет стоит. Она не верила, что он раньше не мог приехать. Уверяла, что он нарочно выжидал, пока мать улетит. Я отвечал вяло, делал вид, что засыпаю и в конце концов вправду уснул.

Она пыталась вякать, что яблоко от яблони... но я слышал только самое начало. Снилось мне снова всякая галиматья. Помню, что в основном — футбол. Наверно, потому, что шум на Казанском вокзале был, как на «Динамо». Кто-то несся по полю, то ли Бобер, то ли Федотов, и бил все время мимо ворот. Но потом оказалось, что это я сам, причем не в бутсах, а в сапогах и в синей безрукавке. Где-то я успел вывернуть ее на другую сторону. Потом мне все-таки удалось втолкнуть мяч в ворота, но в воротах никого не было. Я глянул на трибуны, и они тоже были пустые. Тогда я вспомнил, что футбол будет только в три, а мне уже в два надо быть на кладбище. Сон как рукой смахнуло. За всеми этими событиями позабыл про футбол. А ведь Ритка ждет!

Я встал со скамейки и поплелся к телефону-автомату. Была очередь. Я дождался, вошел в будку, набрал номер, но после последней цифры нажал на рычаг. Разговаривать расхотелось. Что ей до моих дел, моих мертвецов и родителей. Вчера вел себя, как дурак, себя и ее обманывал. Сейчас, в огромном вокзальном зале чувствовал себя круглым идиотом. Проворонил свое счастье, Коромыслов! И говорить нечего... Я еще разок набрал номер, снова рванул рычаг и выполз из будки.

Только поначалу в вагонной телчке показалось, что они совсем не изменились. Но, когда вы-

нес на перрон чемоданы, и Берта второй раз обнялась с Фирой, я увидел, что Коромысловы уже не те... Нет, не то, чтоб они поседели. Просто стали какими-то заброшенными. И вдруг я понял, что, кроме меня, у них никого нет на свете.

— Иосиф совсем опустился, — говорила Берта. Она была, как заведенная. — У него один близкий — еда. Женился или, как это точнее, сошелся с хлебоборозчицей.

— Ну, ладно, — осадил ее Федор.

Он был в синей габардиновой гимнастерке с отложным воротничком и в таких же галифе. Рукав был заправлен за пояс. В 30-м году Федору в какой-то деревне прострелили руку. Началась гангрена, пришлось отрезать почти по плечо. Что-то в Федоре было жутко довоенное, хотя гимнастерка была новая, ненюшенная. У Берты губы не были накрашены.

— Ты нас совсем забыл, — сказала она на перроне. В вагоне только припала к моей безрукавке и плакала, целуя мое лицо. Оно у меня и сейчас было мокрым от ее слез.

— Как Гапа?

— Улетела в Германию! — выскочила Фира. — Гапа — несчастный человек. Отойди, Валерий, — бросила мне и что-то быстро зашептала Берте на ухо.

— У них секреты, — сказал я Федору. Я не знал, как себя с ним держать. И даже не из-за писем, а просто я стоял живой-здоровый, длиннее его на целую голову, а Сережку — убили.

— Женские секреты, — повторил я неуверенно.

Федор не ответил. Он стоял при двух чемоданах, понурый, то ли оглушенный, то ли обиженный. Толкотня была страшная. Тащили какие-то сумки, тюки, баулы, узлы, ведра — чёрт-те чего. И солнце всюду пекло. А Федор стоял в своем синем габардиновом одеянии, в надраенных сапогах, какой-то чудной среди вокзальной давки. Ему было жарко, пот тек из-под его полувоенной кепки по худому, синему от выбритости лицу. Видно, ему все не нравилось, все раздражало, даже шпиль на Казанском вокзале.

— Не может быть! — вскрикнула Берта.

Федор молча стоял между чемоданами. Теперь уже стало совсем заметно, как он сдал. Был старше родителя на добрый десяток.

— Надо взять носильщика, — сказал он.

— Дотащу, — запетушился я.

Впрочем, чемоданов было всего два.

— Тебе тяжело будет, — сказала Берта.

Никаких носильщиков вокруг не было. То ли их расхватали пассажиры из передних вагонов, то ли носильщики просто вымерли. Зато было до чёрта добровольцев, без блях, готовых нести вещи хоть на край света, хоть до камеры хранения.

— Пусть втащит в зал ожидания, — сказала Фира. — У него мало времени. Может опоздать на похороны.

На вокзальных часах было уже двадцать пять первого. Жара стояла зверская. Какого беса я нацепил безрукавку. Правда, под ней было это письмо-думка.

— Какие похороны? — спросила Берта.

— Егора Никитича, — сказал я.

— Кто это? — спросил Федор. Голос у него был тусклый, как будто сейчас был не полдень, а пять утра.

Фира стала растолковывать родственные связи.

— А-а, — скривился Федор.

После Сережкиной смерти его уже ничего не удивляло. Я поднял чемоданы и поволок в зал ожидания. Чудачка при дверях ни в какую не хотела впускать. Фира пыталась жать на просторечие и человечность. Наконец, я подмигнул этой церберше, мол, погляди на Федорову руку. Та увидела и сжалилась. Но Федор тоже заметил и мне снова стало не по себе.

В зале было не так душно. Народу вроде стало меньше. Наверно, в кассах объявили перерыв и транзитники разбежались проветриться. Мы сели на судебную скамью. Я и вправду был, как преступник.

— Как себя чувствуешь? — спросила Федора Берта. Он сморщился, недовольно повел плечом и рукав под поясом полез вверх. Что-то с Коромысловыми происходило. Раньше был такой сдержанный. Они никогда не ссорились.

— Вам письмо, тетя, — сказал я и вытащил пакет. Печати на нем так и сияли.

— Родитель запечатал. Небось, государственные тайны.

Но Коромысловы даже не улыбнулись. Слишком я им стал чужой. А ведь сидел у них на шее пятнадцать лет. Берта меня маленького спать укладывала. Уж не говорю про молоко.

А сейчас она стояла, жутко родная, но с виду посторонняя. Она вытаскила из волос шпильку и разрезала конверт.

— Тут какие-то деньги, — сказала брезгливо. — Ах, да, письмо тоже.

Деньги она затолкнула в сумку, развернула двойной тетрадный лист, улыбнулась, но тут же ее круглое лицо стало вытягиваться, верхняя губка с усиками оттопырилась и больше уже выражение лица не менялось. Только само лицо темнело и темнело и, когда тетка дочитала послание, вид у нее был рассерженный.

— Прочти, — сказала она Федору.

Федор зажал письмо между мизинцем и указательным, полез в карман гимнастерки, достал оттуда очки и стал еще старше. Я подумал: зря удивляются, что уцелел перед войной. Не таким был начальством, чтоб высшую меру получать, а в лагере какая польза с однорукого?.. Его тогда исключили из партии на полтора года, а когда восстановили, на партработу уже не брали. Выше замдиректора или там начальника АХО не поднимался. Да и хозяйственник был неважный. Хапуг из Коромысловых не получалось. Вся семья держалась на Берте. У нее была ходкая специальность — врач-венеролог. Кроме того, она была жутко энергичная женщина. Маленькая, круглая, носилась, как шарик, и настоять на своем умела.

— Иван нас ставит в известность, — сказала она Фире и что-то шепнула.

— Этого еще не хватало! — всплеснула руками Фира.

Берта склонила лицо и стала опять прежней маленькой женщиной с седой лентой волос вокруг

головы. Лицо у нее иногда бывало удивительно детское. Сейчас она выглядела чуть не моложе матери.

— Бедный мой сынуля, — вдруг расклюпалась она и снова, как в вагоне, уткнулась в мою безрукавку.

— Ты еще совсем маленький... Ты совсем, как Сережка... Нет Сережки, нет!..

Вокруг стали оглядываться.

— Мам, — потрепал ее по плечу Федор. В руке у него было письмо.

— Когда последний экзамен? — спросил он меня.

— Я не поеду!

— Я спрашиваю тебя про экзамен!

— Двадцать пятого августа.

Берта высморкалась и вытерла слезы.

— Что у тебя с носом? — спросила меня. — Ты какой-то опухший.

— Ты можешь задержаться? — спросила Федора.

— Я поеду один, — сказал он. Голос у него был просто загробный.

— Не говори глупостей, — сказала Берта.

Господи, они раньше никогда не ссорились!..

— Вы что — здесь будете обсуждать? Нашли место и время! — рассердилась Фира. — Едем ко мне. Валерий, после кладбища не задерживайся.

— Хорошо, — сказал я и поднял чемоданы. Они были не тяжелые.

— Это у вас все? — спросил Берту, когда спустились в камеру хранения.

— Есть еще постель малой скоростью.

— Я не поеду, — сказал ей тихо.

Она покачала головой.

Мы встали в очередь к дальнему окошку.

— Не поеду. Честное слово не поеду, — повторил я.

— Федор, дай письмо, — сказала Берта.

— На, читай, — крикнула мне.

Я уставился на нее. Чёрт, у всех теперь нервы никуда. Раньше Берта на меня не кричала. На Сережку они орали, били даже, а меня — ни разу.

— Читай, — повторила она. — Читай! Куда, ты думаешь, уехал Иван?

— На какое-то строительство, — сказал я машинально.

— Строительство?! Строительство! — перераздразнила Берта. — Вы тут в Москве, как кроты живете. Мы в Новосибирске неделю на вокзале спали. Ты что, не знаешь, что будет война с Японией? На, читай!

Я взял письмо, как похоронку. Руки у меня дрожали.

«Здравствуй, брат, и здравствуй, Гармата!» — начиналось оно. Так отец дразнил тетку по-украински в честь крупновской «Длинной Берты».

Почерк был медленный. Наверно, я долго обнимался с Риткой, и отцу некуда было торопиться.

«Вы себе не представляете, как ваш грешный родственник рад вашему появлению в стенах столицы. Можете его поздравить: на старости лет он стал не только двоеженцем, но и многодетным отцом. Довожу до вашего сведения, что 11 июля сего года у Б. и Ф. Коромысловых родился племянник Георгий. Имя дано в честь победы над заклятым фашизмом. Его и его родительницу я в целости и

сохранности доставил в город Харьков. Но, как говорит мой единоутробный брат, магистр преферанса Федор Сергеевич: еще не вечер!

Гапа улетела в Берлин и, по-видимому, будет рожать. Во всяком случае, она информировала меня об этом — письменно. В Москве я ее уже не застал.

Никаких окончательных решений со стороны вашего грешного родственника еще не принято. Прежде всего, ему предстоит окончить большую работу, которую он с разной долей успеха и по силе своих возможностей выполняет вот уже четыре года. Для завершения данного дела он как раз сегодня во втором часу ночи отбывает в известном ему направлении. Так что некоторая отсрочка до вынесения окончательного вердикта у подзащитного имеется.

В свете вышеизложенного ваш переезд в Дн-ск приобретает особый смысл. Я понимаю, что мой оболтус далеко не подарок. Но все-таки было бы для меня — а уж какая я свинья, — это тебе, Гармата, и тебе, брат, — объяснять излишне: но все-таки, повторяю, лучше было бы для меня, если бы мой оболтус вернулся в лоно вашей семьи. Гапе, сами понимаете, сейчас не до него. В конце концов, если дело только в учебе, то учиться можно и в моей альма-матер. Отец оболтуса (не касаясь моральных качеств!) вполне приличный инженер, что могут засвидетельствовать некоторые немецкие саперные чины, как попавшие в плен, так и бежавшие на запад!» (Все-таки бахвал был мой родитель!)

«По-видимому, придется приложить немало усилий, чтобы убедить отпрыска покинуть Бело-

каменную. Это уже не тот заморыш в испанке, который с радостью замерзал на днепропетровском вокзале, ожидая из Москвы своего заблудшего отца. Теперь этот недоросль дорвался до столицы — и не знаю, достанет ли у тебя, Гармата, сил объяснить ему, что местожительство — дело десятое... Во всяком случае, уже половина двенадцатого, а его нет, и я пишу данное письмо в обществе его приятеля, будущего летчика с кучей золота на неокрепших плечах. Отпрыск, по-видимому, где-то пьянствует. В последнем убеждает меня обнаруженная бутылка водки, на две трети пустая. Что ж, после Гапиной экономии реакция младенца вполне естественна, но я бы все-таки предпочел, чтобы он обратил свои алчущие взоры хотя бы на дорогостоящее мороженое.

К этому письму прилагаются семь тысяч рублей, и в случае переезда оболтуса в Дн-ск, туда надо будет перевести аттестат. Надеюсь, что это не самое хлопотное дело. В смысле же самого переезда, я уповаю на то, что вам посчастливится задержаться в Москве недели на четыре, пока он сдаст свои экзамены.

Еще раз, ради Бога, извините меня. Такой уж я незадачливый, но все мое — ваше. К сожалению, всю жизнь делю с вами исключительно свои заботы.

Оболтуса все еще нет. Как бы вообще не заночевал у какой-нибудь средnedоступной девицы. Летный старшина не знает, чем себя занять, и копошится в кухоньке. Очень трудно сосредоточиться, когда кто-то рядом, особенно, если этот кто-то — посторонний и каждым своим шорохом выдает эту свою посторонность, непричастность к тебе и

одновременно собственную неловкость. Чувствую, мой оболтус готов превратить данную конюшню в постоялый двор. Правда, наличие старшины обуславливает отсутствие другого, более ненадежного пола. Или нынешняя молодежь осваивает в этой науке бригадный метод? Кто их знает? Я уже себя чувствую глубоким и незадачливым стариком.

Да, тут оставляю чемодан со своим штатским барахлом: костюм и три рубахи. Костюм довольно приличный, сшит у будапештского портного. Если Федору подойдет — милости прошу, даже настаиваю. А оболтусу не слишком давайте занасивать. И вообще пусть не очень рассчитывает на распрекрасную жизнь. Дел будет по горло. Жив останусь — придется засучивать рукава. Разрушено и сожжено — сказать страшно. Весь запад — почти одни печные трубы. В случае переезда суньте Валерку в Строительный. Эта специальность сейчас самая, в конечном счете, важная.

Крепко вас обнимаю, мои дорогие

Ваш Иван

P. S. Хорошо, если поезд придет вовремя. Дело в том, что у Гапы умер зять и завтра, т. е. уже сегодня — похороны. В крайнем случае вас встретит старшина. Я его уже попросил об этом. Да вы его помните! Это Гришка Выстрел. Такой был на моей памяти отличник. Сейчас он несколько подрос. По-моему, вполне симпатичный паренек. А оболтуса — все нет.

Еще раз обнимаю вас и многократно запечатываю письмо сургучом.

Ваня»

В этих электричках с Казанского, особенно на перегоне до Новых Домов — народу тьма-тьмущая! А тут еще было воскресенье. И хоть сто футбольных игр назначай, на Казанке бы не рассосалось.

Духота стояла, вагон был грязный, запылён углем, — прислониться некуда. Теперь я точно знал, что отец не вернется. Он попал в такой переплет — и эта война с Японией ему, как запасной выход. Теперь он постарается на ней навсегда остаться. Потому меня сплавливал в Днепропетровск. Всю войну я почти за него не волновался. Он писал, что от фронта находится далеко (это при его-то гордости!). И его вправду ни разу не ранили. Он и в госпитале лежал не из-за мины или пули, а из-за мышинного тифа. У него под Сталинградом ноги стали опухать, чуть их совсем не отпилили. Спасибо, врачи были хорошие, кровь два дня перекачивали. Но теперь он наверняка попадет. Как снег на голову — эта самурайская война. Помоему, отцу жить не хотелось. И письмо тоже с хохмами висельника.

Неловко реветь в этой духотище и толкотне. Настроение как раз для похорон. Чёрт — ни сном, ни духом не слышал про япошек. Пропускал в газетах столбцы с заголовками «Военные действия на Тихом океане». Посторонняя это была война. Пусть там американцы копаются. Я, по правде говоря, даже радовался, когда их самураи чехвостили. Союзники союзниками, а пусть тоже хлебнут. Но теперь это будет наша война. Теперь уж точно осенью меня призовут. И я не буду прятаться за всякую бронь-отсрочку, какую дают в нашем бо-

госпасаемом институте. Просто лень будет прятаться. Как неохота была самому вызываться, лезть раньше времени в военкомат, так же совести не хватит бронироваться. Себя-то я уж знал! Но как Ритка — с ее информацией! — ничего про Японию не рассказала? А, впрочем, что ей? Отец у нее без ноги, а самой — не призываться... Наверно, плохо с азиатами воевать. Еще похуже, чем с немцами. Правда, япошек всегда били. Их били, а до них — еще белокитайцев.

Мне вдруг экзамены сдавать совсем расхотелось. Ну его, этот Днепропетровск. Теперь я на трассу вышел! Теперь меня самого повезут. Со мной все в порядке. Вот с отцом худо. Неужели он сдуру всюду соваться начнет?! Вот какого страху нагнали на него пеленки! Но я сам не рвался их полоскать. В нашей конюшне да с ребенком! У нас зимой вода в ведре замерзает. Комната тремя стенами на улицу. Та стена, возле которой сплю, и летом как в погребе. Только ребенка здесь не хватало! Я вдруг чуть не задохнулся от жалости к матери. Если меня призовут, ей конец. Но, может, все образуется. Женщины — они какие-то двухильные. Да и мужики тоже. До войны скажи, что Сережку убьют, а Берта с Федором при двух чемоданах станут по стране кочевать — кто поверил бы?

Взмокший, как после санпропускника, я вытолкнулся у Новых Домов. Трамваи, понятно, были переполнены, и пока я доехал до этой собачьей церкви, был уже третий час.

Народу в храме стояло немного. Все со свечками. Я остановился между дверьми отдышаться.

Поп в глубине церкви бормотал что-то непонятное. Наверно, по-старославянски или мне не было слышно. Храм был старый, сырой и облезлый, но это как-то его не портило. Величественности даже прибавляло. А вообще — не люблю церквей. От ладана меня просто рвет. Даже у нас рядом — на Ваганькове — и то в церковь не захожу. Но тут было ничего. Если отвлечься, что Бог и попы — полная мура, то на этих похоронах было не хуже, чем на любых других. Даже лучше. Я как-то сидел прошлый год на Ваганьковском недалеко от есенинской могилы. Читал «Пармскую обитель». А на соседней аллее кого-то хоронили. Народу было с гулькин нос. Венков тоже не густо. Так вот там один тип нацепил на нос очки, достал из пиджака бумажку и стал читать:

— Траурный митинг, посвященный товарищу Бойченко, объявляю открытым. Слово предоставляется заместителю председателя профгруппы... — Анекдот, честное слово! Тут гроб открытый, а этот чудак по бумаге шпарит. Он-то и был заместителем председателя. Поп хоть наизусть все знает, а этот по бумаге, да еще ударения путает:

— Товарищ Бойченко Игорь Платонович пришел в нашу организацию недавно, но сразу включился в производственный процесс и... принципиально, можно сказать, смело, самоотверженно, а также с открытой душой, по-стахановски, подошел к выполнению... и так далее.

Мертвый лежит, а этот над ним толкает речугу, потом складывает вчетверо лист, прячет в карман (для отчетности, что ли?!), снимает очки и мычит:

— Траурный митинг объявляю закрытым. Родные и близкие могут попрощаться с покойным.

Ей-Богу, вспомнишь про такого олуха, умирать не захочешь...

Поп чего-то бубнил. И второй монах или дяк — я их не разбираю — кадилом махал. Тут хоть какой-то был порядок, никакой самодеятельности, отсебятины. Раз человек умер, поют что положено.

Я пригляделся к попу. Это был позавчерашний, синий. А гроба от дверей не было видно, его заслоняли спины старух.

И вдруг я сообразил, что попал не туда. Ни Александры Алексеевны, ни Климки — никаких знакомых не было. Хоронили кого-то другого. Просто я опоздал. И спросить неловко — отвлекать неудобно. Они все тут крестились и держали ёлочные свечи. Я вылез из обшарпанного храма. На кладбище почти не па́рило. Деревьев росло много. Погост был запущенный. По сравнению с ним Ваганьковский выглядел как бульвар. Вообще на кладбищах хорошо, тихо. Не надо только думать, что под ногами лежат мертвецы и разлагаются. Тогда все в порядке. Сиди себе, книги читай, просто отдыхай от суетни. Но сейчас мне не до того было. На футбол не поехал, сюда опоздал. Тоже гусь лапчатый.

— Мамаша, — спросил я нищенку у дверей. (Ну, и страшна она была!) — Тут гроб сейчас не выносили?

— Милый, их много выносят. Какой тебе?

— Это старика, что ли? — спросила другая, помоложе.

— Ага! — обрадовался я.

— Которого? Нефедова? — спросила старая.

— Нефедова, Нефедова! — закивал я.

— Вон туда иди, — протянула она свой костыль. Ей-Богу, была как баба-яга. — Беги, сынок. Туда и владыка пошел.

Я поспел. Гроб еще не заколачивали. Вокруг могилы сбилось человек двадцать, не больше, почти все незнакомы. Позавчерашний бордовый старикашка чего-то говорил. Я тихо стал за спиной тетки Александры. Она согнулась над гробом, гладила дядькины волосы, бороду, руки. Тут же рядом лежали цветы. Венков не было. Наверно, не успели заказать или привезти из Воронцовского имения. Вообще оттуда никого не было. Даже Козлова.

Егор Никитич лежал как живой. Совсем как позавчера за столом. Только глаза у него были закрыты. Смерть мало чего успела с ним сделать. Да и ночью в церкви, наверно, холодно было.

Тетка Александра полулежала на гробе. Рядом Климка тяжело вздыхал и сморкался. Холостяк Леон стоял, подняв ворот своего дождевика. Его словно знобило. Козлова нигде не было. Бордовый старикашка чего-то пел. По-моему, кроме кладбищенских старух, его никто не слушал. Вдруг пение кончилось. Я этот миг плохо запомнил. Но что-то на кладбище произошло, что-то случилось и владыка сказал обыкновенным голосом:

— Правда, он не всегда соблюдал наши заповеди...

Тетка Александра вздрогнула и выпрямилась у гроба. Я понял, что владыка намекает на троеженство — у староверов можно только два раза.

— Он допустил большой грех, — сказал владыка. — Но об этом грехе всю жизнь сожалел и каялся.

Голос у старикашки опять стал сладенький, но вокруг стало тихо. Второй поп, совсем седой, — с него песок сыпался, — махал кадиллом, но было тихо. Один Климка сопел. Он был глухой и не слышал, какая вокруг могилы стояла тишина.

Тут Леон, он был в наглухо застегнутом плаще, закашлялся, и тетка Александра упала на гроб. Она рыдала, прижавшись к рукам Егора Никитича. Я стоял сзади и боялся к ней притронуться.

— Ве-ечная па-мя-ять! — пропел владыка.

— Проститесь, — сказала тетка Александра, пропуская нас к гробу. Склонился Климка, потом Леон Яковлевич. Потом я поцеловал старика между усами и бородой. Губы, как позавчера, были синие, совсем ледяные, а усы, мне почудилось, пахли водкой.

Два рослых парня в замазанных глиной рубашках подняли крышку гроба.

— Уберите цветы, — зашипели старухи.

— Нельзя живые цветы в гроб!.. Гнить начнут...

Старухи тут все знали. А я хорош... Ритке букеты дарил, а на похороны прибежал без цветов. И Берту без них встретил. Бревно бесчувственное.

Цветы убрали. Гроб забили и опустили на веревках в яму. И тут по нему загрохала земля. Гулко. Как будто в нем никого не было, будто он пустой. Было похоже на близкую бомбежку. Я вздрагивал, казалось, меня лупило по ушам и грудной клетке.

Мы все пошли к трамваю. С владыкой никто не попрощался. Я почему-то решил, что будет похоронный автобус и хоть успею ко второму тайму. Но никого с дядькиной работы не было, а автобуса и вовсе быть не могло. Ведь дядьку привезли еще вчера. Он ночевал в церкви.

Жара стояла смертельная. Тетка Александра шла одна впереди нас в темном шевиотовом жакете и черной косынке, а я стянул с себя безрукавку и обмахивался, как платком. Климка тоже весь вспотел. Он был толстый, прихрамывал и задыхался. А холостяка Леона жара не брала. Он даже плаща не расстегнул.

— Да, владыка!.. — сказал я не очень громко.

Климка не расслышал. Он, наверно, и на кладбище ничего не слышал.

— Жеребьячье племя, — ответил Леон, горбясь в своем дождевике. — Такие же стопроцентные идиоты.

Тетка обернулась, но ничего не сказала.

— А где Козлов? — спросил я.

Тетка Александра снова обернулась.

— Козлов где? — гаркнул я в ухо Климке.

Он усмехнулся. Наверно, оттого, что расслышал. У глухих такая привычка.

— Нет твоего Козлова, — сказал он. — Спекся Павел Ильич.

— Климентий! — крикнула тетка.

Но он ее не слышал.

— Нет Козлова. Увезли Павла Ильича.

Теперь Климку понесло. Он бурчал, как отвернутый кран, когда снова включают воду.

— В тюрьме теперь Козлов, — сказал Климка.

Так вот оно что! Вот почему ревела рябая Светка. И я сам заревел. Ничего не смог с собой поделаться. Вдруг меня прррвало. Шел и безрукавкой слезы по морде размазывал. А на полкорпуса впереди меня Климка пел:

— Меня Александра к нему послала. За ней легковую прислали. Иду по переулку, дохожу до улицы Мархлевского и вижу: трое товарищей Павла Ильича под руки из подъезда выводят и усаживают в «ЗИС 101» с занавесочками. Я чуть-чуть на них не наткнулся. Повезло! А то бы затащали по прокурорам.

— Ты везучий, — разозлился я и даже всхлипывать перестал.

Так вот отчего тетка Александра утром примчалась!.. Боялась, чтобы и меня в свидетели не взяли и чего-нибудь на Козлова не ляпнул. А я, дурень, не понял.

— Слишком язык распускал Павел Ильич, — сказал Климка. — Дядя Егор сколько его уговаривал...

— Да замолчи ты, Климентий, — закричала тетка.

На этот раз Климка расслышал и опять улыбнулся.

24

Первым делом я решил бросить курсы. Больно надо. Учи-зубри, а потом к тебе ночью на рассвете придут и физкультпривет!

Я стоял на площадке трамвая — он вез нас до метро Сталинская, — а эти подготовительные курсы были уже от меня за тридевять земель, совсем

не в этой жизни. Никого видеть не хотелось. Тетка с Климкой сидела в вагоне, а я качался на площадке и думал вообще все бросить и уйти в военное училище. Куда-нибудь в горно-артиллерийское, на край света, где одни нерусские. Чтоб можно было травить чего хочешь — не сообщат. Мне сейчас даже Ритку видеть не хотелось. Жить бы где-нибудь в ауле, как Печорин, пить водку, ходить на охоту — и ну их всех к едреной бабушке! Пусть только отец жив останется. Я ему письма писать буду. И мать, если хочет, пусть с ребенком приезжает. Мы ему какую-нибудь няньку подыщем.

Интересно будет поглядеть на своих братьев. Никогда их у меня не было. А может, второй — будет девчонкой. Девчонка тоже ничего. Дожить бы в том ауле до полсотни лет и выйти в отставку.

Правда, Козлов врал, что в этих аулах уже никаких националов нет. Ну, а вдруг остались. Я бы не стал влюбляться в тамошних девок, как Печорин или толстовский Оленин. Охотился бы и пил. Там водка крепкая, чачей называется. Хорошо бы влезть в поезд, доехать до Армавира, а там, как Лермонтов, махнуть рукой:

— Мол, прощай...

Никого видеть не хотелось. Я даже в метро на платформе зазевался и только махнул рукой тетке с Климкой, когда двери за ними закрылись. И к Берте ехать не хотелось.

Да, Павел Ильич... Вот что позавчера сверлило мне башку: Козлова нормальным признали. Позиция на мат в один ход. А проглядел... Ну, теперь — всё! Теперь ему жизни дадут. Куда-нибудь по почкам... Его обязательно будут. Он ведь псих — такого накричит! Я прямо из вагона метро, как ясно-

видящий, смотрел, что делают с Козловым. Он без сапог, в рубаше и галифе, а из-под брюк завязочки кальсонные высовываются. Дурень... Ведь он контуженный. Ему б разбежаться и — разз! — шмякнуться об стену головой. Небось, железобетонные, как в бомбоубежище.

Там, наверно, жизни дают, не приведи Господи. Я знаю одного. Три лычки на погоне носит. Он сосед Вячиных, иногда в увольнение пускают. Хвастается, что служит в кремлевской охране. А по-моему, вранье. По-моему, он не товарища Сталина сторожит, а как раз там ошивается, куда Павла Ильича повезли. Сапоги у этого типа с подковками, а ручищи, как гири. А злой и нервный — передать невозможно. Однажды начал мне заливать, как вождей видит чуть ли не каждый день. Я в лицо ему хохотал — врешь. Так у этого охранника шея, как нарыв, вздулась. Так и хотелось компресс к ней приложить. Конец Козлову, если к такому попадетя. Самое лучшее — сразу головой об стену.

Я влез за Смоленским метро в трамвай и вдруг заметил, что безрукавки нет. Наверно, оставил в метрошке. Жалко, хорошая, двусторонняя была. Только, ну их, все эти свитера и прочее тряпье. В камере все равно отберут.

Значит, тетка Александра боялась, что я могу по идиотству чего-нибудь на Козлова наговорить. Сразу нас двоих берегла. Меня — от позора, а его — от лишнего рока.

А чего он собственно сделал? Ну, молол языком. Так ведь от этого никто не умирает и здания не падают. Собака лает — ветер носит. Но человек — он — не собака. Потому, наверно, язык не

распускает. Страху у него больше. Молчит в тряпочку. Понимает: конституция — одно, а жизнь — другое.

Интересно, где теперь Павел Ильич? На площади Дзержинского? Бывает у них там воскресенье? Может, они ради футбольного матча перерыв устроили? Сегодня ихнее «Динамо» с ЦДКА рубится. Следователи, наверно, на Северной трибуне сидят, а охрана слушает репортаж.

— Какой счет — не знаешь? — спросил я какого-то малявку на тормозной площадке.

— Три-ноль недавно было.

— Бобёр забил?

— Какой Бобёр? Бобру не светит. Кавалерия забила, Соловей кривоногий. «Динамо» ведет.

Да, кранты Павлу Ильичу. Если только из-за своей победы энкаведешники не подobreют. Я любил их дразнить, когда «Динамо» мазало. Прошлый год оно с кубка сразу съехало. А в этом — идет, как бог. Даже армейцев обошло. Везет ему! Сила на его стороне.

Ничем не спасешь Козлова. Да, он сам нарвался, сам на себя заявления вслух писал. Наверно, у него охота жить кончилась. Он, как мотор, который в разнос пущен, прямо на глазах силовая обмотка дымилась.

Обыск, наверно, был. А чего обыскивать? Стены голые. Он же оружия не держал. Листовок не печатал. На словах всё брехал. Теперь сиди в мокром подвале.

Хорошо, если еще там не будет крыс. Козлова наверняка в карцер сунут. Это у них в две минуты схлопочет. А в карцере, говорят, окон нет. Как в склепе.

...Надо было ехать к Федору и Берте и не было никакой охоты. Что им до Козлова? Какое кому дело до Козлова? Только мне одному. И чего он, дурень проклятый, влез в мою жизнь? Я его звал, что ли?..

— Читай, Валерка, Достоевского, — советовал. — «Бесы» прочти.

А что? И впрямь пойти прочесть «Бесов». Хотя бы остыну. В читалке не жарко. И не стоит к родственникам заявляться таким расстроенным и взмокшим.

В Гоголевке было прохладно и тихо, хоть сидело, несмотря на воскресенье, десятка три зубрил. Наверно, в институт готовились. Женщина на выдаче меня знала и не удивилась, что спросил «Бесов». Она уже несколько раз прошлую зиму со мной говорила о книгах. Была довольно симпатичная, еще не старая. Видно, когда-то жила получше. Хотя все когда-то жили лучше. Воспитанная была. Лишних вопросов не задавала, руки двигались у нее плавно. На такую самый рас-самый хам-начальник кричать бы не посмел. А закричал — она бы ответила, твердо и негрубо. Заткнулся бы еще почище, чем после материцыны.

Она принесла мне тот самый красный растрепанный том, который я полтора года назад перелистывал. Лицо у нее было понимающее. Словно знала, зачем беру.

Я забился в самый угол и стал читать. Читаю быстро. Семьдесят страниц в час — это у меня без спешки. Могу и больше. Но сейчас я не торопился. Отойти немного хотелось и хотя бы чуток понять. Начало пролистнул. Кое-что помнил. А потом меня

потацил роман и я стал читать быстро, с захватом, страницы, как в поддавках шашки, поедал. Все вроде помнил, но сейчас выходило по-новому. Раньше я того яду не ощущал. Или книгу тогда держал вверх ногами, или вообще тупым был.

— Вот ты где, без рук, без ног! — гаркнуло мне в ухо. — Вот ты где, на бабу скок! — дыхнул в него Генка Вячин.

Вроде и подкрадываться неоткуда, а я не заметил. Раззява несчастный! Мало того, что безрукавку посеял, — слепым стал! Прирежут меня и даже не узнаю — кто.

— Ты чего здесь прячешься? — зашипел Генка, да так, что все эти ханурики-абитуриенты шеи вывернули. — Дома какой-то летный хмырь врет, что ты на похоронах. Я всё Ваганьково обегал — нигде тебя нету.

— Я на старообрядческом хоронил...

— А где такое? Это что — еврейское?

— Дурень, какое еврейское? Это для староверов.

— Ну, и хрен с ним. Не еврейское — не надо. Ты чего читаешь? «Бесы»? Это что — по программе? Какая-нибудь дребедень старая. Смотри ты, Скок, серьезным стал. А ну сдавай этих «Бесов» к чертям собачьим! У нас сабантуй будет! Батя с войны вернулся.

— Врешь! — выдохнул я.

Хороший парень Генка Вячин. Скис бы я без него с этими Шатовыми, Кирилловыми и красавцами, что на кривобоких женятся.

— Айда, Вячка! — говорю.

На углу Малой-Грузинской мы отоварили мой четвертый талон и даже не пригубив, а уже на

взводе, ввалились в Генкину комнату, всю прибранную, с застеленным столом, с трофеями на стене: барометром и старыми пистолетами. Под ними сидел седенький старикан не то в зипуне, не то в пижаме, а может быть, в венгерке, короче, в одежке, на которой были нашиты красные лоскуты. Она напоминала красноармейскую форму, какую еще Фрунзе носил. Видно, тоже была трофейная.

— Здравсьте, Петр Васильич! — разлетелся я и чуть с ним не поцеловался. — Поздравляю вас, Клавдия Карповна!

— Это Валера? — спросил старикан. — Слышал, слышал. Гена за тобой бегал. Нашел, значит?

Улыбка у него была приятная, вежливая, совсем не военная, хотя он еще до первой войны был штабс-капитаном.

— Ну, как жизнь, молодежь? — спросил с бодрячинкой.

— Ничего, — сказал я.

— К аттестату зрелости готовится, — обнял меня Генка. — Достоевского в читалке изучал.

— Валера очень серьезный мальчик, — сказала Генкина мать.

— Значит, опять Федора Михайловича признали, — улыбнулся старик. — Одно время его вовсе исключили. Я, признаться, не поклонник. Вот Тургенева Ивана Сергеевича или Чехова Антона Павловича — этих пожалуйста! Этих — хоть каждую неделю по часу на ночь. А Достоевского — тяжеленько. Конечно, жизнь у него была особенная. Его, Клава, чуть не казнили, на эшафоте помиловали.

— Господи, — вздохнула Генкина мать, но больше из приличия.

— Но читать не могу. Тяжко, — добавил Петр Васильевич. — После революции, врать не буду, не раскрывал. Вот не думал, что его в программу вернут. Значит, на аттестат зрелости сдаете? Хорошее дело. А мой с техникумом связался. Бросай ты, Геня, этот техникум, сдавай на зрелость и вперед широкой дорогой!..

Старик — теперь я заметил — уже успел хлебнуть. Генка был красный, стеснялся родителя, но пока помалкивал.

Гости, а точнее — родичи, что набивались в комнату — были двух мастей: отцовские — интеллигенция и материнские — Трехгорка. Генкина тетка, врачаха Лидия, долго обнимала брата, целовалась с ним и плакала. Только и слышалось:

— Вова... Леня... Вовочка... Леня...

Леня был ее мужем, майором медслужбы. В сорок третьем году осенью он вдруг ни с того, ни с сего застрелился на дежурстве в харьковском госпитале. Их мальчишке даже пенсии не положили. А Вова — это Генкин брат, который считается пропавшим без вести.

Петр Васильевич гладил сестру по голове и у самого тоже текли слезы. Вдруг я заметил, что он похож на Козлова, только старше, как-то помягче, домашнее. Но все равно мне не по себе стало. Вот так теперь всюду-всюду натыкайся на Павла Ильича...

Брат Генкиного отца, Веньямин, был худой, изможденный инженер-химик, на две головы выше подполковника, а супруга у него была, видно, из бывших красавиц, располневшая, крашенная (небось, перекисью водорода). Было ясно, что муж у нее под туфлей и что она его родней гребует.

Трехгорка — та была попроще. Женщины целовались громко, а мужиков было только двое, один молодой, мастер прядильного цеха, он от фронта имел броню, а второй с перчаткой вместо руки и с повязкой на глазу — бывший сапожник Семен. Теперь он промышлял на Тишинке.

— Привет, борона, — кивнул мне, потом хлопнул Генкиного родителя здоровой рукой и сказал:

— Молодец, Петя, что жив остался. Будет у кого закусить и выпить.

— Скажешь тоже, — фыркнула его жена. — Горе с ним, Петр Васильич. Стакана теперь из руки не выпускает.

— Ну, повезло-поехало, — сказал ей Семен, точь-в-точь как Вячин — своей матери, но тут же улыбнулся:

— Что ж, приступим, товарищи. С возвращением полководца. Только борону, — он ткнул в меня протезом, — рядом не сажайте.

— Ты чего к человеку привязался? — вступилась Генкина мать.

— Молчи, Клаша, — сказал Семен, садясь первым за стол. Он уже вооружился вилкой и подхватил с краю кусок рыбехи. — Прошлый раз, Клаша, у меня чуть кишки не свело. Ты бы слышала, чего Валерка заливал про евреев.

Я покраснел. Чёрт дернул меня однажды напиться с этим спикулем. У меня была одна собственная мысль. Я ее сам долго выводил и вдруг спяну выложил этому дураку. И вот теперь он ее поганил. И я — тоже хорош! Ведь давно дал слово не говорить о евреях с инвалидами. Еще в Сибири зарекся. Мы как-то летом сидели с ребятами в библиотеке Дворца металлургов. Весь дворец пу-

стили под госпиталь, только библиотеку оставили. Ход в нее был через парк. Там паслись раненые. Один безногий, совсем еще пацан, поманил меня, когда мы домой шли, и костылем показал на моего кореша Мишку Израйлита:

— Ты чего с жидом ходишь?

Я молча ушел. Чего было делать? Этот раненый и с ногами был, видно, лядащенький. Я, пятнадцатилетний, ей-Богу, скovyрнул бы его одним пальцем. Но инвалидов уже поздно отучать от антисемитизма.

— Ты очекурел бы, Петя, — забавлялся Семен, набивая рот черняшкой. — Умников поразвелось. Такое скажут... Жидов, говорит, мы не любим оттого, что от немцев не уберегли. Стыдно, говорит, мол, нам, русским, что их спасти не могли. Из-за стыда их, порхачей, и ненавидим. А почему стыдно? Мне вот не стыдно! На, гляди, — он поднял правую руку и перекрестил ее у плеча протезом. Получилось неприлично. Только, по моему, не все заметили, а может, не поняли. Один Генка покраснел.

— Сам бы их спасал, если такой добрый, — надрывался Семен. — А то сидит, улыбается... — (Я улыбаться не думал! Не до улыбок было...) — Длинный, чёрт, целый...

— Чего к человеку пристал, — прикрикнула Генкина мать. — Ему и семнадцати нет.

— Нет!? Скажешь — нет! А если нет, то пусть закроет варежку и не улыбится.

— Охолопись, — сказал Петр Васильевич. Он сидел наискосок и я видел, что ему не по себе. Человек устал, хотел дома отдохнуть, как победи-

тель, выпить, получить уважение, а тут утрясай ссору. И либо родича обидишь, либо гостя.

— Хватит, — сказал он. — Ты, Семен, того... А ты, Валерий, его не слушай. Он, видать, ум пропивать начал. Теперь его не остановишь. Твое здоровье, Семен Игнатьевич, — он поднял рюмку. — Руку потерял, на голову налегай. А ты, я вижу, под горку поехал. Твое здоровье! — Потом глянул на меня и улыбнулся:

— А ты тоже опытный. А? Само льется? Я, Валерий, в твои годы даже чая в трактирах не спрашивал. Вот молодежь пошла!

Ничего был мужик. Генка вздорный, видно, в мамашу, а отец — был еще старого воспитания.

Стало дымно и шумновато. Уже пили по третьей и четвертой, и Семен совал мне свою рюмку чокаться.

Никто не поминал ни пленных, ни тюрьму, ни Японию. Больше надеялись: карточки отменят, пустят газ — (из Саратова ведут!). Не жизнь будет — мечта! Ни тебе дров, ни керосину... Пили, чтоб Генка техникум бросил, в институт пошел. Победа! Всё образуется, на место вернется. Никаких проводов, похоронок.

И вдруг мне обидно стало.

— Еще одна война будет! — брякнул я на весь стол.

— Окстись! — прошептала жена мастера цеха.

— Что ты, Валера! — испугалась Генкина мать.

— Будет, — сказал я. — Вчера мой отец туда уехал. На японский фронт.

— Не будет войны, — сказал мастер, хорохорясь.

— Помолчи, Яков. Не болтай, чего не знаешь, — сказал Петр Васильевич. — Отец со Второго украинского?

— Япония уже на последнем вздохе, — сказал его худой брат Веньямин. — Не беспокойтесь.

Его крашенная супруга гордо поправила кружева.

— Не волнуйтесь, молодой человек, — продолжал инженер-химик. — Американцы за япошек всерьез взялись. Если что и начнется с нашей стороны, так только к дележу поспеем.

— Тебе легко рассуждать, Веня, — уколола его Генкина мать.

— Веньямин, если сказал, знает, — ответила инженерша.

— С Хирохито личную беседу имели? — съязвил мастер цеха.

— Газеты читаю, молодой человек, — ответил инженер.

— Э, в газетах разве напишут, — сказал Семен. — Лучше выпьем!

— Не волнуйся, Валерий, — улыбнулся мне Петр Васильевич. — Это не война. Может, доехать не успеет родитель. Японцы — не немцы. Германию разбили, а этих уж как-нибудь. Они только для китайцев вояки.

Ух, верить хотелось! Не читал я никогда этих рубрик про Тихий океан. Даже сейчас, в библиотеке, не взял газетной подшивки. Козлов оттеснил отца в моей башке.

— Все будет хорошо, Валерий! — повторил Петр Васильевич. — Самураи — не немцы. Немцы — вот солдаты. Немцы сына у меня отняли. — Он уже порядком выпил.

— Эх, Геня, спой лучше. Что делать — нет Вовы. Нету! Спой, Геня, ту самую... Ты знаешь.

Генка обнял меня за плечи.

— Только не вой, Скок, — шепнул на ухо, а сам распустил губы, подпер кулаком щеку и начал:

Ты, с любовью слитая,
Пулями пробитая,
У костров сожженная
В холод и мятель...

Он особенно жал на «я» в «мятели». Я пошел вторым голосом, стараясь не наступать на концы строчек:

Временем потрепана,
Бережно заштопана,
С потемневшим воротом
Серая шинель.

От «временем потрепана» песня повторялась. Слезы она вышибала. И плевать было на все беды-неудачи. Я пел, как пил до этого, стараясь не жадничать, не торопиться и не запаздывать. Думал только о песне, все остальное отталкивал от себя, оттирал плечом.

Ты пропахла порохом,
Но ценю я дорого
Боевую спутницу
Фронтowych недель... —

пел Генка, а я завидовал Семену, который глядел на меня одним глазом с черной повязкой. Наверно, считал:

— Примазывается, браток.

А может, и не думал этого вовсе, а просто старался запомнить слова. Он хоть и спекулянтом стал, но песня ему тоже нравилась.

В ночь сырую, длинную
Служишь ты периною,
Согреваешь ласково,
Серая шинель.

На другом конце стола Генкин отец подпевал и еще женщины подтягивали. Инженерша сидела тихо и скромно. Мотив был простой. Очень похожий на «Вышел в степь донецкую парень молодой». Генка вел уже третий куплет, обнимая меня за плечо. Хорошая была песня и мы с ним одинаково ее понимали. Никакого в ней не было вранья. Никакого крику о героизме. Чего кричать? Героизм и без крику был. Иначе не сидеть нам тут за столом и петь... Только несколько слов в тексте мне не нравились, но я молчал, не говорил Генке. Он бы от злости разревелся и еще чего доброго драться полез.

Плотная, суконная,
Родиной даренная —

Тут Генка выжимал слова, как штангу. Как Атлант — небо держал.

Разве тебя могут взять
Пуля и шрапнель?
Против сердца воина
Не бывать пробоине...

Вот эта «пробоина» меня немного раздражала, но сейчас она прошла легко. Чёрт с ней. Может, когда тебя проткнут пулей, рана пробоиной пока-

жется. И еще мне не нравилась «шрапнель». В эту войну, вроде, шрапнели не употребляли. А в общем — чёрт с ними. Не в них дело.

Грудь укроет с орденом
Серая шинель...

Уже все подпевали, и подполковник, и Семен-сапожник, и мастер цеха (не стесняясь, что не воевал). Все, кроме инженера, который болел язвой. Подполковник пел и не задавался, что ему всего шаг до каракулевой папахи, а сапожник плевал, что свояк высоко поднялся, с генералами вась-вась. Война на всех была одна. Все ее вместе сработали. Никто не считал себя хуже другого. При этой песне чины не имели значения...

Теперь начиналось самое главное. Самое — ради чего тянули три куплета и половину каждого повторяли по два раза:

Вот приду с победою,
Выпью-пообедаю,
Мать постелит мягкую,
Чистую постель.

У всех в глазах стояли слезы. Меня и трезвого, когда пел, прошибало, а теперь, с такой прибавкой — говорить нечего... Я снова подумал об отце:

В светлый угол горницы
Со слезами гордости
Мать повесит спутницу —
Серую шинель.

Вот была песня!

Человек с войны вернулся. Живым. Мы чок-

нулись еще. Я уже не был тут чужим. Уходить не хотелось. Вот чего умела песня. (С водкой на пару!) Победа! Жизнь. И нечего раньше времени руки поднимать!

Эх, пить будем,
Гулять будем,
А смерть придет —
Помирать будем.

И правильно. Это только Козлов до времени сдавался. Да и то не во всем. Светку все-таки обнимал. Что смерть, что тюрьма — одно и то же, а до них пожить можно. Пить, закусывать, улыбаться через стол Генкиному отцу и обнимать Генку, как брата.

Вот чего может песня. И никогда не узнаем, кто ее написал. Ясно, не писатель. Наверно, простой парень, чудака какой-нибудь. Лейтенант или солдат с десятилеткой. Может, его уже давно в живых нет. А здорово было, если б он выжил и сейчас сюда вошел. Мы бы с Генкой еще в магазин сбегали.

25

Она, как душ, была, всего отмывала — эта «Серая шинель». Наверно, потому нравилась Семену. Она всех отмывала. Только не меня. Я был гадом. Так сказала Светка. Песня кончилась и над салатом, над папиросным дымом, над разговорами — бабскими — гу-гу-гу — и над мужской хмельятиной прямо так и висело:

— Гад! Гад! Гад!

Заплаканная Светкина безбровая морда выворачивалась:

— Гад... Страшный человек...

— Пойду, — шепнул я Генке.

— Сиди, Скок, — придавил он мне плечо.

— Пойду, — застонал ему в ухо. — Мне хреново. Потом объясню.

Я выскочил от них, как обваренный.

— Гад! Гад! — несло за мной.

Внизу была пивная. Я глотнул, не закусывая, сто пятьдесят.

— Гад! — плескалось в стакане.

Теперь знал точно, что поеду. Пьян был — не передать. На полном ходу вскочил в трамвай — он с горы неся.

— Очумелый! — крикнула кондукторша, она стояла на площадке у тормозного колеса.

— Жизни не жалко! — сказал кто-то из вагона.

— Гад! — услышал я.

А стань на Светкино место? Вдруг, за полсутка, впервые заявляется Коромыслов, словно проверяет. Все равно как наводчик. Или хуже! Вроде таких вежливых граждан, на которых сразу и не подумаешь. Мать рассказывала: у них на службе одной тетеньке предлагали такую должность. Она в техническом архиве работала. Образования у нее не было, только гимназия, кроме того, ее муж репрессирован был. Ей намекали, что если не согласится, ее понизят. Литер отберут. Эта Ксения Дмитриевна, очень симпатичная и воспитанная женщина, все советовалась с матерью, как отбояриться. Думаю, ей удалось, иначе б она ушла. Все-таки она интеллигентная...

То ли трамвай трясло, то ли тряслась моя голова. Еле доехал до Трубной. Уже стемнело. И

снова, хоть от водки пошатывало, все равно одиночество было зверским. Я полез в автоматную будку.

— Где ты был? — кричала Марго. — На футболе?!

— Каком футболе!.. У меня столько всего...

— Не кричи. Я не глухая.

— Да я не кричу.

— Где ты был!? Я целый день дома сижу. На дачу не поехала.

— На похоронах, я же говорил... Я с Трубной звоню. Мне к Поляковой надо. Подъезжай туда.

— Очень надо! А ты чего там потерял? Она тебя терпеть не может.

— Это ошибка. Она перепутала.

— Не ори так!

— Подъезжай...

— Очень надо! Я там ничего не забыла.

— Вы ж подруги.

— Не ори! Подруги? Скажешь! У меня таких подруг три ряда до Берлина. Я его целый день жду, а он к Светке... Дурак, она тебя гадом обозвала.

— Мне надо... Понимаешь... Она все перепутала. Я ей в пять минут объясню.

— Не тарахти так.

— Подъезжай... Или я потом позвоню.

— Так я тебя ждать буду!.. Привет.

И она кинула трубку.

Я помчался вверх по бульвару. Пьян был — вспоминать неохота. С утра не рубал, да и какая еда? Сухомять. А у Вячиных стеснялся налегать на закуску. Сейчас, когда бежал по Мархлевского,

на ногах держался только идеей доказать Светке, что просто случайно так сошлось...

Все, что дальше случилось, было словно не со мной. Это был кто-то другой, уже абсолютно чокнутый. Он поднялся по черному ходу. Забыл, что есть парадный, что Ритка вчера по нему поднималась, когда я ждал во дворе кирхи. На черной лестнице света не было. Только на четвертом этаже брезжила полоска: дверь из Светкиной кухни была приоткрыта, держалась на цепочке. Наверное, для сквозняка. Я забарабанил в нее отчаянно, как в поездной тамбур.

— Что тебе? — спросила Светка. Она вышла из козловского закутка и свету стало больше. (В кухне он не горел.) Она была в том же позавчерашнем халате до пятки.

— Света, — крикнул я с лестницы. — Света, слушай... Я узнал... Ты ничего не поняла... Как Павел Ильич?..

— Ш-ш-ш! — зашипела она. — Смолкни, слышишь? Смолкни...

Лица ее я не видел, она собою свет загораживала. Но голос не был таким уж злым.

— Пусти, — заныл я. — Мне сказать тебе надо...

Она звякнула цепочкой.

— Зайди.

В козловской каморке горела лампа, накрытая самодельным колпаком. Она свисала с потолка и на метр не доставала до подушки. Все в комнате было, как вчера. Только жильца не было.

— Ну, — сказала Светка. Она была не злой, скорее безразличной. Она села на топчан. Из-под

разъехавшихся половин халата выглянули ноги без чулок.

— Что надо? — спросила.

— Ты меня гадом назвала.

— А тебе что? Нюхайся со своей Маргошкой.

Ну, как — лишил ее невинности или робеешь?

— Брось...

— Значит, робеешь. Чудак. Она только с виду такая. А на самом деле трусиха. Мамина дочка.

— Ври больше...

— А ты поверил!..

— Светка, зачем ты гадом назвала? Я не гад.

— Это ты Маргошке объясняй.

— Светка, это не я...

— Можешь не оправдываться. Здесь не милиция.

— Ну чтоб мне так жить... Чтоб отца убили... Хочешь, на колени стану!..

— Сиди, — сказала она уныло. — Я знаю, что не ты.

— Врешь!

— Не ты... Это он сам себя заложил.

Теперь я заметил, что она такая усталая и печальная, словно сто лет прожила и всех родных и знакомых перехоронила.

— Прости меня, Валерка, — сказала вдруг. — У меня просто настроение плохое было. Никого видеть не могла. А тут эта приперлась счастливая, с аттестатом. «Со мной Коромыслов, — говорит. — Вот сохнет! Прямо жаль мальчика!»

— Не сердись, — ответил я. У меня дурацкая манера всюду ляпать — «не сердись». Пустая фраза, никакого значения не имеет. Это, когда вол-

нуешься, все равно что сигарку свернуть. Но я некуращий. Только если спьяну затынусь.

— Ты не гад, — сказала Светка. — Просто ты разболтанный. — Она с неохотой подбирала слова. Такая была безразличная. — Ты выпил? — спросила без всякого интереса.

— Да. Боялся к тебе идти. Я думал, ты сексом меня считаешь.

— Да нет... — пожала она плечами. — Это я так. Настроение плохое было.

— Спасибо, — тронул я ее за плечо. Оно у нее было большое, но словно плохо надутое, как мяч, которым уже давно играют.

— Не жалей меня, — дернулась она. — Не жалей. Не смей жалеть. Ничего ты не понимаешь! Ты думаешь, я его любила. Тьфу! — любила! Психа такого любить. Одинокого психа. Да он доходил тут, в этой клетке. Мне его просто, как бабе, жалко было. Он тут, как младенец, развлекался. Тьфу!.. — и она разревелась. Смотреть на нее было страшно. Большая, ростом с Ритку, только вдвое шире, ревет и трясется.

— Брось, — погладил я ее по голове. Волосы были мягкие. Наверно, недавно их вымыла.

— Брось, — повторил. Светка плакала и тряслась, прямо как заливное на тарелке, когда его несет старуха.

— Не ругай Павла Ильича, — сказал я тихо. — Может, его сейчас там бьют.

— Замолчи! Молчи! Заткнись. Сейчас же заткнись! — заорала Светка, закрывая безбровое голое лицо рукавом халата. — Замолчи! Слышишь? Ничего не хочу знать. Не хочу. Нету его. Закопала.

Слышишь? Зарыла. Землей присыпала. Я его
з а б ы л а.

— Его при тебе взяли? — спросил я.

— Еще чего не хватало! Замолчи. Не трави
меня. Не трави, Валерка, — сказала тихо. И снова
затряслась. Я подошел к ней и обнял ее за
плечи. Она была совсем необъятная.

— Не жалея, — сказала. — Не ласться. Не
смей жалеть. Я же тебе противна. Знаю. Я сама
себе противна. Дура зареванная...

— Ты хорошая, — сказал я. Был пьяный, жа-
лел ее и ничего противного в ней не чуял. Ничего,
кроме чистого запаха стирального мыла. Надрался
здорово и еще у Вячиных курил. Теперь ничего,
кроме стирального мыла, не слышал. Наверно, нюх
отшибло.

— Нечего меня жалеть, — повторила она мед-
леннее, но руки моей не скинула. — Ох, Валерка.
Как я его забыть, дурака, хочу! Как помнить не
хочу! Вот так бы плюнула и растерла. — И она
шаркнула шлепанцем.

— Не надо, — прошептал я.

— Нет! Надо! Надо. Надо — вот как надо, —
она резанула себя ладонью по толстой шее. Лацкан
халата отвернулся.

— Не защищай его! — шептала она. — Не за-
щищай. Ничего ты не знаешь. И ничего понимать
не можешь. Это был страшный тип. Страшный.
Страхолюд несчастный. Да я плюнуть на него
хочу. Жениться на мне вздумал... Жениться... Так
я за него и пошла. Жених — тоже...

— Не ругай, — попросил я.

— А ты чего защищаешь? Чего? Что ты знал?
Ты моего Костю знал? Вот Костя мой, майор, —

это был человек! Это мужик был. Три недели жили, а когда приснится, холодная проснусь. А этот — тьфу. Собачья радость... Пожалела героя войны. А Костю — убили... — и она опять заплакала.

— Козлову тоже плохо, — шепнул я.

— А ты не защищай. Тоже защитник. Ты сосунок. Ты сосунок, Валерка.

— Не злись...

— А ты не защищай. Ты что ли будешь ему передачу носить? Да туда не принимают передачу. Защитник! Ты за два километра обойдешь тот дом. А за чужой счет жалеть каждый согласен. А я не собес. Не дом престарелых. Не Канатчикова дача. Я баба. Женщина. Понимаешь?

— Не злись, — повторил я.

— Я хочу его забыть, Валерка. Ой, как хочу! Вытравить. Вымыть из себя к чёртовой матери. Пусть из меня его выскребут. Не хочу его знать, не хочу. Давай его забудем. Давай, а? Или тебе слабó, Валерка?!

Она стала тяжело дышать, слезы катились по ее лицу, голому и ноздреватому, как бревно.

— Так он живой, — прошептал я.

— Живой! И я живая! И ты живой, Валерка! Давай его забудем. Давай сразу. Прямо сейчас! — и она сжала мою голову и сунула к себе за отвороты халата. Я был пьян. Никакого запаха, кроме все того же мыла, — не слышал.

— Ну, как, чувствуешь? — задыхалась Светка. — Чувствуешь? Я сама чувствую. Память? Плевала я на эту память. Давай двери закроем, — и она накинула крючок.

Я был такой пьяный, что не соображал. Ни-

чего у нее под халатом не было, — одно тело, большое, желтоватое, — еще не загорала. Но ведь я никогда голых женщин не видел. Спасало то, что был пьян. А то бы меня и на минуту не хватило. Но я был пьяный и усталый. Она вздымалась подо мной, как целый материк, а я все равно был пьяный. Может, если б это было с Марго, я бы протрезвел. Но даже сквозь эту пьянь чувствовал, какая мне Светка безразличная, жутко знакомая, почти уже надоевшая, как будний день, как работа на огороде под солнцем, когда пить хочется, а за водой идти далеко. И работать лень, и отдыхать тоже лень, и возишься, возишься, окучи-ваешь картошку, и работа идет, но как-то в полусне, на жаре, без всякой радости. Светка целовала меня, тормозила, нет, не кусала, но целовала, крепко, больно, изнывала:

— Валерка! Валерка!..

А я все еще был на взводе. Она тряслась, большая, огромная, жутко огромная, как белая рыба, только теплая, с этим запахом стирки, жутко обыкновенная — с огромным ртом и безбровым лицом. Я уже начинал трезветь, трезвел, головой трезвел, но сам по-прежнему был на взводе. Она вздымалась, а я все еще держался. Она не понимала, почему я такой. А я просто был пьяный.

И вдруг все во мне обрушилось, всё, — отец и его Япония и его сын в Харькове. Мать, ее Германия и то, что она скоро родит. Берта, Федор, которые ждут, ждут, ждут, — ждут меня и уже не на шутку тревожатся и Федор прикуривает одну «беломорину» от другой. И Ритка, которая, конечно, тоже ждет и выбегает в коридор на каждый телефонный звонок. Всё во мне вдруг рухнуло,

рухнуло, покатилося. Я стал словно таять, стал легким, легче легкого — и вот уже совсем невесомый, почти мертвый лежал на Светке, как на плоту, куда доплываешь, выбившись из сил. Светка была жутко огромная, необъятная в раскинутых полах халата.

Вдруг я заметил, что даже не снял сапог. И тогда зазвонили. Один раз, второй. Кто-то рвался в квартиру.

— Ложись рядом, — шепнула Светка.

Кто-то наярывал в звонок.

— Погаси свет, — приказала шепотом.

Я схватился за лампочку, — было, как включенный уют.

— Ну, и чёрт с ней, — сказала Светка. — Тебе плохо было?

Я промычал ей в плечо какую-то ложь. Я уже понял, что пропал, что мне конец. Но пока это чувство задвигал подальше, подальше, так далеко, что мне снова захотелось спрятаться в Светке, укрыться в Светке, потеряться в ней.

— Валерка? — удивилась она.

А мне хотелось в ней скрыться, чтоб не было меня, чтоб не нашли. Искали бы и не нашли. Я был все еще легкий, а она была огромная, рыхлая, с тем же запахом выстиранного белья и мыла. Сердце у меня стучало, било прямо по ребрам, никаких сил сдержать его не было — и в это время где-то далеко щелкнул замок, кто-то зашаркал по полу, а следом кто-то застучал каблуками. Сначала забарабанили в какую-то дальнюю дверь, а потом застучали каблуки — сердце у меня билось, билось, я еле успел привести себя в порядок, когда забарабанили в нашу. Властно, как наверно сту-

чали в нее позавчера ночью, когда брали Козлова. Я был все еще пьяный, но уже понял, что это Марго и, не взглянув на Светку, откинул крючок на дверях. И там действительно стояла Ритка.

— А-а-а! — завывала она, как сирена, стрельнула глазами по Светкиным голым коленям и кинулась прочь, а я за ней, по длинному коридору, где никогда не бывал. Но она уже дернула рычажок английского замка и вылетела на площадку.

— Рита! — схватил я ее за руку, но она вырвалась и правой неловко размахнулась мне по лицу.

— Вот тебе! Вот! Вот, гадина... — лупила она меня кулаком, но не очень больно или я боли не чувствовал. — Мало тебе вчера было?! Ах ты, жидовское молоко! Да, жидовское, жидовское! — заблестела она своими большими, навывкате, глазами и кинулась по лестнице вниз.

Я не побежал следом.

— Прости, Валерка, — сказала Полякова. Она тихо вышла из дверей.

— Ладно, — отмахнулся я. Мне теперь и вправду было все равно. Я стал совсем трезвый. Пьянь ушла, как боль из зубного дупла, когда туда затолкаешь аспирин.

— Мне не хотелось тебе плохого, — сказала Светка. — Я не думала, что у вас так.

— Ничего, — сказал я. Теперь мне уже было ясно, что делать.

— Мне совсем не хотелось тебе мешать, — сказала Светка. — Я не такая.

— Ничего, — снова сказал я.

Хмель кончился. Он словно высох, как пот на лице, под мышками и на лопатках. Я стоял обсо-

лютно трезвый. Всё было видно далеко вперед, как холодным осенним утром.

— Прощай, Света, — помахал я ей с нижней площадки.

26

Сержант, шофер опель-кадета, уперся и ни в какую не хотел везти. Я его не останавливал — он меня сам окликнул: не знал, как проехать. Вот тогда мне пришла идея доехать до дому, чтобы быстрее все кончить. Чтобы времени на передумать не осталось.

Я вытащил два червонца, а он не соглашался. Я добавил еще красную, а он стал ругаться, зачем соблазняю, у него времени нет. Мне было все равно. Я бы вообще все деньги отдал. На что они мне теперь.

— Ремень хоть застегни, — сказал сержант, распахивая дверцу. Оказывается, у меня конец ремня и пряжка порознь болтались.

— Спасибо, — сказал я, вытащил ремень из гольфов, свернул и сунул в карман.

— Напился? — спросил сержант.

Я кивнул. Некогда было с ним разговаривать. Я хотел дома все это сделать сразу, не раздумывая. Даже записок не писать, и теперь со всеми попрощался, кого помнил. А чего писать? Просить прощения у Козлова? Так он его не услышит! Да и как объяснить: не хотел, мол, со Светланкой... а получилось... Нечего было объяснять. Без того все ясно. Я попрощался с другими. Теперь знал, что не струшу. Ничего уж такого не осталось, ради чего стоило себя сохранять. Прятаться не для чего было, и бежать было некуда. Я ведь понимал —

от себя не спрячешься, да и всюду жизнь одна. Даже в ауле. Всюду одинаково, и если жить хочешь, сиди на месте. А мне уже не хотелось.

Голова работала четко, как спидометр. Каждый квартал, каждый дом отмечался. Вот Могэс, Лубянка (наверно, там Козлов), Лубянский пассаж, Центральные бани, Малый театр, Большой, СНК, Американское посольство, Университет, поворот на Герцена, Зоомузей, на той стороне — Консерватория. Никитские ворота. Дальше «кадет» набрал скорость — Зоопарк, аптека, Пресненская застава и половина нашей Ваганьковки. Старик сидел у проходной на лавочке. Что он, вечный, что ли?

— Ты, как граф, — сказал мне, когда я вылез из «опеля». Гришки не было. Наверное, опять пошел на розыски. Что ж, может и найдет. Я вскользь о нем подумал. Некогда было. А была бы вечность в запасе — сам бы пошел на поиски той вчерашней, что билет у меня просила. Не везет мне, вернее — не везло с настоящими девчонками. Ну и чёрт с ними. Уже некогда. Самое главное не думать о Берте, как она сюда прибежит и начнет рыдать надо мною, вспухшим и скособоченным. Мне показывали ту фотографию Есенина. Красивого мало. У меня, наверно, еще и язык вывалится.

Чёрт, куда запропастился этот ремень! Был еще один, старый. Им Сережкин дед пузо стягивал. Одного того ремня, что лежал в кармане, не хватало. Надо надеть на шею и еще к перекладине привязать. И хотя бы сантиметров сорок оставить для размаху.

Я вспомнил про отцовский костюм, но там в

брюках ремня не было. Болтались только подтяжки. В крайнем случае и они бы сошли. Уже решил плюнуть на этот проклятый пояс, но вдруг нашел его за своим топчаном. Дырок на нем была тьматьмущая. Сам лишние прокалывал. Ремень был грязноватый, сальный, но еще крепкий. Консервным ножом я выломал из пряжки шпенек, чтобы кожа в пряжке свободно проходила. Этот дедовский ремень я сразу надел на шею. Второй пояс, тот, что лежал в кармане, дырок не имел. У него на пряжке были такие зазубринки, вроде как на пионерском зажиме. Они прихватывали кожу. Этот ремень я намотал на перекладину, закрепив двойным узлом. Теперь оставалось только соединить ремни. Я вдел в пряжку с зажимом дедовский ремень. Кожа на нем была скользкая, поэтому я вдел его обратной стороной. Пряжка хорошо прихватывала мясо ремня.

Теперь можно было начинать. Я стоял на материнской тахте. Пыльными сапогами давил цветастую крышку. Неохота было снимать обувь. Слишком много в газетах было фотографий повешенных без сапог. Наверно, полицаи отнимали.

Чудно́ было с ремнем на шее. Он никак не давал выпрямиться. У меня уже начало сводить спину. Надо было решиться. С какой-то сырости, напоследок, вдруг вспомнил, что в таких случаях обычно молятся Богу. Но после попа над гробом Егора Никитича молиться было бы свинством. Я просто попросил прощения у Берты за то, что увидит меня такого. Еще я пробовал извиниться перед Климкой: его часто ругал и вообще плохо относился. И еще вспомнил нескольких ребят, с которыми был несправедлив.

Про отца не думал. Знал, что меня не увидит. У матери своих забот будет по горло. Одну Бертю было жалко. Так жалко, что, помню, вешаться чуть не расхотел. Но уже не было сил все это снимать и развязывать. И я оттолкнулся от топчана, повис на руках, потом убрал одну, потом, наверно, вторую руку, но этого уже не помню...

Не знаю, долго ли пролежал без памяти. Когда примчался домой, на часы не посмотрел и теперь лень было их вытаскивать. Горло болело и ныл затылок, а в глазах поначалу набухало то красным, то черным, как будто у самого лица поворачивали фотографический фонарь.

Я лежал на полу, почти упираясь головой в плиту. Еще немного и была бы мне вечная память. Пролетел в каких-то сантиметрах от печной дверцы, а на ней одна ручка килограмма в три. Мозгов бы не собрали.

Самое смешное, что зажим удержал кожу дедовского ремня, но лопнули нитки. Новый ремень остался на перекладине, а старый — на моей шее. Его пряжка вдавилась в горло. Синяк, — подумал я, — наверно, страшный и с голосом тоже что-нибудь не так. Ладно, решил, если до экзаменов не пройдет, обмотаю шею бинтом. Пусть думают — согревающий компресс.

Я довольно долго лежал, потом с неохотой встал, запер за собой дверь, сунул ключ в щель на крыльце и пошел к Федору. Было темно, собирались тучи и вообще было холодно, хотя я застегнул рубаху на все пуговицы.

1965 г.

Два стихотворения

Лев Мак

В ПОЕЗДЕ

Любовь к России, странная любовь:
Что ты? Сыновство или материнство?
Стерильна марля, диск луны рябой.
Сестричка плачет, фельдшер матерится.

Здесь на спине вагона красный крест.
(Крест — цвета крови, поезд — цвета хаки.)
Здесь у соседа череп набекрень.
Он бредит, он в бреду кого-то хаает! —

И по перрону скачущий оркестр,
Назойливые в окна мечет марши.
О, белый бинтик в поднятой руке,
Я умираю, а она все машет!

Я с ревом прорываюсь сквозь конвой:
Любимая, спаси меня, укрой!
Убьют меня — расправятся с тобой!..
Но кто-то мне заламывает локти,
И ладит гвоздь, и говорит: стой!
И громко молотком своим колотит.

Кричит оркестр: распни его, распни!
Мне не уйти от ржавчины, от жажды,
В крови мои ладоши и ступни,
И тернии в руках у провожатых!..

А поезд, выбивая из-под ног
Последнюю реальную опору,
Красиво превращается в пятно,
Взмывающее к потолку сквозь штору.

**
*

Иконы. Свечи. Спины прихожан.
На папертях калеки и уродцы:
— Какого цвета осенью душа?
— Сиреневого, как сиротство!

Крестьяне хворые, и деятель кино
(член партии!) —

чиновники и воры

Умрут сей ночью...

Ночь. Застегнут ворот.

Лежат под простынью, торча концами ног.

Смерть от болезни — медленная смерть
Бессмертного в усталом человеке, —
Не суждена поэтам в этом веке:
Всесильна низость и мгновенна месть.

И — упадаешь на полы,

Иль — если повезет — на травы, —

И забываешь рев толпы,

Освобождающей Варавву.

МАК Леонид Семенович — родился в 1939 году в Одессе. Окончил Одесский политехнический институт, затем Высшие сценарные курсы в Москве. В феврале 1974 года выехал из Советского Союза, в настоящее время проживает в Великобритании.

Россия и современность

Наум Коржавин

ОПЫТ ПОЭТИЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ

Необходимость написать эти несколько слов, которые я хочу предпослать предпринятой мной попытке собрать и привести в порядок все свои — хранящиеся в памяти и на бумаге, опубликованные и до сих пор не опубликованные — стихи и поэмы, вызвана теми же причинами, что и сама эта попытка.

Мне сорок три года, пишу я лет с тринадцати-пятнадцати. Несмотря на детерминированность биографией и историей, несмотря на то, что в моей жизни даже в творчестве прямые взаимоотношения с временем, с его духом, надеждами, преступлениями занимали слишком много места, были едва ли не основной чертой моей духовной биографии, несмотря на то, что отрицать это у меня нет ни права, ни желания — несмотря на это я почти всегда, во всяком случае очень давно считаю критерием поэзии то, что называю (и не я один так называю) — пушкинским началом. Под этим я подразумеваю свободное и обобщенное гармоническое мироощущение, когда поэтическая суть жизни — пусть печальной, пусть даже трагической — открывается без всякого внешнего напряжения, свободно и легко, в самом простом и обыденном, во всем. Разумеется, такая поэзия выра-

жает и время, но это происходит чаще всего как-то попутно, далеко не всегда становясь темой и никогда — главной творческой задачей, сутью внутреннего замысла. Время здесь — это среда, это жизнь, которой живет данный человек, обстановка, с которой сталкивается его поэтическое отношение к жизни, его поэтический — если можно так выразиться — запрос к жизни. И еще время — частное проявление вечности, основа, на которой этот запрос формируется и крепнет.

И если есть этот запрос, любая тема становится значительной и значащей, становится темой жизни, смысла и красоты. У Пушкина это получалось сплошь да рядом.

Но само понимание необходимости пушкинского начала при том, что оно необходимо, ничего для творчества не дает. Ибо это не технический прием, а характер восприятия. Притом такой характер восприятия, выработать который современному человеку почти негде. В мире концентрации капитала, всевластной техники, массовой культуры, массовых средств искажения истины необходимо затратить напряженные усилия, чтобы не утратить собственного восприятия вообще, чтобы понять, что тебя действительно волнует, а до чего и дела нет. В этих обстоятельствах приобретают большое значение всякие перипетии борьбы за себя, все открытия на пути к себе. Без них собственное «я» будет выглядеть в стихах недостоверно. Но в этом внимании к перипетиям таится страшная опасность — легко за ними забыть о главном, забыть, что главное не они, а сама борьба, сам ее смысл, т. е. то, что к этой борьбе толкает. И тогда любой злободневный вопрос — например, вопрос

о свободе печати — начинает казаться коренным вопросом бытия и мироздания. Когда мысль находится в железных тисках чужой глупости, каждый шаг на пути к освобождению потрясает, как великое открытие. Сознанием, что свобода слова не барская блажь, как тебя учили, а, наоборот, великое благо, необходимое всем, могут быть проникнуты (могут исходить из этого сознания) даже вполне впечатляющие стихи. В острый момент они могут показаться гениальными. Но представьте себе, что процесс пошел дальше, благотворность этой свободы признана всеми и даже узаконена, тогда на первый план выдвигаются вопросы более неразрешимые, «детские», действительно коренные вопросы бытия, острота которых была только временно скрыта за остротой более временных, но в тот момент более насущных для нас вопросов (таких, как свобода печати). Что тогда произойдет с такими стихами? Выяснится, что большинство из них потеряет все свое обаяние, а уцелеют только те из них, в которых эта тема о свободе печати не исчерпывала всего их содержания, а была только поводом для проявления чего-то более важного и существенного. Окажется, что хотя политический факт никак не может быть сутью художественного произведения, он вполне может стать его темой, ибо коренные закономерности и связи бытия проявляются в нем, как во всяком другом факте жизни.

Впрочем, некоторые думают, что коренные вопросы бытия здесь ни при чем, поскольку искусство — это прежде всего непосредственное самовыражение личности: достаточно только улавливать и выражать собственные эмоции, и это само по

себе таинственным образом приобретет космический смысл — независимо от характера этих эмоций. Несмотря на широкую распространенность, эти представления не выдерживают никакой критики. Прежде всего, в таком контексте утрачивает всякий смысл слово «личность». Ибо личность — это не просто любая человеческая особь, а существо, так или иначе осознавшее себя по отношению к миру, к людям и человеческим ценностям. Личность — понятие общественное. Уловить и воплотить собственные эмоции — это тоже значит осознать, почувствовать их на фоне жизни и мира и по отношению к ним. Я здесь часто, говоря о поэзии, употребляю слова, как будто не имеющие к ней отношения: «вопросы», «проблемы», «закономерности» и т. п. Но, употребляя их, я вовсе не думаю, что поэзия должна заниматься трактовкой, исследованием вопросов или закономерностей, пусть даже самых серьезных и значительных. Речь идет о глубине и границах мира, в котором поэт живет и чувствует, о характере и культуре представлений, сказывающихся и отражающихся на его восприятии, о том, что ему доступно до того момента, когда происходит акт творчества, но что все равно так или иначе воплощается в этом акте, потому что это как раз имеет самое непосредственное отношение к его личности.

Личность без всех этих связей и культуры — нонсенс. Люди, которые заняты только своими эмоциями и находят в этом прелесть — существуют, но это бедные люди — за их этими эмоциями ничего не открывается — ни им самим, ни читателям. Эти эмоции замкнуты сами на себя, это эмоции бесчувственного человека, защищающего

свое право на равнодушие к миру, к людям, к творческому напряжению и желающего, чтоб это равнодушие выглядело — для самого себя в первую очередь — осмысленно, значительно и красиво. Их самовыражение всегда саморисовка и самовоспевание — даже когда воспевается собственное ничтожество. Но это никогда не может стать откровением: как и политика, отделенность и отчужденность могут быть только темой художественного произведения, но не могут составлять его сути. Модернистская поэзия — а ведь именно о ней сейчас идет речь — это вообще поэзия без катарсиса и откровения.

Должен сказать, что любителем модернистской поэзии я не был никогда. Но это совсем не означает, что меня совсем не коснулась ее психология. Подчеркиваю: психология, а не поэтика. (Поэтике модернизма — вопреки всеобщему убеждению я считаю, что она в нем не самое главное — я был чужд всю жизнь). Психологическое влияние модернизма проявлялось у меня, например, в неуместной романтизации собственной личности (как же — поэт!) и отсюда в повышенном внимании к деталям внутреннего развития, личных отношений и общественной биографии. Особенно к последнему — о том, какое значение имела в моей жизни моя общественная биография, я уже писал. Всё это вместе — включая обстоятельства места, времени и происхождения — безусловно способствовало нарушению в моем восприятии чувства меры и соразмерности, а также соотношения вечного и сиюминутного. Конечно, это не могло не отразиться на моих стихах, больше или меньше деформируя их поэтическую сущность. Как-никак поэзия

— наиболее прямое и непосредственное выражение состояния души и духа — «скоропись духа», как говорил Пастернак, — и на ее произведениях деформации духа и следы наслоений, сквозь которые ей приходится пробиваться к катарсису, обыкновенно проявляются наиболее отчетливо.

Эти несколько слов я пишу не для оправдания, не потому, что всегда находились люди, объявлявшие мои стихи чисто гражданскими и рассудочными — рассудочные натуры всегда враги рассудочности и большие поклонники иррационального (впрочем, понимаемого ими тоже вполне рационалистически) и их не переубедишь. Я не вижу причин, позволявших или позволяющих моему интеллигентному сверстнику игнорировать то, над чем ломал голову я, и мне не в чем здесь оправдываться.

Да, поэзии без гармонии нет. Да, поэтическая деятельность без стремления к гармонии есть деятельность фиктивная, а подробности бытия иногда не выражают гармонии, а только затрудняют путь к ней. Но тем не менее все попытки выдавать нагорá образцы спокойной гармонии — в духе дворянской поэзии XIX века — в наше время рассудочны и искусственны. Или просто основаны на духовной кастрированности, на равнодушии. Как и стремление обходиться не имеющими выхода в мир эмоциями, оно покоится на повышенном и небогащающем представлении о ценности — даже не своей личности, а собственно, своего организма. Разумеется, и с гармонией не всё просто. Ощущение отсутствия гармонии, тоска по ней — в искусстве тоже гармония. Тем более порыв к гармонии сквозь все наслоения, — какие бы следы эти на-

слоения ни оставляли на теле стихотворения. И я думаю, что в самых диких моих заблуждениях такого ощущения гармонии, такой потребности в ней — я не терял. Я надеюсь, что именно она лежит в основе моего творчества. Как бы ни искажали его эпоха и обстоятельства.

Эти несколько слов я пишу именно для того, чтоб об этих обстоятельствах поговорить.

I

Я до сих пор имею нескромность считать, что то, чем я до сих пор был занят в жизни, имеет некоторое отношение к русской поэзии — к той русской поэзии, в которой живут Пушкин и Блок, Тютчев и Ахматова. Конечно, я далеко не всегда уверен в этом. Ведь это очень много, если это действительно так, каким бы скромным ни оказалось здесь мое место. Но претендовать на это самое высшее для меня звание я начал отнюдь не сразу. Я стал писать лет в 11-12, но мечтал стать не поэтом, а профессиональным революционером, рыцарем мировой революции, который ездит по разным странам и занят подготовкой ее прихода. А стихи я писал — то ли считая их вспомогательным средством, то ли в порядке сублимации.

Но и когда, лет в 14-15, поэзия приобрела для меня самостоятельную ценность и я уже мечтал стать поэтом, мне хотелось быть поэтом не русским, а каким-то советским, — так сказать интернациональным. Что это значит, я и теперь не знаю. Как часто мы в юности — и не только в юности, хмелеем от слов, даже не пытаясь проникнуть в их физический смысл. Нам кажется, что мы что-то

думаем и чувствуем, а мы только «вдохновляемся» — кровь играет. Сегодняшние западные «левые» — последний и наиболее крайний тому пример. Думаю, что их отрезвление будет еще страшней и горше, чем наше.

Такому отношению к поэзии способствовала та революция в ней, которую произвел Маяковский — значение и его самого, и этой революции мы тогда сильно преувеличивали. Впрочем, нам вообще нравилась революция, в чем бы она ни происходила. Но тем не менее, чем дальше, тем больше мне начинали нравиться произведения русской классики. Правда, в это время настороженное отношение к классикам кончалось, но я еще долго был верен «старым знаменам» и уступал неохотно, даже воспринимал этот возврат классики как один из симптомов побеждающей контрреволюции. Но все-таки то одно, то другое стихотворение я вдруг объявлял исключением. Так, сначала мне открылся, как водится, Лермонтов, а потом и Пушкин. Впрочем, и в том, и в другом я открывал «революционный дух» в подлинном, а не официальном смысле слова. Только много позже я понял, что это называется катарсисом и что, может быть, самая страшная беда бывает тогда, когда люди начинают добиваться катарсиса не от искусства, а от общественной жизни. Впрочем, некоторые передовые мыслители Запада, говорят, пришли теперь к выводу, что как раз в искусстве он и необязателен. Возможно, скоро они придут к выводу, что для самолета необязательна способность летать — рассудочное мышление может и не до того дойти.

Тем менее удивительно, что логическая путаница не бросалась в глаза нам в тех обстоятельст-

вах. Тогда многим многое не бросалось в глаза. И многим казалось, что всё продолжается, когда всё резко менялось.

Официально мы считались государством интернационализма, базой мировой революции, родиной мирового пролетариата. Между тем, медленно, но верно в идеологии совершался поворот в сторону «патриотизма». Еще недавно это было ругательным словом, символом мещанства и белогвардейщины, но теперь быть патриотом стало вполне благонамеренно и даже обязательно. Впрочем, поначалу речь шла о каком-то межеумочном «советском» патриотизме, эклектически сочетавшем в себе — наряду с прославлением счастливой жизни всех советских народов, — традиции революции с традициями царей и полководцев. Но мало-помалу стало всплывать на поверхность и слово «Россия» — без определения «красная» или «советская» до этого его произносили в положительном смысле только отрицательные герои многочисленных романов, пьес и кинофильмов о гражданской войне.

Мое тогдашнее восприятие теперь странно для меня самого. Уже давно слово «Россия» — одно из самых дорогих для меня слов. И — видит Бог! — я давно уже не стремлюсь к мировой революции. Профессиональный революционаризм в духе Чегевары (а ведь именно о нем я мечтал в детстве) мне теперь глубоко противен, как самый крайний, дорогостоящий (для других) и безапелляционный вид эгоизма, наиболее простой и дешевый способ (дешевый для себя, да и это только кажется) удовлетворения гордыни и духовного вакуума, достижения без особых затрат со своей стороны (только за счет чужих жизней и судеб) царства Божия. Но

это я понимаю только теперь, тогда же мою романтическую душу смущал такой поворот событий.

Многие попытаются — теперь это становится модным — объяснить такое мое умонастроение моим еврейским происхождением, чуждостью России. Последнего я опровергать не буду. Чужд или не чужд я России — решит читатель. Но кем бы я ни являлся сам, я в этом своем отношении к патриотизму не отличался от своих романтически настроенных сверстников всех происхождений, живших во всех областях страны. Кроме того, следует отметить, что советский патриотизм отнюдь не отменял интернационализма, он только сужал его действие, распространяя его исключительно на народы СССР, в списке которых евреи тогда по-прежнему занимали почетное место. Да и введение этого патриотизма, и реабилитация этого слова были вызваны прежде всего впечатлением, которое произвел на Сталина успех Гитлера, т. е. тактическим соображением о необходимости использовать (не отдавать врагу) и этот мощный фактор, а не подлинным национальным чувством. Именно поэтому такой патриотизм сразу приобрел выхолощенный, официозный характер. Только во время войны он слился с подлинным национальным чувством и только после войны — с им же разбуженным и спровоцированным шовинизмом, который всегда возникает, когда другие ценности становятся недоступны, когда у государства других резервов нет. В том же, что я хватался так за идеи мировой революции — кроме общей романтической настроенности — сказалось и естественное стремление к цельности и осмысленности. Дело в том — конечно, осознал я это не тогда, а много

позже — что другой цельной идеологии, кроме идеологии мировой революции, советский строй не выработал и не смог бы выработать за все годы своего существования. Только ради этого была взята власть в 1917 году, только этим оправдывались условия, в которых мы жили, только в этом заключался смысл жизни любого из нас, ибо другой идеологии мы не знали. Честными и нечестными, духовными и недуховными, верными и неверными мы могли быть только в рамках этой идеологии и по отношению к этим рамкам. Альтернативой этой идеологии была бессмыслица. Бессознательно таким уродливым способом мы защищали свое право на духовность.

В этой связи невозможно не коснуться моего впечатления от процессов 1935-1939 годов и от всего того, что на Западе называют чистками. Они и связанная с ними пропаганда были основой, на которой покоилось сознательное и непрерывное вдавливание бессмыслицы в сознание людей. Внезапно оказывалось, что Станислав Косиор, которого еще вчера собирались убить Зиновьев и Каменев, сам собирался убить Сталина и Кагановича, а троцкисты, занимавшие во время гражданской войны высшие военные и государственные посты, уже тогда ставили своей основной целью погубление республики. Или что Бухарин был вдохновитель и участник подготовки покушения на В. И. Ленина. Мне лично мешало в это поверить художественное чувство правдоподобия, вкус, но многие верили — потому что уж слишком страшно было в это не верить, живя в нашей стране: человеку трудно вынести груз такой страшной раздвоенности — даже если он уцелевает при этом. Но чем могут оправ-

даться западные коммунисты и те левые интеллигенты, которые травили Орвелла и Кравченко и обзывали их клеветниками? Ведь не могут же они оправдываться отсутствием информации, она была, они только не хотели ее слушать. Достаточно было просто читать советские газеты того времени, их невозможно истолковать как-то иначе. Как, например, и выступления советского представителя Федоренко на заседаниях Совета Безопасности в 1967 году; если так его начальство разговаривает (его устами) с людьми, от него не зависящими, то как оно должно разговаривать с теми, кто от него зависит всецело: и экономически, и просто физически. Сегодняшнее наивное увлечение Китаем — преступление такого же порядка. Говорят, что всё это — люди честные. Может быть. Но это не интеллектуальная честность, не честность мысли, неспособной придти к необоснованным выводам и неспособной уйти от тех выводов, которые вытекают из фактов. Немалую роль здесь играет и бедность воображения. Мне рассказывали, как один итальянский трактирщик, член компартии, начал сетовать на то, что в России слишком круто поступили со Сталиным. На все рассказы о художествах последнего у него был готов ответ: «Борьба требует жертв». Но когда спросили, согласен ли он, чтоб такой жертвой оказались он или его жена, он возмутился: «Нельзя так ставить вопрос!» И никак он не хотел взять в толк, что вопрос так и стоит. Он жертвовал процентами, а не людьми, а это легче. А когда люди соглашаются жертвовать процентами, превратить эти проценты в живых людей совсем нетрудно.

Впрочем, только ли в воображении дело? Господин Моравиа, например, воображением, наверно, наделен — оно для него профессионально обязательно. Но никакое воображение не помешало ему выразить свое восхищение непосредственностью китайских хунвейбинов — в момент, когда они какого-нибудь китайского Моравиа водили по улицам, колотя по нахлобученному на его голову ведру. Ну, как тут не умилиться, не сравнить их энтузиазм с энтузиазмом святого Себастьяна и участников крестового похода детей, который, кстати говоря, закончился жульнической продажей ловкими людьми большей части этих детей в рабство к мусульманам. Но современный западный интеллигент стремится обеспечить себе хоть какое-то подобие веры, способной наполнить его сытую жизнь. И ему — не до таких подробностей. Только он зря старается. Если он не научится находить духовные основы в самой обыденной жизни, в том, как люди ежедневно отстаивают свою жизнь, а иногда и дух, то никакие допинги, никакая вера в историческую осмысленность чужих страданий — его не спасут. Конечно, скука — тяжелая вещь. Что ж, человеку, которому скучно, можно посоветовать сесть на плот и переплыть океан. Но он этого не сделает. Это делают только те, кому это интересно, для кого это жизнь, а не допинг.

Но вернемся к процессам тридцатых годов. Как уже сказано, я в них не верил. Главным образом потому, что люди, от которых я о них узнавал, не внушали мне доверия. Уж слишком чувствовала в них эта способность повторять что угодно, не задавая себе никаких вопросов. Это располагало скорей к сочувствию жертвам этих процессов, чем

к их осуждению. Но тем не менее от нормального отношения к вещам и ценностям я был тогда еще очень далек. Меня оскорбляло не то, что это вообще подлость и беззаконие, а то, что это направлено против революционеров и революции; вольнодумство мое объяснялось тогда скорее всего просто романтическим неприятием святотатства. Помню, как я был потрясен, узнав, что привилегии дошли до того, что существуют правительственные логи и что все к этому относится как к обыденному факту. Я и теперь думаю, что это не смешно. Идеология, в преданности которой я был воспитан, начисто отрицала такие вещи, а до другой я тогда не дорос. Как до сих пор не доросло до нее советское государство. Так оно и живет — идеологическое государство без идеологии.

Впрочем, преданность мировой революции не всех и не всегда приводила к оппозиционности. И меня — тоже не всегда. Помогала диалектика. Иногда я верил, что всё остается по-прежнему, а все эти «извивы» — чистая тактика, для лучшего достижения всё той же цели. А ведь мы все были воспитаны в колоссальном уважении к тактике. Мне кажется, что главная черта идеологии и психологии большевизма — признание примата тактики над сутью. Это сильно облегчило победу Сталина над большевизмом. Но к этому глубокому тянуло многих — все-таки страшно ощущать, что ты — один, что все неправы, а ты один прав. Поневоле хочется думать, что правы — все другие и стремиться хоть как-то постигнуть основы их правоты — начисто недоступной для тебя и для всех, кого ты любишь.

Способствовало этой победе и то, что личные симпатии и антипатии не принято было принимать во внимание, а единственно существенной оценкой, с которой прилично было считаться — была оценка пользы для общего дела. Не то, чтобы люди так себя вели, но такое отношение считалось идеальным. Даже до воцарения Сталина и до большевиков вообще. Это тоже действовало. Но как бы я ни склонялся к этому, совсем слиться с этим я не мог — слишком глубоко в бездуховность надо было бы уйти для этого.

Среди современных сталинистов существует странное убеждение, что именно в те времена в отличие от нынешних — люди верили. Но они имеют в виду нечто совсем другое. В ту эклектику, которая тогда подавалась как идеология, верить было невозможно. Была любовь к своей стране, гордость за ее успехи, действительные и мнимые, были перспективы роста (можно было стать летчиком или стахановцем, чем резко изменить свой статус), но веры не было, не было даже сознания — а именно на это и упирают сталинисты — что «без веры жить нельзя». Верой, вероятно, они сегодня называют равнодушное передоверие, основанное на низкой культуре мысли и вытекающей из этого способности не задавать ни себе, ни другим ненужных вопросов. В каком-то смысле многим это помогло сохранить относительную чистоту. Некоторое подобие веры было только у тех, кто упрямо и истерически старался видеть в сегодняшних днях продолжение «славных традиций» в «сложных условиях». Но эта вера не только не торжествовала, но даже и не воспитывалась. И это неудивительно. Дело в том, что в идеологии,

даже в идеологическом воспитании молодежи, которому, казалось бы, придавалось такое большое значение, господствовал бессмысленный и беспринципный прагматизм. Людей воспитывали так, как будто они рождены для того, чтоб помочь или облегчить партии и правительству проведение ближайших мероприятий, а даже не для борьбы за коммунизм вообще. Т. е. не только действия людей, а само их мировоззрение, сама духовная структура централизованно формировались согласно требованиям минуты. Как будто люди — мотыльки и живут всего один день. Во время действия германо-советских договоров вся система воспитания исходила из того, что Англия и Франция хуже гитлеровской Германии. На это настраивались не действия людей, а их мысли. Но если Англию и Францию ругали дифференцированно, понося не народы, а только правящие «круги, классы или клики» этих стран, то в отношении Польши такой дифференциации не делалось. Т. е. никто не отрицал, что в Польше есть и рабочий класс, и прогрессивные круги, но об этом просто не упоминалось. Поносилось само имя поляка. Но ту веру, о которой тоскуют сталинисты, это не поколебало. Такая это вера.

Нет, и меня несколько не оскорбило, что мы всадили нож в спину Польши и помогли Гитлеру. Наоборот, мы для меня как бы вернулись к чистоте своих идей и выполнили завет Ленина (какими методами — неважно) — расширили отечество трудящихся всего мира — Советский Союз, и я даже был рад этому. И только антипольская кампания в печати портила мне праздник, не укладывалась в моем сознании. Помню, как я обрадовался,

прочитав в многотиражке Киевского Дворца пионеров стихотворение Асеева, где были такие строки:

Не верь, трудовой польский народ,
Кто сказкой начнет забавить,
Что только затем мы шагнули вперед,
Чтоб горя тебе прибавить.
Мы переходим черту границ
Не с тем, чтобы нас боялись,
Не с тем, чтоб пред нами падали ниц,
А чтоб во весь рост распрямлялись!

Но радовался я зря. Просто Асеев так же, как и я, очень хотел, чтоб это выглядело так. Больше ничего подобного я не читал нигде. Трудовой польский народ имел все основания не верить мне и Асееву, а верить тем, кто его «забавил» такими «сказками». Идеологическое государство собственной идеологией не интересовалось. Интересовался ею я — на собственный страх и риск.

Так я и жил до самой войны — то принимая порядок вещей, как продолжение традиций, то отрицая его, как их отрицание, но всегда оставаясь верным этим традициям. Эта верность отражалась на всем, даже на любовной лирике. Женщина — товарищ в борьбе, непостижимым образом переходящая в идеал женщины вообще — вот образ любимой из моей тогдашней лирики. Но при всей верности своим идеям я хорошо понимал, что вне реального состояния в стихах нет ничего, а это значит, что в стихах я никогда не лгал. Это доверие к себе помогло мне выжить, преодолеть наслоения и времени, и провинциализма, и собствен-

ных романтических наслоений. Поэзия — это ведь скорей откровение, чем экстаз.

Впрочем, по-настоящему это я понял значительно позже.

II

Если отвлечься от всех переживаний, связанных с бомбежками, тяготами эвакуации, голодом, неприютностью, если отвлечься от того страшного, с чем она спокон веку связана и от чего отвлекаться нельзя — можно сказать, что война имела для меня величайшее положительное значение (Пастернак сказал, что она принесла освобождение от лжи, но у него другая биография) — она открыла для меня Россию. И прежде всего подлинный, живой русский язык. До этого я слышал только язык города, язык полуинтеллигенции, интеллигенции и мещанства, да еще в киевском оформлении, — с языком народа, говорящего на том языке, на котором говорю я, я столкнулся впервые.

С тех пор Россия стала значить для меня не меньше, чем мировая революция, а со временем и вовсе затмила эту романтику. Причем имел для меня значение не только язык, но и то, что говорилось на этом языке, хотя говорилось, понятно, всякое. Россия перетряхнула меня всего. Я влюбился в русский характер, в русское отношение к жизни, очень долго вообще не умея воспринимать это критически. Меня захватила духовная стихия России, неотрывность духовности от быта. Разумеется, мне не раз потом и тут же сразу пришлось столкнуться и с подлостью, и с низостью, и с подлинным зверством — я давно отошел от романтизации образа России, как отошел от романтизации чего бы

то ни было. Но и теперь, после многих разочарований, я все-таки думаю, что все же, в чем-то главном, подспудном, иногда напрочь заглушаемом и подавляемом, образ, который открылся мне тогда — верен. Впрочем, и до этого, несмотря на весь мой интернационализм, слова «Россия», «Великороссия» были окутаны для меня романтической дымкой обаяния; все-таки я был воспитан на русской культуре. Это подготовило и облегчило встречу, превратило ее в некое возвращение на родную почву. С тех пор, что бы ни происходило — я твердо знаю, что это мое и что вне этого для меня нет жизни. Хоть я и не стал русским националистом, как не был до этого националистом еврейским или украинским. Думаю, что никакие антисемиты уже не смогут оторвать мою душу от России и ее судьбы. Но ни кадить ей, ни льстить я не собираюсь. Я ее люблю.

Должен сказать, что, как это ни странно, впервые с проблемой антисемитизма я столкнулся не на Украине, а в России. Именно с проблемой, а не с самим антисемитизмом, с ним я сталкивался и раньше, но я его воспринимал просто как проявление отсталых настроений, и проблемы в нем не видел. В школе, в литкружках, везде, где проходила моя жизнь, я с ним не сталкивался. К тому же, он жестоко преследовался. Я жил в Киеве, городе мещанском и многонациональном. Поскольку большой процент его населения составляли евреи, они составляли большой процент и в его мещанстве. Поэтому образ мещанина в детстве был для меня связан с образом мещанина-еврея. Меня это мало заботило — что совершенно естественно — но все-

таки кое-какие неприятные воспоминания у меня с этим связаны.

Помню, как в дневном санатории на Черепановой горе (где теперь Центральный стадион) два еврейских мальчика нагло доказывали украинскому, что евреи намного выше по всем показателям, чем украинцы или русские. Помню, как неумело отбивался этот украинский мальчик — он был не очень бойкий. До сих пор я это помню и до сих пор мне за это стыдно.

Или вот второй эпизод. Мне уже лет тринадцать-четырнадцать. Я живу на даче в Святошино с дядей и тетей. Рядом живет с мужем и детьми моя двоюродная сестра. В гости к ней приехал еще один родственник, более близкий ей, чем нам. Приехал с сыном, довольно тогда необузданным и вредным мальчиком. Вдруг с криком прибегает какая-то женщина. Оказывается, сын нашего гостя обидел ее маленького сына и вообще обижает маленьких. «Уберите вашего бандита! — кричит она. — Или вообще не приезжайте сюда больше». Наш гость как будто только этого и ждал. «Это вы бросьте! — взревел он. — Это до революции евреям нельзя было приезжать в Святошино!» И пошел, и пошел... Я не знал, куда деваться. Ведь обвинение в антисемитизме тогда было очень опасно, а антисемитизм к этому эпизоду никакого отношения не имел. До сих пор к еврейскому национализму я отношусь хуже, чем ко всякому другому. Не потому, что он действительно хуже, а потому, что он как бы предполагает мое соучастие или сочувствие.

Но я рассказываю эти два случая вовсе не для того, чтобы подтвердить или проиллюстрировать

распространенное в некоторых кругах убеждение, что в антисемитизме виноваты сами евреи, и они одни. Людей, позволяющих себе быть антисемитами, нельзя оправдать ничем, как ничем (ни погромами, ни чертой оседлости) нельзя оправдать этих двух мальчиков и моего дальнего родственника. Если то и другое можно простить, то только как прощают грех: видеть в человеке только категорию, к которой он отнесен или относится, но не видеть его самого — безусловно грех.

Вот мое правило: «Если ты хочешь сказать что-нибудь плохое или хорошее о человеке словами: «еврей», «русский», «немец» и т. д., остановись на минуту и вспомни, что к большинству людей, к которым относится это слово, то, что ты хочешь сказать сейчас этим словом, отношения не имеет». Этим я отнюдь не хочу зачеркнуть национальные черты и национальное своеобразие. Просто я хочу сказать, что они совершенно инертны по отношению к добру и злу. Все мы видели, к чему приводила немецкая организованность и любовь к порядку — а ведь это качества, которых не стоит недооценивать никому, особенно нам. Но и русская широта и бесшабашность приводили иногда к тем же результатам. Когда, например, начальник лагеря — ах, семь бед — один ответ! — проедал и пропивал продукты, отпускаемые для заключенных. А ведь в других случаях это качества вполне обаятельные. Короче, два человека с одинаковыми национальными чертами характера могут быть абсолютными антиподами в нравственном отношении.

Против слепого отношения к людям, как к представителям категории, можно сказать многое. Каждый, кто так относится к другим, порождает в других такое же отношение к себе и к своим близким. Когда партийцы притесняли детей всяких «бывших», как классово чуждый элемент, они подготавливали отношение к собственным детям, как к детям «врагов народа». Кроме того, выделение собственных грехов куда-то вовне, в других людей, притупляет бдительность народа по отношению к самому себе и к своим слабостям.

Впрочем, все эти мысли пришли потом. И они — ответ не на тот патриархальный, бытовой, фантастический по своей логике антисемитизм, с которым я столкнулся во время войны. Но и тот, с которым я столкнулся, отнюдь не был добрым или справедливым — таких антисемитизмов не бывает. Правда, люди вообще не слишком добры и справедливы друг к другу. Но все-таки...

Вспоминается станция Шакша за Уфой. Осенний вечер 1941 года. Я только что приехал сюда на пригородном поезде с двумя попутчиками. Мы отстали от эшелона с эвакуированными — там у меня отец и мать — и теперь догоняем его. Мы в дежурке маленького бревенчатого вокзала. Только что узнали, что наш эшелон проследовал через эту станцию без остановки и что догнать его можно только на скором, который прибудет через несколько часов. На вопрос, помогут ли нам сесть в него, мы получили вполне спокойный отрицательный ответ. Мне еще нет шестнадцати, я впервые один в целом мире, да еще на глухой заброшенной станции ночью. Впрочем, глухой и заброшенной она могла мне тогда только показаться. Предста-

вить, что мог чувствовать по этому поводу такой неопытный неоперившийся юнец, — нетрудно.

Может быть, мой первый самостоятельный поступок в жизни — это поездка на ступеньках этого поезда, когда глубокой ночью он наконец пришел, а в вагон меня не пустили, а первое самостоятельное ответственное решение — это на следующей станции Иглино броситься назад к этому поезду, после того, как дежурный, снявший меня с него по требованию кондуктора (теперь я понимаю, что он сделал это намеренно), отвернулся. И опять вцепиться в холодные поручни вагона. Помню, что больше всего я боялся, что пальцы не выдержат холода уральской октябрьской ночи (Урал — это ведь так далеко в холод от теплого Киева), замерзнут и разожмутся. Однако обошлось — я догадался обхватить поручни локтями.

Но в тот момент, стоя перед дежурным в этой маленькой тускло освещенной комнате, я и предположить не мог, что через несколько часов окажусь способным на «такое». Думаю, что моя растерянность и беспомощность видны были всякому.

— А у твоего папочки, небось, тыченок сто припрятано, — вдруг из глубины своего отчаяния я услышал ровный старческий голос. Это отозвался на мою беду прикорнувший в углу старичок в железнодорожной форме, паровозный машинист, как оказалось потом. Я и не заметил его сначала. Я никогда не забуду ни этой станции, ни этого голоса, спокойного и недоброжелательного, убежденного в своей недоброжелательности.

Я еще не знал, что такое предубежденность, я считал, что он просто глупо ошибся, и начал ему пространно объяснять, что семья наша и дома не

была чересчур состоятельной, что денег всегда не хватало, а теперь они и вовсе на исходе, что из вещей мы захватили только то, что смогли унести на себе, а в нашей семье нет атлетов... Но старика все эти мои объяснения трогали очень мало. «Да что ты мне говоришь! — не унимался он, — все знают, что у «ваших» денег куры не клюют!» Я взглянул на дежурного, по моим тогдашним понятиям он был человеком интеллигентным, — но в его глазах увидел только любопытство и скрытую улыбку. Ему было интересно, как будет вести себя человек этой странной породы, о которой все вокруг теперь так много толкуют.

Может быть, я переоцениваю значение только что описанной сцены. Но в ней я впервые столкнулся с такой враждебностью, с таким открытым несочувствием к себе и к своему несчастью.

Я давно уже знаю, что такое несочувствие проявлялось у нас не только по отношению к евреям, что скорей всего эти люди до того, как встретились со мной, видели столько страшного и бесчеловечного, что на этом фоне мое приключение с эшелонном — не более, чем пустяк. Да и сейчас через их станцию шли эшелон за эшелонном, в сторону фронта и на восток. И, вероятно, не я первый догонял здесь свой эшелон. Кроме того, они могли заметить, что в эшелонах, идущих на восток, евреев много, а в солдатских они в глаза не бросались, даже когда они там были. Из этого факта делались надлежащие выводы. Хотя выводы эти — поверхностны. От немцев уходили почти все евреи, а на фронт не могли и не должны были ехать все. Например, дети, старики, женщины, девушки. Очень бросались в глаза совершенно чуж-

дые местному населению бородатые польские евреи. Впрочем, и те не очень жаловали местное население. Они стремились как можно быстрее проехать эту страшную и дикую страну, в победу которой напрочь не верили: «Такая культурная страна, как Польша, и то не устояла, а где уж этим», и не желали к ней иметь какое-либо отношение.

— Куда вы едете? — спросил мой отец у одного из таких евреев, когда он с сыном случайно оказался с нами за одним столом в одной из «столовок» Челябинска. «В Индию», — ответил тот и не удостоил нас дальнейшим разговором. Эта надменность была одновременно и еврейской, и польской. У каждого есть свои причины не понимать другого. Но лучше преодолевать эти препятствия, чем их культивировать.

Впрочем, со ста тысячами я встречался потом не раз. Этот рассказ ходил буквально повсюду. Один еврей пришел на базар и скупил у кого-то всё мясо (или мед, или масло), его задержали и тут-то у него нашли эти сто тысяч (иногда миллион, иногда чемодан денег). Это происходило в Челябинске, в Аше, в Уфе, в Ташкенте и вообще везде, где были эвакуированные и не хватало продуктов, где цены на продукты непрерывно росли. Ведь эвакуированные последнее отдавали за продукты, а все их последнее было при них. Впрочем, могли быть и похожие случаи. Например, в нашем цехе работал человек, подобравший пачку сторублевок возле минского госбанка, когда туда попал немецкий снаряд, и эти пачки разлетелись вокруг банка. Правда, подбирали их не только евреи. Но он не скупал на базаре «все продукты».

Были среди евреев и подпольные дельцы-миллионеры, но вряд ли они расхаживали по базарам с чемоданами денег. А самое главное — это то, что мой «папочка» не имел ни к тем, ни к другим никакого отношения, и меня зря обидели.

Впрочем, я никогда не вспоминал этих двух людей — машиниста и дежурного — с враждебностью. Всегда — с болью. Вот что такое власть пред-рассудка! Ведь в этих местах и особой враждебности к евреям неоткуда было взяться, здесь почти и евреев не было до войны.

Впрочем, слово «жид» бытовало.

— Ах ты, жидёнок! — ласково журил расшавившегося внука дед, хозяин квартиры, в которой мы жили первое время на Симском заводе (теперь — город Сим). — Погоди, придет жид, в мешке тебя унесет.

Тут уж и моя мать — на что чувствительна была к таким словам: всех, с кем ссорилась, считала черносотенцами — понимала, что в этом «жид» антисемитизма ни на грош. В цеху, где я работал и где рабочие были не местные, а эвакуированные, московские — это слово звучало не столь безобидно. Бытовало убеждение, что евреи в основном не работают, а торгуют газировкой. В настоящее же время они увертываются от войны. — Вон сколько их на заводе! На заводе евреев действительно было много, но в основном или те, кто работал на нем до войны, или всякого рода женщины или невоенно-обязанные, которым надо было где-то работать. Кроме того, сами рабочие тоже на фронт не очень спешили, а весьма дорожили броней, которую и давала их специальность, и нисколько этого не скрывали. Но при всей несправедливости общего

отношения, я почти не видел, чтобы к конкретному живому человеку относились плохо только за то, что он еврей. Например, почти никто не относился плохо ко мне, хоть я как раз был воплощением тех качеств, которые приписывались евреям: работал плохо (хоть и старался) и явно не годился в солдаты. Конечно, речь здесь идет об общей массе — выродки встречались. А где их нет?

Впрочем, дело было не только в выродках. Однажды, возвращаясь из столовой в цех, я столкнулся с начальником заводской лаборатории Борзовым, с которым до этого находился в отношениях вполне доброжелательных. Знаком я с ним был по заводской многотиражке, где я сотрудничал, и куда иногда заходил и он. Сейчас он находился в том среднем состоянии, которое на Руси дипломатично называется «быть выпимши». Я с ним приветливо поздоровался, но он вдруг нахмурился, как-то очень зло посмотрел на мои ноги, обутые в лапти,дохнул перегаром и заговорил неожиданно трезво и жестко:

— Прибедняешься?.. Лапти надел, а у самого, небось, модельные туфли в сундуке?.. Выгадать что-нибудь хочешь?

Мои лапти действительно производили впечатление: я был первым из эвакуированных, кто стал ходить в лаптях. Остальные, приехавшие организовано, с вещами, стали в них нуждаться немного позже. Произойди эта встреча месяца через два, такого разговора бы не было. Но что это меняет?

Не знаю, действительно ли он подозревал несметные богатства в моих сундуках, но его недоброжелательство ощущалось вполне реально. Оно

было совершенно искренним и вряд ли объяснялось одним лишь его состоянием. Я в этом почти уверен, хотя не разделяю местечковой убежденности, что если человек, до этого к тебе хорошо относившийся, поругавшись с тобой, обозвал тебя «жидом», то это значит, что он тебя ненавидел всегда, но только умел это скрывать. Впрочем, я и теперь не думаю, что в этом была сущность Борзова. Просто меня поразило, что так со мной разговаривает интеллигентный человек — я тогда всех людей с высшим образованием считал интеллигентами.

Только потом я понял, что это — не так. Не так вообще, и особенно у нас, где в результате культурной революции появилось уродливое явление, называемое советской интеллигенцией. Советская интеллигенция — это не интеллигенция в полном смысле слова, и мало общего у нее с интеллигенцией русской, которая и в эти годы много раз возрождалась. Отличается она тем, что ее высшее образование — это скорее профессиональная подготовка, а не образование. Оно лишено основ и не определяет культурного уровня, даже если оно гуманитарное. История советской власти неотделима от борьбы этой интеллигенции за власть, за место под солнцем, это интеллигенция выдвигенцев, основная неотрывная функция которых — двигать. Психология ее началась раньше, чем она возникла. Еще в 1921 году автор предисловия к «Смене веx» в числе недостатков сборника, который он приветствовал, как доказательство разложения в стане противника, не преминул отметить и то, что его авторы ничего не говорят о том, «как они собираются сотрудничать с новой интеллиген-

цией». Это в двадцать первом-то году! Кого он мог иметь в виду? Вероятно, недоучившихся студентов? Ведь новой интеллигенции-то еще не было! Но уже была озабоченность кадровым вопросом, т. е. вопросом о распределении мест у кормушки. Уже тогда их ум и сердце волновала проблема уравнения тех, кто знает и может, с теми, кто не знает и не может, чего можно добиться только при помощи власти. На этом замешана советская власть, сегодня это ей самой мешает, но изменить здесь что-либо она не в силах. Это значило бы изменить собственную природу.

А ведь человек, писавший это предисловие, — наверняка был интеллигентом — только претендовавшим на роль, которой ему без власти никогда бы не добиться. А уж дальше — пошло. В претендентах недостатка не было.

Сначала это были почти интеллигенты, недоучившиеся студенты, потом рабфаковцы и студенты советизированных вузов, учившиеся по упрощенным программам и сдающие упрощенные экзамены. Советская власть широко распахивала перед ними двери, плохо представляя, что должно происходить за этими дверьми. Сотни тысяч получали дипломы, какая-то часть — основы профессии, только тысячи приходили к культуре. Вся история советской власти связана с защитой этой как бы понарошке созданной интеллигенцией своего места под солнцем, своего права не соответствовать занимаемой должности. У этой прослойки есть даже свой выразитель — Кочетов, впервые в истории культуры оценивший мир и человеческую жизнь с точки зрения бездарного человека, возведший бездарность в ранг социальной категории, идейного

движения, в эстетический идеал. Безусловно не стоит отождествлять с этой прослойкой весь наличный состав так называемого «нового класса в СССР». В него входят и люди талантливые, такие, как Келдыш, но зависимость вторых от первых очевидна для всякого, кто хоть немного вращался в интеллектуальных кругах нашей страны. Именно эта интеллигенция делала всё для того, чтобы погубить «Новый мир» Твардовского, он мешал ей отнюдь не политически, а тем, что создавал эталон культурного уровня, который был ей недоступен. Роковой вехой, погубившей нашу страну, обыкновенно считают коллективизацию. И действительно, после нее трудно восстановить нормальные отношения не только в сельском хозяйстве, но и во всей хозяйственной деятельности общества. Однако не менее страшные последствия имеет и культурная революция, создавшая вышеназванную прослойку. Ей некуда деваться — она может нормально жить только в ненормальных условиях и будет оберегать их до конца. Как свою жизнь.

Однако я несколько вышел за границы темы. Просто я хотел сказать, что несмотря на высшее образование, уровень культуры начальника лаборатории мог вполне соответствовать этому разговору. Я вполне представляю человека, достигшего ощутимых успехов в изучении элементарных частиц, но верующего в то, что евреи пьют кровь христианских младенцев. Хамство, проявившееся в этом разговоре, органически присуще советской интеллигенции. Более того, сегодня она навязывает его всему миру — через своих представителей в ООН. Достаточно опять-таки вспомнить речи Федоренко после Шестидневной войны. Может быть,

он и знает чужие языки, свой он знает явно недостаточно.

Впрочем, антисемитизму сильно способствовал и материализм, поставленный на место религии, т. е. логика, из него вытекающая.

Некоторое время в нашей многотиражке работала машинисткой молодая женщина, жена фронтовика и будущая мать его ребенка. Жила она, естественно, очень тяжело — на дворе стояло лето 1942 года. Ко мне она относилась довольно хорошо, но к евреям вообще — с невероятной ненавистью. В основном она их ненавидела за то, что во время эвакуации ими были набиты все поезда. Трудно было в поезд сесть. Особенно ее возмущало то, что едут и старики: им умирать пора, а они едут, места занимают. Конечно, многое из того, что она говорила, можно отнести за счет ее состояния. Но только не самое страшное здесь — не логику. А не станет ли эта логика господствующей, не станет ли она проявляться не только по отношению к евреям или старикам, а вообще — в обращении людей друг с другом? Ведь эта тенденция — решать, кто имеет право на место под солнцем, а кто нет — уже появилась, а места на земле, говорят, и впрямь скоро будет не хватать... И приходят в голову мысли, что ведь когда-то так и было: побежденных просто съедали, а когда начались относительно либеральные времена, обращали в рабство — таким образом тогда руководствовались своими «жизненными и экономическими интересами». Не от этой ли безысходности берет свое начало святость всех патриотизмов на земле? Страшно от того, что светлая мечта человечества может на самом деле исполниться: бес-

смысленные войны исчезнут. Начнутся опять осмысленные — за то, чтобы съесть, а не быть съеденными. Когда про это думаешь, хочется «вернуть Творцу билет»...

Но я отвлекся. Разговор об антисемитизме был бы неполон, если б я не коснулся своей краткосрочной и бесславной службы в армии. Формально я туда был призван, но фактически пошел добровольно. Вот как это произошло. Мне очень хотелось попасть в военную газету — ибо я считал, что это единственное, на что я годен на войне. Понимая, что это непросто, я очень рассчитывал на помощь Эренбурга, с которым познакомился в Киеве перед самой войной (он потом этой встречи не помнил). Но для того, чтоб обратиться к Эренбургу, надо было попасть в Москву. С этой целью я подал заявление в один из московских институтов и получил вызов, с которым явился в райвоенкомат сниматься с учета. В военкомате меня предупредили, что если я уволюсь с завода, меня мобилизуют. Я сказал: «Давайте повестку». Мне ее и дали. Начальник цеха намекал, что смог бы меня и задержать. Но это означало уклониться от войны — я хорошо понимал, что никакой ценности ни для цеха, ни для завода не представляю. И согласиться на это — не мог. Все это правда. Более того, этой правдой я не горжусь. Ибо моя самоотверженность принесла людям одни хлопоты, ничего хорошего из нее не вышло. К армии я был все-таки негоден, и через два месяца это выяснилось: на комиссии я был признан годным только к нестроевой службе в тылу. После чего был демобилизован и послан на станцию «Самоцветы»,

где две недели проработал чернорабочим, а потом и вовсе был отпущен домой.

Два месяца службы в армии — едва ли не самый тяжелый период моей жизни. Ни по каким параметрам я к ней не подходил — особенно по физическим. Был нерасторопен, неловок, физически слаб. А вокруг были крепкие крестьянские парни, которым все это давалось легко и которые не могли поверить, что я не притворяюсь. Тем более рассказами об уклоняющихся евреях было полно всё кругом. У этих ребят было еще одно смягчающее обстоятельство. Со мной вместе служил парень, утверждавший, в доказательство того, что я «придуриваюсь» — что знал меня по «гражданке», и что я там был известный франт и ухажер (идеал, которого я не достиг и поныне). Я всегда поражаюсь, когда сталкиваюсь с прямой, осознанной и бескорыстной подлостью.

Остальных ребят — несмотря на то, что всем антисемитским басням они верили, а меня считали их наглядным доказательством, несмотря на то, что это меня оскорбляло и даже угнетало — я не считал и не считаю не только подлецами, но и антисемитами. Антисемит — это не просто человек с предрассудками, но человек, находящийся в этих предрассудках духовную опору, вырастающий из-за них в собственных глазах. Именно потому так много антисемитов среди закомплексованной «советской интеллигенции», как правило, не соответствующей занимаемому положению. Антисемитом там был только один человек, по его словам, кончивший когда-то пединститут и военное училище, но потерявший документы. Здесь он был старшим сержантом и помкомвзвода. Я всегда чувствовал

его враждебность, да он и не скрывал ее. Но никаких придирок по службе ни он, ни кто-либо другой там себе не позволял. За все эти два месяца я получил только один наряд вне очереди — и тот за какую-то провинность. Я был плохим солдатом, но всегда старался, а взыскания тогда накладывались только за нарушения дисциплины.

Безусловно, этот человек был пропитан пред-
рассудками. Но антисемитизм «советской интелли-
генции» — на них только опирается. Это видно на
опыте Польши.

Взрыв польского антисемитизма только отча-
сти связан с традиционным польским антисемитиз-
мом, хотя именно на это больше всего упирают ев-
рейские круги Запада, и именно от этого больше
всего открепиваются Мочары и Гомулки. Между
тем, он держится на том, что посты в номенкла-
туристическом государстве — являются единст-
венным капиталом и единственной мерой ценно-
стей люмпен-бюрократического мышления, а этот
капитал можно делить достаточно произвольно.
Этой мерой мерится всё — даже положение поэта
и художника. У государства, владеющего всем,
есть соблазн командовать и здесь — я имею в виду
не идейно-контрольное командование, а само до-
пущение к работе. «Кто он такой, чтоб писать о
товарище Сталине!» — заявил какой-то полков-
ник, начальник военной газеты, когда какой-то ев-
рей-литератор принес ему опус на эту тему. Ра-
зумеется, это крайность, теперь пока невозможная,
но это тайна тайн люмпен-бюрократической пси-
хологии: она, выражаясь языком Маркса, «стре-
мится абстрагироваться от таланта».

Все это в нашей стране было усилено многими другими факторами. Неверной национальной политикой Ленина, когда к евреям стали относиться как «к ранее угнетенной нации», и старались их компенсировать за прошлые века тем, что в силу многих причин евреев оказалось много в руководстве (а руководство всегда непопулярно), конечно, гитлеровской агитацией, а также вошедшей в кровь привычкой мыслить целыми категориями и многим другим.

Я прошу прощения у читателя за то, что так много внимания уделяю здесь еврейскому вопросу и антисемитизму. Тем более, что до сих пор в моей жизни и творчестве меня занимали другие «русские», тоже достаточно проклятые вопросы. Но сейчас, после арабо-израильской войны и отношения к ней советской печати, после всех фокусов Гомулки, я не могу о нем не думать, а значит, и не говорить. Я заявляю прямо, что оставаясь тем, кем был всегда, я тем не менее считаю себя заинтересованным в существовании государства Израиль — хотя бы потому, что могу добровольно туда — не ехать. Как, допустим, Кюхельбеккер не уезжал в Германию — потому что добровольно считал себя русским. Добровольно, а не потому, что ему некуда было деваться. Не говоря уже о том, что советское отношение к Израилю возмущает меня и просто, как всякого честного человека. Не вижу никакого противоречия между своим отношением к Израилю и своими чувствами русского патриота. Кстати говоря, антисемитизм является одной из самых угрожающих последствиями опасностей для России. Прежде всего он традиционно отвлекает внимание части народа и его — про-

шенных или непрошенных — руководителей от собственной реальности, от самосознания и связанного с этим высвобождения энергии и роста ответственности. Кроме того, человек, который может себе позволить преследовать человека за то, что он еврей, способен преследовать и других людей на столь же «серьезных» основаниях. Я хочу сказать, что антисемитизм воспитывает деятелей, опасных для страны и народа в целом. Разве может быть неопасным для страны негодяй, который несправедливо ведет вступительный экзамен в институт, решающий судьбу стоящего перед ним еще очень молодого человека? Разве качества, которые он в себе выработает, чтоб довести это грязное дело до конца, не будут проявляться и в других случаях? Поверить в это трудно.

Аналогии с процентной нормой здесь нет никакой. Тогда всю немалую грязь этого мероприятия брало на себя государство. Экзаменаторы же вынуждены были устраивать для евреев отдельный конкурс на отведенное им число мест. Сами они от этого не становились ни жуликами, ни палачами.

К вредным последствиям следует еще добавить и то, что любое будирование национального вопроса в нашей стране вообще опасно, ибо страна эта многонациональная, а такие действия усиливают все национализмы сразу. А национализмов в нашей стране много, и все они — разные.

Не помню, заявлял ли я уже выше, но я враг национализма. Любого. Это совсем не значит, что я нигилист в национальном вопросе. Национальная культура всегда представляет собой человеческий (а значит, и общечеловеческий) уровень, достиг-

нутый данной нацией, это национальное выражение общечеловеческого духа. Отрицать национальную культуру — значит отрицать культуру, как таковую: никакой другой культуры у данной страны и у данной нации — нет. И никакой другой связи с мировым духом. Не отрицаю я и национальную идею, но это вовсе не значит — что нация, превращенная в идею, это некая всеобщая идея, выработанная данной нацией на своем историческом опыте. Например, французская национальная идея породила множество великих людей и событий в других нациях тоже. Верю, что и русская (не человек сам по себе и не муравей в муравейнике, а человек в человечестве) тоже кое-что внесла в духовную сокровищницу человечества. Не каждая нация вырабатывает значительную идею, но это никого не унижает. Ибо сокровищница эта общая, а достоинство и заслуга человека — вещь сугубо персональная. Величие национальной идеи покрыть ничтожество отдельного человека — не может.

Национализм же всегда отчуждение, он антикультурен по самому своему существу. Но в странах социалистических и развивающихся он принимает откровенно люмпен-бюрократический характер. Например, в Китае. Это религия тех, кто бюрократическим путем хочет достигнуть психологического равенства с теми, кому он пока не равен. Оно и возвышенно, оно и приятно: с одной стороны, ты бескорыстный патриот, с другой — без особых хлопот можешь вдруг оказаться местным Бисмарком или местным Шекспиром.

Чрезвычайно интересно развитие подобных национализмов в нашей стране — я говорю не о

«буржуазных» национализмах (Прибалтика, Западная Украина и Белоруссия), фикциях других национализмов, а именно о советских. Таких, когда их сторонников всё советское устраивает, но просто есть жгучая потребность перераспределить портфели: мантии адвокатов и судей, профессорские кафедры и славу поэтов. Это бессмысленный и разрушительный национализм.

Парадоксально, но такие национализмы были усиленно раздуваемы самой центральной властью. Она-то их и раздула до сегодняшнего состояния. Прежде всего, своей кадровой политикой на окраинах, где малочисленная интеллигенция была очень скоро подменена малограмотными марионетками коренной национальности, которым и функционировать было необязательно: достаточно было сохранять важный вид, вкушать власть и материальный уровень. Работал, как правило, «русский заместитель». Так было не только в административной жизни, но в каком-то смысле в науке, искусстве и литературе. Но жизнь не стоит на месте. Фальшивые почести, которые вполне устраивали полуграмотного отца, совсем не устраивают его подучившихся, а иногда и просто образованных детей. Им начинает хотеться подлинной, а не игрушечной самостоятельности, повышения своей роли. В обстановке духовного вакуума это иногда можно принять и за высокие чувства, тем более, что роль очень заманчива, а об ответственности они не имеют представления: ведь народ — это только аргумент в споре, обоснование права на такую же советскую жизнь, но без «зависимости от Москвы». При этом все счеты к советской власти предъявляются России. Даже восточными украин-

цами, роль которых в становлении и поддержании этой власти преувеличить невозможно. Характерной страстью этих людей является гордость древностью своей культуры: как для людей полукультуры, это для них главный аргумент, словно как раз в этом все их права. Даже в русской культуре, достоинство которой как будто никому доказывать не надо, есть подобные явления: попытка историка Зимина доказать, что «Слово о полку Игореве» — произведение не XIII, а XVIII века, вызвала целую бурю возмущения, как будто он посягнул на честь России. Между тем, это может быть только правильно или неправильно, а русская культура существует сегодня независимо от этого факта.

Конечно, все это — мысли более позднего времени. В то время, о котором сейчас идет речь, они мне еще в голову не приходили. Просто русский народ, его душа, широта, быт, даже недостатки — покорили меня. И хотя, как я говорил, что-то в этом моем представлении было романтическим, но это «что-то» — отнюдь не всё. В чем-то оно было и ощущением реальности. И это реальное чрезвычайно расширило мои представления о жизни и о ее ценностях. Всё это отнюдь не отвращало меня от «мировой революции» — наоборот, я был уверен, что люблю этот народ именно за те его качества, благодаря которым совсем неслучайно его страна оказалась базой этой революции. Впрочем, жизнь — в том числе к тому времени и официальная — вовсе не была проникнута этой идеологией, да и я сам уже не очень в ней нуждался в повседневной жизни, я переживал свое открытие России. Что все те качества, которые мне так нравились — простота, размашистость, широ-

та — могут превращаться в свою противоположность, в жестокое равнодушие к ближнему — я понял намного позже.

Между тем, годы войны были и годами реального обнажения сталинизма как социальной системы. Может быть, на фронте это было не так заметно, всё стирала общая судьба, но в тылу всё было обнажено до крайности. Всё — это попытка создать сословное государство на новой основе.

Столовая директорская, столовая ИТР, столовая тысячников (т. е. рабочих, выполняющих нормы на 1000%*) — всё это как-то оправдывалось целесообразностью, но оскорбляло. Ведь это происходило на фоне общего голода, когда любой лишний кусочек хлеба в сознании превращался в целую буханку. Излишне говорить, какое впечатление на этом фоне производил банкет, данный дирекцией в честь посетившего завод начальника главка. Поражает спокойная уверенность тех, кто так делал, что так надо и можно. Как будто не лилось море крови якобы для того, чтоб этого никогда не было. Это была в некотором смысле реставрация, но вряд ли кто-нибудь из тех, кто стремился к этой реставрации, такой реставрации бы обрадовался. Конечно, кроме тех, кто вынужден был этим оправдывать свое сотрудничество с режимом. Истолковывать режим в свою пользу правые умели так же ловко, как и левые — хотя этот режим не имел

* 1000% — получалось или от введения приспособления, или от системы оплаты: квалифицированная работа оплачивалась большим количеством времени, чем на нее уходило (работа вообще оплачивалась количеством времени и расценкой за разряд, но это ничего не отражало).

отношения ни к тем, ни к другим. Основания у них были.

В этой связи вспоминается речь генерала Петрова — не того, который защищал Севастополь, а другого — на комсомольском собрании. В этой речи генерал очень хвалил старую армию, но не за боевые традиции и другие достоинства, а за дисциплину, которая мыслилась им как подобоострастие и чинопочитание. «Вы думаете, что ефрейтор сам себе сапоги чистил? — патетически восклицал он. — Нет! Сапоги он себе не чистил. Ефрейтор в армии был большой человек! (Генерал когда-то служил ефрейтором). И еще — возмущался он — говорят, что в старой армии солдата били. Разве хорошего солдата когда-нибудь били? Никогда! Били только нерадивого.» Дальше генерал переходил на современность. «И теперь бывает на фронте — его, подлеца, расстрелять мало за то, что он сделал, а ты его, ничего, палочкой!.. Помогает.» Речь генерала была встречена аплодисментами комсомольцев. Еще бы: — «Генерал, а такой простой». Да и в самом деле, генерал не был лишен обаяния и был по-своему талантливый человек. Кроме того, палочка действительно лучше расстрела, и вообще, я не собираюсь учить генерала, как себя вести на фронте, да еще в сложных условиях. Но эта палочка в применении к просто нерадивому солдату в тылу и сапоги ефрейтора выглядят несколько иначе. Иногда мне кажется, что если понять этого генерала и эти аплодисменты, станет — выражаясь языком Радищева — ясным «многое, доселе гадательное в русской истории». Но понять — это все-таки далеко не всегда означает только — осудить.

Большое впечатление производили на меня и разговоры рабочих в цеху. Поначалу они просто ставили меня в тупик. Прежде всего, никакого железного класса-гегемона в инструментальном цехе я не обнаружил. Революция волновала воображение только некоего Пашки Богомолова, мужчины лет под сорок, опустившегося, заросшего, жившего тут же под станком и не искавшего себе другой квартиры, всегда полупьяного. «Мне бы сейчас законы революции, — говорил он по всякому поводу, — я б ему (им) показал...» Он рассуждал почти так же, как Шолохов на каком-то съезде — не то писателей, не то партии... Остальных революция волновала мало, волновали их только несправедливости, с которыми они сталкивались. Договаривались иногда до того, что лучше бы немцы пришли, тогда бы хоть счёты можно было свести кое с кем (по большей части с кем-то случайным). Некоторые клялись, что при таких условиях больше работать не будут ни за что. Однако — работали. Несмотря на голод, холод, озлобленность. И очень радовались, когда началось наше наступление — регулярно в перерыв отправляли меня в редакцию, где по радио принимались сводки Совинформбюро, — узнать, какой город взяли. Даже МГБ очень мало внимания обращало на все эти разговоры. Впрочем, они, вероятно, имели на этот счет соответствующие инструкции — смотреть на все это сквозь пальцы. Кому-то ведь надо было работать.

Общение с этими людьми было для меня чрезвычайно полезно, обогащающе. Я навсегда отучился от всякого самомнения и всякой надменности по отношению к «простым» людям. Это произошло не от взглядов, а от ощущения реальности.

Сплошь да рядом этот простой человек оказывался во многих отношениях тоньше, умней, талантливей и благородней, чем я: он понимал и действовал там, где я только ошеломленно смотрел на всё, как баран на новые ворота. То, что бывает и наоборот, ничего для меня не меняет. Ибо какая область важнее — знает только Бог. Таким образом, война дала мне ощущение не только реальности, почвы, Родины, но и собственной личности. Ибо я и сейчас убежден, что без такого отношения самосознание почти невозможно. Даже то, что в армии я не мог соответствовать не только требованиям начальства и устава, но и собственным требованиям, и что это как бы перечеркивало меня в собственных глазах, но не могло зачеркнуть до конца — как-то способствовало этому. Кстати, именно в это время я стал осознанно ценить и интеллигентность, благородство, чистоту помыслов, простую порядочность. Впрочем, и это не колебало моего мировоззрения: революция, как известно, связана с интеллигенцией неразрывно. Я сам еще не знал, что это во мне работала другая тема — тема России. Всё это — смятение, патриотизм, мировую революцию, неудачу с военной службой и с попыткой стать рабочим — всё это вместе я привез с собой в Москву, когда впервые в жизни сошел на перрон Казанского вокзала.

Конечно, я волновался. Здесь мне снова — в Киеве меня многие «признавали», но это в детстве — предстояло доказать себе и другим, на что я способен и что могу. За вокзалом меня ждал незнакомый, но родной город, город литературных и всяких иных легенд, интересные люди, серьезные разговоры и — что греха таить — захватыва-

ющая душу настоящая борьба за правду. Я чувствую, что само перо тянет меня к автобиографическим подробностям, но постараюсь этому не поддаваться: на это сейчас нет времени и других условий.

Я подошел к периоду, едва ли не самому трудному и серьезному в моей биографии. Действительно, тогда, в Москве, — я прожил там четыре года: 1944, 1945, 1946 и 1947, в самом конце которого, а именно 20-го декабря, в День чекиста, я был арестован — началась по-настоящему моя духовная и интеллектуальная жизнь. В этот период я встретил многих из тех, с кем дружил всю жизнь, исповедовал разные — иногда прямо противоположные — взгляды, совершил большинство тех поступков и передумал большинство тех мыслей, которых стыжусь до сих пор. Но все-таки я был одним из очень немногих представителей моего поколения, находившихся с этим страшным временем в личных отношениях. Это конечно, не могло не отразиться и на моих стихах, что и привело меня на Лубянку в январе 1945 года. Впрочем, тогда со мной ничего страшного не случилось. Я потому и употребляю слово «привело», потому что меня не арестовали и даже не вызвали. Вышло так, как будто я сам напросился. Вот как это произошло.

Почти с первых дней своего появления в Москве я начал усиленно посещать литературные объединения и читать на них стихи. Производили они тогда впечатление взрыва, ибо резко отличались от всего, что было вокруг. Собственно, дело было даже не в политических позициях, а, скорей, в пафосе правды и смысла, в пафосе судьбы поколения, окончание детства которого совпало с го-

дами чисток. Позиции мои были разные, иногда я даже эти чистки оправдывал или прощал, но я говорил о них вслух, с трибуны, а это было неслыханно. Почему я это делал — не знаю, самому страшно вспомнить, однако это было. Вряд ли я не понимал, чем это должно кончиться, но меня — несло. Результаты не замедлили сказаться. Месяца через два-три после начала этой деятельности вокруг меня начала образовываться пустота. Люди, которые еще вчера интересовались мной, были со мной приветливы, вдруг начинали избегать меня, комкать разговоры, отменять встречи. Несмотря на всю свою неопытность, я не мог не чувствовать, что происходит. Можно сказать, что я уже примирился со своей судьбой. Но вдруг на одно из занятий объединения при издательстве «Молодая гвардия» явился Крученых с молодым человеком и попросил, чтоб каждый из присутствующих прочел по стихотворению. Началось чтение. Когда первые два-три человека уже отчитали, Крученых неожиданно спросил: «А кто здесь Мандель?». Я польщенно отозвался. «Прочти про декабристов!» — приказал он. Когда вечер кончился, ко мне подошел его спутник, познакомился, дал свой телефон и попросил заходить. Я пообещал и тут же забыл об этом. Однако через некоторое время пришлось вспомнить.

Дело в том, что тучи надо мной продолжали сгущаться, я это чувствовал и нервничал, хотя как будто ничего не происходило. В один из таких дней я опять встретил Крученыха. На этот раз действительно случайно — на улице. На дежурный вопрос: «Как живёшь?» — я прямо ответил: «Плохо». И пояснил: «Скоро посадят». Дело в том, что я

уважал Крученыха как бунтаря и футуриста и поэтому доверял ему. Крученыха мой ответ не удивил. Он не стал меня разубеждать, только посоветовал позвонить Х (т. е. тому молодому человеку, с которым он был в издательстве). «Может быть, он тебе поможет», — сказал он. Я так и сделал — позвонил и пришел. Х, выслушав меня, сказал, что помочь мне может только Сталин, если убедится, что я человек действительно талантливый. Так что мне надо переписать все свои лучшие стихи — независимо от направленности, а он, Х, уж найдет способ их передать по назначению. Не думаю, чтоб я очень поверил в это, но терять мне было нечего — я согласился.

Впрочем, такое мое поведение диктовалось не одним только страхом, хотя и его хватало. Дело было и в радостном чувстве победы, которое объединяло меня с другими и, казалось, многое и объясняло, и списывало, и в смутном ощущении, что ценность революционных позиций, с точки зрения которых я сужу современность, весьма относительна, и во многом другом. Во мне уже медленно, но верно начался поворот к сталинизму. Обстоятельства, о которых я рассказываю сейчас, только ускорили его.

Через несколько дней после первого разговора я отдал Х-у тетрадь со стихами. При следующем разговоре он куда-то позвонил по телефону, а потом передал трубку мне. «Скажи, что ты запутался», — прошептал он мне. Нечто подобное я и пролептал. Мне была назначена встреча. Оказалось, что на Лубянке. Впрочем, нечто подобное я и подзревал.

Ничего особенно плохого из этой встречи для

меня не вышло. Наоборот, люди, которые со мной разговаривали, помогли мне получить документы (свои документы я потерял и жил в военной Москве 11 месяцев без всяких документов), «посоветовали» Литфонду выдать мне костюм и обещали, что на этот раз меня примут в Литературный институт, куда я до этого не был принят по политическим причинам его либеральным директором Гаврилой Романовичем Федосеевым.* Я же обещал, что больше ничем подобным заниматься не буду, и обещал искренне. Меня действительно начинали интересоваться другие вещи.

Почему они ко мне тогда так отнеслись, сказать не могу. За стеной этого дома, куда меня вызывали, в камерах, сидели люди, имевшие за собой гораздо меньшие грехи, чем я. И не только сидели, а получали большие сроки. А обо мне — «заботились». Но это было именно так. Может, у МГБ была графа: «воспитательная работа», и они провели меня по этой графе — не знаю. А может быть, действительно Х хлопотал.

Поразительно то, что если последнее верно, то и сел я через два года в тюрьму тоже по причине хлопот. Сын генерал-полковника Телегина, Константин Телегин, которого тогдашний директор института ни за что, несмотря на хлопоты влиятельного тогда отца, не хотел принимать в институт, возненавидел за это почему-то не Gladкова, а меня. В институт он был принят, но в отсутствие

* Принят я действительно был, но лично Федором Gladковым по его собственному произволу и письму Паустовского. Ему советовали меня не принимать, но он заявил: «Раз талантлив — примем». МГБ только не препятствовало этому.

Гладкова и на заочное отделение, и это его оскорбляло. «Меня не принимают, а Мандель — антисоветчик, но его приняли!» — жаловался он. И пользуясь связями — теперь я знаю это достоверно — привел машину в действие. А ведь в его показаниях обо мне, на вопрос, был ли он со мной знаком, дан ответ: «Мы были очень хорошо знакомы. Иногда даже здоровались». Что отнюдь не помешало ему сказать, что я ему известен как хитрый и скрытный враг, а конкретных фактов этому своему утверждению он привести не может только потому, что как хитрый враг свою враждебность я очень хорошо умел скрывать».

Но это было — через два года. А пока я цвел в труде «со всеми сообща и заодно с правопорядком». Ощущал я себя своим и потому вполне безнаказанным. Но не тут-то было. Примерно через год меня вызвали снова и дали «накачку» за то, что я читал где-то свое стихотворение о немецком мальчике, который со спазмами в горле следит за составом, увозящим станки в СССР. Я очень удивился, т. к. вовсе не считал репарации незаконными, а писал просто о трагедии человечества, у меня был, так сказать, «диалектический взгляд на вещи», острые проблемы. Но им этот мой диалектический взгляд, как выяснилось, нужен был, как рыбе зонтик. Думаю, что они перед кем-то за меня поручились, а теперь боялись. Но должен сказать, что никаких попыток превратить меня в стукача они не предпринимали.

Но тем не менее наша любовь была отнюдь не вечной. Через два года вокруг меня опять начала образовываться пустота. На этот раз я, как говорится, был ни сном, ни духом ни в чем не виноват и

не мог поверить, что это так. Чтоб проверить, верны ли мои подозрения, я опять позвонил человеку, которому когда-то сказал, что запутался, но он от разговора уклонился, намекнул, что, дескать, думать надо было раньше. Мне стало ясно, что это — конец, но в то же время это до меня не дошло. Ведь я на самом деле был тогда сталинистом. Где было знать, что никакие сталинисты Сталину не нужны, что ему необходимы роботы и люди, согласные изображать из себя таковых. И я воспринял как величайшую неожиданность и несправедливость, когда разбуженный ночью в общежитии, в подвале Дома Герцена, я увидел над собой «лазоревого подполковника», а в его руках — ордер на арест.

III

Как бы ни развивались мои отношения с правящей идеологией, был ли я ее адептом или противником, мои представления и взгляды — несмотря на то, что мыслил я самостоятельно — покоились на весьма ложном основании. Содержание моей жизни в эти годы составляли не поиски истины (они происходили, так сказать, подспудно, нецеленаправленно, почти неосознанно), а стремление эти ложные взгляды во что бы то ни стало соотнести с реальной жизнью, слова с делами и другими словами. Может быть, на фоне жизни, где не только не хотели, а боялись задумываться — это выглядело чем-то иным, тем не менее у меня нет никаких оснований предполагать, что я был в чем-либо лучше или выше других (если исключить некото-

рых писателей и поэтов). Это я говорю не из ложной скромности, а из верности истине.

Эта честная потребность веры, потребность в цельности — качества, в общем, похвальные, — в силу характера времени часто приводили меня к тому, к чему не пришел бы самый откровенный конформист и жулик — к восторженному приятию зла. Торжество зла они принимали, как данность, с которой приходится считаться, я — как откровение. Одно слово: „Plus royalist que roi!“

Именно это не помешало мне в 1945-46 годах вполне добровольно раза два общаться с эмгешниками и вести с ними интеллектуальные беседы. Сознаюсь, что мне было не противно, а интересно: я их считал своими единомышленниками. Впрочем, если говорить честно, эти люди, равно как большинство следователей, через два года ведших мое следственное дело, и не производили впечатления монстров и палачей. Настоящие монстры появились в кабинете следователя только однажды с тем, чтоб я назвал всех своих знакомых. Вопрос был глупый — я был знаком с половиной Москвы — но мне запомнилась невзрачность одного из них и порочно-красивое лицо другого. Первый был просто подленький дурачок, я его однажды видел в ЦДЛ, на вечере Литинститута, когда ребята меня подозвали к столику, за которым сидел малознакомый мне Телегин и один из моих товарищей по институту — потом его испуганные показания фигурировали в моем деле как показания свидетеля. Второй был жестокий циник. По некоторым описаниям, он похож на Рюмина, но я в этом не убежден. Чувствовалось, что мои следователи к этим визитерам относятся с молчали-

вым неодобрением. Впрочем, это не мешало им самим добиваться ложных показаний у других заключенных. Тем не менее они не были монстрами. Они были обыкновенными советскими людьми — такими же жертвами демагогии и террора, как все другие, хотя этот террор выпало осуществлять именно им. Когда я сказал бонвиванисту капитану МГБ, принимавшему участие в моем аресте, что как же так, я ведь не антисоветчик, он глубокомысленно заявил: «Но ведь репрессии необходимы» — видимо, им на политзанятиях так говорили. В том и ужас, что самые страшные дела на Руси делались руками самых обыкновенных, а иногда и просто хороших — т. е. совсем не расположенных к злу — людей. И так же, как и я, мои следователи и те, с кем я «общался» в 1945-46 годах, — придумывали себе философию, вполне оправдывающую их неблаговидную деятельность. И были, вероятно, отчасти благодарны мне за то, что я это делал с большим блеском, чем они. Но я это делал не для них, а для себя: в оправдании их деятельности нуждались все, у кого не хватало мужества и мудрости ее осудить.

Ни во время моего «общения», ни во время «следствия» я ни на кого из знакомых никаких «порочающих» его показаний не дал. Не могу сказать, что это потребовало от меня героизма — от меня этого не очень добивались. И говорю я об этом сейчас для того, чтоб сообщить не об этом нормальном факте, а о том, что, как это ни глупо, это стоило мне мук, но отнюдь не физических, а только моральных. Далеко не все мои знакомые придерживались моих новых взглядов и — не смотря на то, что знали о моих хождениях в МГБ

(тем более, я о них говорил всем и всякому, даже фактически написал в стихах) — мне доверяли по-прежнему и спорили со мной. Согласно моему революционному моральному кодексу — в то время уже достаточно архаичному — я обязан был, если не прямо донести на них, то уж во всяком случае, честно ответить на поставленный вопрос. Формы классовой борьбы, адекватность которых данному историческому моменту была гениально угадана великим Сталиным, требовали насильственной монолитности. Всякая сентиментальность тут автоматически исключалась — с моего согласия, конечно. Но дать такие показания я тем не менее не мог. Я считал, что веду себя неправильно, позорно, мелкотравчато, я брал грех на душу — но выполнить это условие моего морального кодекса тем не менее был не в состоянии. Спасло меня и то, что в какой-то момент я почувствовал, что все они винтики машины, — очень в данный момент нужной, но все-таки машины. И несмотря на всю мою разложенность диалектикой — ядовитая это штука, позволяющая ко всем вокруг относиться «диалектически» и «творчески», т. е. равнодушно — всё во мне воспротивилось этому. Не знаю, как бы я жил, если в какую-то минуту мои воззрения победили мою природу? Меня Бог спас.

Несмотря на то, что я был таким страстным сталинистом, должен честно сознаться, что самого Сталина я не любил никогда. Ни его самого, ни обстановки, которую он создал в стране. Тем не менее, в силу причин, которых я касался выше, в силу того, что мировой революции способствовал именно Сталин (присоединяя к «ней» страну за страной), я считал это отсутствие любви к нему

своим крупным недостатком, просто недостаточностью. Я заставлял себя любить его, и нет ничего удивительного, что эта рассудочная любовь оказалась без взаимности. Сталин любил, чтоб его любили в установленных формах, а никак не самостоятельно.

Вообще тогда в моей душе господствовали две стихии: «Революция и Россия». Революция для меня была связана с некоторой устремленностью, с активностью, Россия — с чем-то, умеряющим страсти — с соразмерностью, с почвой, с земным воплощением духовности. Эти стихии, скорее, боролись во мне, чем мирно сосуществовали, но все же они странно взаимодействовали в моей душе. Казалось, что Сталин открыл Россию раньше меня (потом я понял, что открыл не Россию, а способ эксплуатации ее недостатков): в то время, как я эстетически наслаждался собственной революционностью, другие грубо, единственно возможным способом, делали то, что надо. «Потому что они мужчины, — думал я про себя, — а не отщепенцы и слюнтяи». А каждому мальчику страшно быть немужчиной. Странное было представление о мужестве в те страшные годы.

В среде интеллигентской молодежи оно представляло собой некое сочетание духа процветания и страха. Впрочем, одно от другого неотделимо. Вспоминается повесть чешского писателя Сватоплука — о заводах Бати, где рабочих уверяли, что они — настоящие мужчины, которые всё, что им нужно от жизни, могут взять сами — без социализма, профсоюзов и солидарности. И многие верили этому. Представьте себе человека с подобным самоощущением в момент, когда его вдруг выбра-

сывают на улицу, и вдруг оказывается, что он не такой уж «одиноким зверь», не такое уж «воплощение мужества и силы», как ему казалось, что другие «одиноким звери» сегодня плюют на его судьбу совершенно так же, как он сам вчера на судьбы всех до этого «оказавшихся» недостаточно сильными личностями и так же считают, что он сам виноват и не заслуживает лучшей участи. «Не умеет брать от жизни все, что надо». А ему даже возмутиться нельзя — сам от всего человеческого отказался. Приблизительно в таком положении оказался и я, попав на Лубянку.

Я тоже считал себя сильным и любил свою силу. Одна только сила, согласно моему тогдашнему убеждению, в «наших трудных условиях» давала возможность (и право!) сознательно и творчески участвовать в жизни, а не превратиться в навоз истории, который хотя и исторически (и трагически тоже — так я тоже думал, я любил трагедию) необходим, но становиться которым мне не хотелось, и я по праву сильного «имел право» не становиться. Эта апология силы и жестокости вовсе не насаждалась официально (те, кто творил жестокости, вовсе не стремились сводить концы с концами, они просто их отрицали), но она сама вытекала из общей обстановки, из желания жить осмысленной жизнью. В моем представлении возникал некий орден посвященных, некое новое дворянство, которое пронесит сквозь жизнь, но не проявляет открыто — всё те же идеалы революции, и надо только завоевать честь принадлежать к этому ордену. В каком-то смысле это было странным отражением того, что тогда возникало и в жизни. Я уже говорил о попытке Сталина создать

сословное государство, а значит, и свое дворянство. Но только в каком-то смысле. Ибо в жизни честь принадлежать к этому ордену сплошь да рядом завоевывали люди, отнюдь не «революционные» и вообще недостойные какого-либо дворянства, но это, конечно, меня не останавливало. Я был марксистом и хорошо знал, чем отличается частное от всеобщего.

Это мужество (в основном это было мужество по отношению к чужим несчастьям) в сочетании с диалектикой могло преодолеть все противоречия на земле. Как я уже говорил, я не мог верить, что Бухарин шпион и что он убивал Ленина. Но я верил, что сейчас (ох уж это вечное «сейчас»!) говорить так надо из тактических соображений, ибо такие люди, как он, объективно (опять много крови оправдавшее и много лжи утвердившее словечко) вредны, потому что революция пошла другими путями, которые не могут стать для них приемлемыми. Т. е. опять потому, что у них не хватило пресловутой силы. Силы! Силы! Силы! Получалось, что (во имя торжества мировой революции в России) необходимо, чтобы человек, не желающий быть вышеупомянутым навозом, должен становиться вариантом белокурой бестии. Правда, этому я придавал романтическую — в духе Гумилева — окраску: нужно быть сильным, чтобы оберегать женскую нежность и прочие духовные богатства жизни, «охраняя железом до времени рай, недоступный безумным рабам», — но суть от этого не менялась. Конечно, смешно, что этот романтический культ сливался с образом руководящего работника, насаждавшегося, как идеал, по официальной воле — героя всех тогдашних

книг и фильмов (из которых не все казались мне тогда плохими). Но что поделаешь! В закрытом обществе создается своя искусственная шкала человеческих и эстетических ценностей, своя печка, от которой танцуют. И очень тяжело дается человеку такого общества реальная шкала, реальная иерархия ценностей. Я — первый тому пример. И все-таки я думаю, что, несмотря на всю свою абсурдность, все вышеприведенные мысли и настроения были определенной вехой моего развития, шагом на пути к возврату к реальной шкале, реальной иерархии ценностей. Даже эта дешевая «религия мужества» в каком-то смысле пошла мне на пользу. «Белокурой бестией» я все равно не стал, но навсегда отучился от эстетизации слабости: от романтизации неудачной любви, несчастья, жалкости, поверженной справедливости, от того гнета местечковости, который всё еще довлел надо мной. Я и теперь считаю, что это хорошо.

Человек, защищающий справедливость и другие человеческие ценности, не может себе позволить быть жалким. Несчастливым называется не тот, у кого случается несчастье, а тот, кто чувствует себя несчастным, у кого самосознание несчастного человека. Это, конечно, не значит, что можно не сочувствовать чужой беде, человеку в несчастье. Да и вообще всё имеет пределы. Как бы ни выглядел человек в руках палача, что бы тот ни заставил его сказать или сделать — жалок не человек, а палач. И забывать об этом — грешно: это слишком выгодно палачам. Мысль эта принадлежит не мне, она содержится в одной работе, почти не ходившей в Самиздате. Но я ее полностью разделяю.

Но здесь речь идет о мужестве как о внутренней устойчивости, о самостоятельности, а не как о «завоевательности» «сильного мужчины». Этот почти так же жалок, как и палач. Кстати говоря, идеология маленького человека, т. е. человека, согласившегося считать себя маленьким (а значит, кого-то большим) — обратная сторона идеологии сильного мужчины. Маленький человек — это «сильный мужчина», запросивший прощенья. С настоящей скромностью это не имеет ничего общего. Ведь это отсутствие претензий не на внешнюю роль, а на внутреннюю ответственность за жизнь.

Чрезвычайно комическое впечатление производил такой «сильный мужчина» в нашей стране. Для того чтобы быть сильным, иметь сильные позиции в жизни, необходимо было пресмыкаться и... бояться даже собственного чиха. И, конечно, угодливо лгать. Не признавать ложь нужной, как я, а лгать ежедневно и ежечасно, жить во лжи, окончательно потерять себя. Я этого не умел. Я был два года сталинистом, но сталинистом с большевистской идеологией и психологией, что и определило ряд моих неудач — прежде всего арест: сталинизм не терпел раздвоенности. Тем не менее и моя жизнь не обошлась без падений. Эти падения серьезно усугублены для меня тем, что всему, во что я падал, всему, перед чем мне приходилось в связи с тогдашними формами жизни отступать, я придавал высокий духовный смысл. А ведь всё от стремления к духу и истине. Странно проявлялось в те годы стремление к истине — заводило всё дальше в ложь.

Большая вина за прегрешения, подобные моим, лежит на романтической литературе 20-х го-

дов, которой я очень долго увлекался. Литература эта создана в основном не большевиками, а «попутчиками», со страху — чтоб принять то, что принять нельзя — и создавших революционную романтику и диалектическое отношение к жестокости. Эта литература выглядела почти взрослой, почти серьезной, почти интеллигентной, почти убежденной. Она писала, верней, изображала правду. Только без ее существенного элемента — без правды естественных критериев. Она как бы легализовала уход от них. Потом она стала вспоминаться, как эпоха «штурм унд дранга» и яркого творчества, но просто ее лакейство перед грубой силой было гораздо тоньше, тлетворней и соблазнительнее, чем прямолинейное лакейство поправших ее тридцатых. Но попрание критериев, позволившее этой последней воцариться, произвела именно она. Ответственность лежит на ней, а не на том, что было потом.

Играла свою роль и более примитивная литература — всякие книжонки о сознательных и дружных пионерах, непрерывно занятых сознательной помощью взрослым в их созидательном труде и борьбе с врагами. Ах, какие голубые это были дети, как переполнена была сознательностью и идейностью их жизнь — не то, что у ребят из нашего двора. Везет же людям. Я вырос в ощущении, что такие дворы, переполненные такими ребятами, есть везде, где меня нет. Такой уж я невезучий. Вероятно, соответствовать такому идеальному двору и искать его я пытался еще довольно долго и после детства. Так что не надо думать, что такая литература совсем недействительна. Вос-

приимчивость — хорошее человеческое качество, но оборотную сторону, как видите, имеет и она.

Но какие бы насилия я над собой ни производил, все же, как я думаю (да уже и говорил об этом), одно положительное качество у меня было: я писал и говорил правду, я всегда интересовался тем, что для меня правда и почему это правда... От чтения моих стихов даже того времени, не возникает ощущения благодущия и успокоенности их автора. А ведь именно этим отличались стихи многих моих сверстников — причем совсем не обязательно все они были и оказались бездарными рифмоплётами. Они писали честные стихи о войне, со множеством реалистических деталей, с ощущением ее трагедии. Иногда эти стихи были даже очень яркими. Не имели они только одного — отпечатка личности, имеющей к жизни определенные претензии, т. е. не имели определенного представления жизни, определенного, простите за банальность, эстетического идеала. И поэтому, когда было сказано: «хватит о войне», многие из них заплескались, как рыбы на берегу. Пошли образные стихи о каменщиках и металлургах и бликах солнца или мощных ламп, играющих — для художественности — на орудиях их труда (чем они собственно только и отличались от стихотворцев типа Софронова и которые обходились без этих признаков художественности). Почему-то считалось, что от самих этих признаков появится глубина содержания. Короче говоря, было что угодно, но только не обобщение, не дух, не откровение. Не было ничего этого и в большинстве стихов о любви, которая вне любящей личности и вообще-то превращается в пустой символ. Не последнюю роль в таких стихах,

в их обеднении сыграл и культ мужественности, о котором я уже говорил. На практике он выродился в культ бесчувственности. В трех соснах этой показательной мужественности не раз запутывалось и мое чувство, и моя лирика. Иногда я прорывался сквозь это. Тогда что-то получалось.

Именно тогда я впервые столкнулся с эстетическим принципом, пришедшим к нам из предреволюционных лет и многих утешившим в двадцатые и тридцатые годы: «Важно не что, а как». В момент своего возникновения этот принцип тоже не был чересчур содержательным, в двадцатые годы он стимулировал предательский (по отношению к духу) натурализм, а в тридцатые абсолютно раздавленному писателю внушал, что у него все-таки есть какая-то своя область, где он не раб, а жрец (такой области не было). Думаю, что сильно помогали этой иллюзии не только Маяковский со своим «Как делать стихи», но и остальные — иногда большие поэты серебряного века, допускавшие наряду с глубокими и столь же неаккуратные высказывания, по сути, отрицавшие их же собственное творчество. Правда, они все эти вещи понимали сложнее, и у них было главное, как бы вынесенное за скобки, но все-таки пошлое, прямолинейное, претенциозное слово — новатор — относится к их словарю.

Странную роль в моей жизни сыграл марксизм. Мыслить я научился (если научился) — при его помощи. И в этом нет ничего удивительного. Ложная или неложная это система, но это система мысли. Причем, система, связанная своими истоками со всей историей и культурой мысли, вполне — при отсутствии других коммуникаций — могу-

щая служить своеобразным мостом к остальной культуре. Даже проблема личности и ее взаимоотношений с обществом мне стала известна и понятна через марксизм. Вряд ли я теперь марксист. В марксизме меня не устраивает претензия на абсолютное понимание жизни и ее ценностей, вообще претензия на абсолютное знание, а также то — это сказал Сент-Экзюпери, — что он рассматривает человека только как производителя и потребителя. Впрочем, если верно, что никакая теория сама по себе не наделяет человека личной мудростью, не спасает его от непонимания жизни и ее смысла (и даже просто смысла произносимых им самим слов), верно и то, что любая теория, если она честно пытается что-то понять и объяснить, даже если он ее потом отбросит, как неудобную, — может открыть дорогу к мысли человеку, который этого желает. Уже тем, что она его в этот мир вводит. Меня марксизм научил прямо противоположному подходу к человеку, чем тот, который справедливо увидел в нем Сент-Экзюпери. Мне он открыл дорогу к тому, что, по мнению многих, — нельзя сказать, чтобы бесосновательному, — он прежде всего отрицает: к Духу.

Через марксизм же я прикоснулся впервые к философии истории и — правда, это факт моей биографии — к России, ее истории и смыслу ее истории.

Но пока это более точное понимание ценностей, в том числе ценности собственной личности не толкало меня и многих других глубже в оппозицию. Наоборот, именно это заставляло нас мириться с ужасами сталинизма как с объективно-исторической необходимостью. Ибо никто не сом-

невался в том, что личность, идущая против воли истории, терпит крушение — прежде всего, как личность. Это положение никем вокруг меня под сомнение не ставилось. И вот получалось, что грубый, низколобый, низменный человечек непостижимым образом становился носителем этой необходимости, от которой зависели не только наши судьбы, но и ценность нашего внутреннего содержания. Ибо протест против выражаемой им «необходимости» столь же мистически превращал нас в наших же глазах в мелкотравчатых и провинциальных носителей мещанства, в тот же самый навоз истории. Марксизм весьма располагает к как будто не вытекающей из него ницшеанской психологии.

Конечно, он озабочен только массами, их решающей ролью в истории. Массы — господин, всё остальное только им служит. Но если вдуматься, этой решающей роли не позавидуешь. И нет более страшного наказания для большевика, чем вернуться обратно в массы, в народ. И это естественно: обидно быть бессмысленным, бессловесным, хоть и главным актером истории, неотличимой каплей мирового океана, глиной в руках лиц, «понимающих законы истории». Другое дело быть — ну пусть не руководителем, пусть выразителем этих масс, их исторической роли. А для этого эту роль надо выражать правильно. Так что — с исторической необходимостью лучше не ссориться, а то сам себя в навоз произведешь и навозом признаешь.

Но в то же время — несмотря на такой фатализм — разговоры об исторической необходимости были для нас единственной отдушиной, через ко-

тору ю мы позволяли проникать в наше сознание реальности, ибо она была как раз тем, чем в о и м я исторической необходимости следует пренебречь. Вот и говорили (а я писал), чем именно следует пренебречь. Эта забота об истории и ее необходимостях была не более, чем духовным извращением. История сама о себе позаботится, если что-либо будет ей необходимо. Мы же должны заботиться только о добре и красоте. И, конечно, о правде.

Но эти искания и искажения отнюдь не были всеобщими. Большинства народа они вовсе не касались. Почти совсем свободна от них была — хотя по другим причинам — и люмпен-бюрократия, о которой шла уже речь выше. Я употребил уже этот термин, касаясь вопроса о так называемой «советской интеллигенции», которую, строго говоря, правильней называть «люмпен-интеллигенцией». Провести четкую границу между «люмпен-интеллигенцией» и «люмпен-бюрократией» невозможно, ибо первая питает и поддерживает вторую. В сущности, правители, не умеющие управлять (но компенсирующие это той или иной формой террора), не так уж сильно отличаются от учителей, не умеющих учить и не знающих своего предмета (но опирающихся на идеологическую фразеологию и интриги, т. е. на ту же власть, на тот же террор). С каждым годом их становится все больше. Единственное нормальное положение для них — это когда положение ненормально. Одна карагандинская дама, жена работника КАРЛАГа, любящая мать, в очереди говорила другой такой же (когда объявили о прекращении дела врачей и о злоупотреблениях органов бывшего МГБ): «Хоть бы лаге-

ря еще два года продержались — детей на ноги поставить».

Думаю, что этот «класс» давно перестал быть явлением только советской (или стран социалистического лагеря) жизни. Например, к нему определенно относится английский рабочий (что это значит?) композитор Алан Буш, который сегодня, в дни оккупации Чехословакии, — выступает даже против своего, весьма осторожного руководства, которое все-таки осудило эту оккупацию. Он ее безоговорочно поддерживает: «Я бывал во всех восточноевропейских странах и знаю, — говорит он, — что интеллигенция любой из них, кроме Болгарии (видимо, в Болгарии с ним не откровенничали), проникнута контрреволюционными настроениями». Обратите внимание на логику: человек обнаружил «настроения», не потрудился поинтересоваться, откуда они берутся, насколько они основательны с точки зрения жизни в этих странах, а действует по принципу: «Обнаружил — дави!» Знакомый принцип?

Откуда такой коммунистический раж у человека, живущего в Англии? А оттуда, что композитором он может быть только с помощью государства. Эта помощь в социалистических странах ему, как «хорошему человеку», была обеспечена, а при Дубчеках он вполне мог бы ее лишиться (зачем чехам, в том числе чешским рабочим, какие-то особые рабочие композиторы?). Пришлось бы остаться один на один с музыкой, как в Англии. Ему этого, поверьте, не хочется.

Я не утверждаю, что в этой своей логике он откровенен, люди его породы «о себе обычно не думают, а только о других и об общем деле», но на

самом деле они думают только о себе, но только скрывают это и от себя — честность мысли и откровенность самосознания не их добродетель.

Лично я предпочитаю откровенных жуликов. Они гораздо менее опасны, чем люмпен-бюрократы. Более того, когда среди люмпен-бюрократов встречаются жулики, то это среди них самые светлые личности. И, конечно, самые гуманные — взятки берут. Это гораздо лучше, чем отличающее люмпен-бюрократа — это особенно проявилось в дни танкового похода против чешской печати — чисто параноическое убеждение, что выгодное или приятное ему лично обязательно остро необходимо всему человечеству.

Впрочем, все эти термины и рассуждения пришли мне в голову гораздо позже, для этого нужны были жизненный опыт и зрелость размышлений. А тогда, в девятнадцать лет, мне казалось, что отсутствие у таких людей всяких сомнений, как и их спокойствие и невозмутимость, объясняются тем, что они знают нечто важное, основное, исконно-посконное, что мне абсолютно недоступно.

Я не пишу сейчас обвинительного заключения по их делу. Среди них есть люди хорошие и плохие, добрые и злые, умные и глупые, хотя нивелировка, которой они подвергаются, стирает эти различия, делает их несущественными. Но люди — есть люди.

Безусловно, они все вместе — явление сугубо отрицательное, может быть: смертельно опасное для своей страны, своих детей и всех людей на земле. Я не снимаю с них ответственности — каждый человек ответствен за свое поведение. Я только хочу сказать, что в их общественном поведении

повинны не они одни. Это не хрестоматийные злодеи, а обыкновенные люди. Они не виноваты, что революция открыла им слишком прямой доступ к власти и к культуре. Не виноваты они также в том, что неизбежные при таком быстром овладении культурой грубость и примитивизм представлений усугублялись для них еще тем, что и эти представления, и саму культуру они получили из рук Сталина, в сталинистском варианте, т. е. что грамоту они получили вместе с людоедством, что для них эти понятия — связаны. Сталина выдвинули и привели к победе — не они.

Противоречий своего мировоззрения и мироощущения они не замечали. Они были искренне преданы революции, открывшей им все дороги, и так же искренне стремились к собственному преуспеянию и благосостоянию, а также к власти. Последнее — в значительной степени потому, что она была для них единственным путем к этим благам. И благосостояние, и положение, и власть они воспринимали как единственную оплату своей бескорыстной преданности и необходимости. Причем преданности не чему-нибудь, а именно коммунизму, который был основой их официального мировоззрения, но который был от их мироощущения гораздо дальше, чем христианство от мироощущения самого отпетого мытаря. В то время господствующей психологией в стране была психология ограбленного крестьянина, которому наглядно показали на его собственном опыте, что ни законов, ни совести нет, но который любой ценой хочет приспособиться к этим новым, сумасшедшим, но совершенно непреклонным обстоятельствам. Для такого человека все громкие слова — только пра-

вила игры, только хитрое средство, применяемое хитрыми людьми для достижения единственно понятной ему и разумной для него цели — благосостояния. И, пожалуй, — это еще для него норма приличия иногда. Впрочем, конечно, не все достигали этого благосостояния именно таким путем. Большинство просто начинало промышлять всеми дозволенными и недозволенными способами, овладевали тем или иным мастерством, поступали в завхозы и т. д. Но я сейчас говорю не о них, а о тех, кто бросался, так сказать, в интеллектуальную сторону. И опять-таки из этого числа я исключаю людей, сделавших это по призванию — их тоже было много, но это другая тема: они разделяли участь всей остальной интеллигенции. Люмпен-бюрократами они становились только случайно. Но ведь были еще и люди, из числа которых во все времена и во всех странах (а они есть и должны быть во всех странах и во все времена, без них нельзя) рекрутируются чиновники и канцеляристы. Что оставалось им делать в середине двадцатых годов, как не изображать из себя (для себя тоже) — фанатичных коммунистов? Иного проявления для свойственного им стремления к верно-подданничеству и порядку тогда и быть не могло. А дальнейшие метаморфозы могли им быть даже приятны — разумеется, по близорукости. Они тоже растворились в люмпен-бюрократии и их дух присутствует в ней совсем не инертно.

Вряд ли нужно доказывать, что никакого отношения к идеологии и психологии революции («Церкви и тюрьмы сравняем с землей», «Пожар мировой революции», «Новые человеческие отношения») — все эти люди не имели и не могли

иметь. Они только приспособливались к этому. Но, сами того не понимая, стора от желания приспособить к новым веяниям душу и тело, они все-таки — чаще всего бессознательно (я уже говорил, что откровенность сознания им не свойственна) — только тем и занимались, что приспособливали их к себе. И это им удавалось, хотя ничем похожим на дьявольскую хитрость они не отличались. Просто уж слишком фантастичны и нереальны были требования, к которым они приспособливались, просто для того их и брали на службу, чтоб они это делали, просто те, к кому они приспособливались, — старые большевики, — в свою очередь (поскольку революция не делается в белых перчатках, а тактика — основной закон) приспособливались к ним. Тем более, что все ведь люди, все человеки — нужна стала и дачка (за заслуги, и возраст подошел), и хорошее бесперебойное снабжение среди голода (чтоб бытовые заботы не отвлекали от революционных), и многие другие привилегии — в основном мелкие и некричащие, на первых порах и даже странно подчеркивающие их принадлежность к революционному клану. Но эти привилегии с самого начала были изменой фантастическому Делу и подтачивали это дело, пока в конце концов, после полного торжества Сталина, от всего бывшего Дела не осталась одна оболочка названий, из которых был вынут всякий смысл. Тогда они сами стали главной сутью этого дела. Так идеологическое государство окончательно потеряло свою идеологию.

Сегодня, когда довольно модным стало справедливое разочарование в революции, находятся люди, — в основном «национально мыслящие» —

которые утверждают, что сталинизм был здоровой реакцией на безответственную фантастику, возвращением к реальности и национальным истокам, к пусть отвратительной, но привычной и «родной» национальной бюрократии. Оставляя в стороне вопрос о моральности такого отношения к вещам, к гибели миллионов крестьян и просто невинных людей (не одних же старых большевиков мучил и убивал Сталин), я утверждаю, что это не больше, чем самоутешение. Сталинизм действительно был связан с реакцией на революцию, но он не воплощал эту реакцию, а только использовал ее. Так же, как он использовал и боязнь этой реакции. Сталинизм — это воплощенная власть, власть для власти (это гораздо опасней, чем пресловутое «искусство для искусства»), это — как уже неоднократно здесь говорилось — идеологическое государство, лишившееся идеологии. Это значило не только то, что ему нечего было сказать другим, это значило, что ему нечего сказать и самому себе. В самом деле — какую бы политику ни вели цари, они всегда могли сказать, что исходят из блага Российской империи, Ленин — что он исходит из интересов мировой революции, базой которой он, по его представлениям, руководил. Сталин же завел в России такое государство, которое и самому себе не могло сознаться, чем оно является. Оно уже знало, что оно — не база мировой революции — как это ни нравилось романтической молодежи, нельзя же было слишком долго внушать такому большому народу, что его жизнь положена на алтарь проблематичного счастья других народов (которые к тому же отнюдь, во всяком случае тогда, не торопились последовать его примеру). Кроме

того, и самим нельзя было из-за этого портить отношения с другими странами и ухудшать свое и без того нетвердое положение. Но просто так — взять и объявить себя империей тоже было невозможно. Слишком много разных народов населяло тогда нашу страну, и отпадало основание их связи с Россией. Потом, всякая реставрация была бы на первых порах связана с реставрацией собственности и инициативы, а значит с ограничением собственной власти. А к этому партия (т. е. ее руководство) всегда относилась крайне болезненно по иррациональным, как я думаю, причинам. Просто никаких других ценностей, кроме безраздельной власти над всеми проявлениями жизни, — она не понимала. Кроме того, это значило бы остаться не только без идеологии, но и без всякого идеологического прикрытия, т. е. стать самим собой, вернуться к реальности и правде, а на такое сталинизм не был способен по определению. Вместо этого и выработался тот партийный язык, язык духовной прострации, на котором пишут и говорят советские деятели, язык, который спокойно и легко сопрягает несопрягаемое. Этот язык — система сигналов люмпен-бюрократии, при помощи которой она вполне квалифицированно обменивается информацией в своей среде. Это язык организации лиц, не соответствующих занимаемой должности и не желающих при этом от нее отказаться. Он очень приспособлен к тому, чтоб благодаря ему ни разу не проступила бессмысленность и противоестественность положения говорящих или любая другая реальность. Единственное, что этих людей выводило из такой прострации, был культ личности Сталина, религиозная вера в то, что уж ему-то все

концы и начала известны доподлинно. Он один принимает на себя всю ответственность за их поведение. Выражение «культ личности» не эвфемизм только тогда, когда речь идет именно об этих людях. Именно этот язык, «зовьетпартайшпрахе» — их единственное духовное достояние, заставляет их так активничать в подавлении культуры. Без этого языка они не могут. Не только потому что не сильно грамотны, а еще и потому, что нормальный язык неизбежно рано или поздно проявил бы правду их положения.

Итак, в основном я пишу о тех, кому революция — без должных оснований — открыла дорогу в культуру. О тех, кто знает только один способ обращения с культурой — руководство ею (но не о тех, кто в ней по-настоящему работает, откуда бы он ни происходил). О тех, кому трудно было ее освоить (а осваивали они ее положительно, но как «род занятий», а не как «дух»), но кому помогли стереотипные фразы, на страже которых он стоял. Например, о дипломатах, изучивших иностранные языки, но плохо и недифференцированно говорящих по-русски. Именно из этого типа людей образовался тип сегодняшнего сталиниста — сермяжного человека с разорванным сознанием. Тип генерала, поставленного Сталиным в невыносимые условия 41-го года, но яростно аплодирующего сегодня всякому упоминанию его имени. Не думаю, что этот генерал был трусом на фронте. Но я понял, чем отчасти объясняется непропорциональная разница потерь. Видимо, именно этот непрофессионализм влечет его к Сталину, ибо только в обстановке, созданной Сталиным, он и мог стать генералом.

Конечно, это не относится ко всем. И не все они обожествляют Сталина.

Причин победы сталинизма много. Прежде всего те пять хозяйственных укладов (психологических было много больше), о которых писал в начале революции Ленин. Были в России люди, которым тесны были рамки современной цивилизации, и люди, верившие, что мор может обернуться птицей и улететь. Теперь это все перемешалось. У каждой прослойки — даже не принимавшей революции — было свое о ней представление. Все это сталкивалось, искажалось, взаимоуничтожалось, и поэтому неудивительно, что за революцию можно было выдать всё, что угодно — даже сталинизм. И нет ничего удивительного, что многие из них не замечали никакого противоречия не только между национализмом и интернационализмом, но даже между прогрессом, представителями которого себя ощущали, и нищетой деревенских родственников, на труде которых держался весь их прогресс. Дворянское чувство вины перед народом не было им свойственно и в малой степени. Они-то и были в своих глазах народом и те, кому приходилось туго, страдали, по их мнению, только от своей же собственной несознательности, пьянства и плохой работы. Правда, они и сами бывали всегда непрочь выпить, но ведь они-то были сознательны! Гордясь наглядностью своего роста, иногда абсолютно непропорционального внутреннему и профессиональному, и одновременно тем, что происходят из народа (что давало им вполне одобряемые ими преимущества перед многими, например, перед евреями, но не только перед ними), они в то же время слегка и третировали его за некультурность и за неуме-

ние выдвинуться. Иногда свое стремление выдвинуться они отождествляли со стремлением к культуре (поначалу для многих это было, наверно, даже правдой, другое дело — потом). Не их вина, что в их глазах представление о ней навсегда связалось с развращающей эклектикой сталинизма, что казенный волапук официальной бумаги или статьи был для них таким же приобщением к богатству человеческой культуры, как для московских боярышен расхожая танцевальная музыка петровских ассамблей.

Я никого не собираюсь обелять. Каждый отвечает за то, что доступно его пониманию. А многие из них — особенно в последние годы — отлично понимали, что они делали, даже если усиленно себя уговаривали, что так надо. И никому из них не простится вторжение в Чехословакию под флагом абсолютно чуждого советской идеологии интернационализма. Панический страх перед свободой слова, проявляющей, как минимум, реальную степень умения каждого разговаривать с людьми, — не может служить смягчающим обстоятельством. Люмпен-бюрократическая протрация — опасна для существования жизни на земле. Сейчас это взрослые люди, и прощения им нет.

Но тогда, когда и мне, и им было по двадцать, когда они осваивали культуру, как ремесло и дело, когда помехи при вообще трудном процессе приобщения человека к культуре централизованно усиливались, когда казалось (и не только им казалось), что отсутствие личности — личное достоинство, приобщение к тайнам, классовое чутье или народная мудрость — тогда они были виноваты гораздо меньше. У кого, собственно говоря, они

могли научиться подлинной интеллигентности? У нас — у детей врачей, бухгалтеров и учителей, которые и сами жили в каком-то выдуманном мире и сами — что греха таить — были интеллигенты липовые? Наши родители обладали многими достоинствами, облегчающими наш старт: у них были пережитки порядочности (городской, в городских условиях более стойкой, чем крестьянская), некоторая привычка к начаткам абстрактного мышления, все же дававшим их детям представление о том, что такое мышление (а также и другие культурные ценности) — существует. Но как уже видел читатель, мы тоже были весьма далеки от свободной строгости мысли, от честности, а, значит, и убедительности ее. (Имеется в виду не намеренная ложь, а отсутствие желания делать выводы, которые вытекают из фактов). Для многих из нас энтузиазм или был оборотной стороной страха, или им надежно подкреплялся. Впрочем, и при декретированной свободе мысли свободной мысли бывает не очень много. Например, слепое следование модернистской традиции, тенденции к вечному насильственному обновлению искусства, при котором необходимо и нормально быть только гением, (ибо или ты произвел революцию, или ты бездарь) — тоже не имеет ничего общего ни со свободной мыслью, ни со свободным творчеством. Но все-таки здесь еще есть свободный выбор. А какая самостоятельность могла быть у нас, когда заданной оказывалась сама мысль, сам ответ, к которому насильно подгонялись вопросы? Какая могла при этом ощущаться за нами прочность, даже если мы верили в то, что это естественно? Люди, не задававшие себе вопросов, казались и были

тогда прочней и разумней. Хотя у каждого из них, как я теперь понимаю, тоже было о чем рассказать и о чем позабыть. Правда, это «что-то» лежало не в области культуры или культурной логики, но лежало достаточно глубоко. Они тоже кое-чем пренебрегли при помощи диалектики и прогресса. И если они стоят сейчас на своем, то только потому, что жизнь прожита, а ничего другого они не умеют.

Нет, учиться у нас им тогда, видит Бог, было нечему. Убедительностью тогда казалась убежденность, защищенность от сомнений, а в этом они нам давали сто очков вперед.

Так у кого же им было этому учиться? У родителей? Но ведь от родителей они как раз и уходили в город, от их, так сказать, отсталости и некультурности, от нетипичности их невыносимых жизненных условий, от их прямо противоположных официальным (в их представлении — сознательным, культурным) представлений о жизни. Где им было тогда понять, что такие «уходы» губят в них культуру предков, что несмотря на его темноту и неграмотность, у деревенского человека была своя культура отношения к жизни, к людям, к труду, к своим и чужим обязанностям и вообще культура представлений о должном и недолжном. Она складывалась веками, эта культура, кругозор ее был ограничен, недостаточен, но это все-таки была культура, накопленное духовное богатство, цельное представление о мире. И это все-таки было выше, чем отсутствие всякой культуры, всякого предания.

Конечно, трудно представления деревенской жизни приложить к жизни городской, интелли-

гентской. Крестьянин (или рабочий), исходящий в своей повседневной жизни из материальных стимулов, заслуживает почти во всех случаях всяческого уважения как серьезный и ответственный человек. Но этого никак нельзя сказать о поэте или социологе. Для них это бы было (и часто бывает) всякой потерей ответственности. Такое психологическое состояние Маркс в 1844 году назвал «грубым или казарменным коммунизмом». Это, по Марксу, такое состояние, такое мироощущение, которое распространяет представления частной собственности на всё в жизни и ненавидит всё — например, как говорилось выше, талант, — чем на началах частной собственности не может владеть каждый. Эти представления не только не выше, а много ниже представлений частной собственности. Таким образом, это не крестьянское, а люмпенское сознание, и имеет прямое отношение к люмпен-бюрократии, которую после вторжения в Чехословакию так и тянет назвать люмпен-империализмом.

Надо ли специально доказывать, что само крестьянское сознание при соприкосновении с культурой совсем не обязательно превращается в люмпенскую психологию. Очень многие люди вышли из деревни к самой подлинной культуре. Ярким примером этого может служить Твардовский. И не только он — Тендряков, Можяев, Солоухин, Абрамов и многие другие. Это если говорить о писателях. Но ведь не только в писатели шли эти люди. Для писателя в таких случаях его деревенское происхождение становится даже преимуществом. Сколько ни учишься, а все-таки в деревне наглядней, чем в городе, видно, откуда и как растет

жизнь. Сужу по себе: я — правда, недобровольно, — больше двух лет прожил в деревне. Это имело очень большое значение для формирования моей личности.

Но само по себе деревенское происхождение (впрочем, как само по себе дворянское и любое другое) автоматически никаких преимуществ никому не дает. Наоборот, пробиться деревенскому человеку трудней, а оступиться — легче.

Схематически это выглядит так: лучший ученик сельской школы, звучней, чем другие, читавший стихи, лучше всех писавший сочинения, ученик, которому все прочили великолепное будущее, — по прибытии в университет с горечью открывает, что весь его блеск здесь совсем не блеск, что по сравнению со многими другими он пока, как говорится, — не тянет. Это большой удар. Весь вопрос — хватит ли у него характера, мужества и честности осознать свое положение и постараться изменить его по существу, а не только внешне. Т. е. начнет ли он догонять тех, от кого в каких-то смыслах пока отстает, чтоб потом, может быть, даже перегнать их в этом, или у него ни мужества, ни терпения не хватит, а просто захочется всех перегнать сразу любой ценой. Тогда начинается движение по партийной линии или с помощью партийной активности, и как результат этого — комплекс неполноценности, злоба, зависть и ненависть... ненависть... Нечто подобное — еще задолго до революции — произошло с Нечаевым, когда из села Иванова, где он был из первых культуртрегеров, он прибыл в Катковский лицей в Москве (может быть, оформилось чуть позже). Всем известно, к чему это привело. В наше время

это тоже ни к чему хорошему не приводит. Впрочем, это касается далеко не только тех (и не их всех поголовно), кто происходит из деревни. Дело в том, что быть не шибко умным (или притворяться таким) — выгодно.

Я прошу прощения у читателя за то, что уделил здесь так много внимания проблеме люмпен-интеллигенции и люмпен-бюрократии. В те времена, о которых я пишу, я и не предполагал, что буду пользоваться такими категориями. Но, как и все вокруг, я сталкивался с людьми, которые к ним относятся. А поскольку они были людьми, они — т. е. их представления — оказывали влияние и на меня, их сущность находила тот или иной отзвук и во мне. В какой-то степени я тоже люмпен-интеллигент — только, надеюсь, поборовший в себе ростки этого состояния. В конце концов я тоже происхожу не из князей Волконских или Трубецких и тоже переходил из уклада в уклад, что-то везде усваивая, от чего-то везде отталкиваясь. Следы всего этого читатель, вероятно, может найти в моих стихах — это тоже относится к тому, что снижает уровень обобщенности, а, значит, и художественности многих из них.

Но чем бы это ни оправдывалось, это та мертвая вода эпохи, с которой мне приходилось всю жизнь бороться, чтобы жить. Это то, что всегда противостояло и противостоит поэзии. В каждой эпохе есть своя мертвая вода. Я думаю, что процент античеловеческого в человечестве пока почти не менялся, менялись только формы его проявления. Он был таким же и в дворянском обществе, и в буржуазном, и в нашем (не знаю, как его называть). Но менялись арифметические величины,

менялась арифметическая разность между количеством людей, могущих вообще сознательно участвовать в жизни общества, и количеством подлинно духовных людей из их числа. В дворянском обществе эта разность была немалой, в буржуазном — большой, в нашем — громадной. Тем выше роль культуры, тем необходимей обязанность ее защищать.

Всю жизнь я пытался отстаивать себя от этой нивелирующей тенденции, даже когда признавал ее оправданность и необходимость. Это вечная и естественная обязанность поэта. Не моя вина, что мое мышление приобретало форму революционную и большевистскую, как в средние века подобные вещи приобретали формы религиозные, а в современном Китае — формы борьбы за более точное следование линии Мао. Я не виноват, но это мое внутрибольшевистское мышление мешало мне понимать более вечное и важное — сущность духа и бытия, — то, без чего искусство превращается в ничто, самому себе противоположное. Именно поэтому я вынужден был уделить здесь такое внимание обстоятельствам, из-за которых это происходило и сквозь которые я пробивался к поэзии.

Но все-таки и до сих пор мне больше всего хочется писать, и писать стихи одновременно серьезные, легкие и глубокие, ибо в конце концов только это — подлинное искусство и подлинная духовная ценность. Но я не верю, что подобной гармонии можно достичь ложью, одним только сознанием, что она нужна. Более того, — я уже говорил об этом, — я верю, что она лежит в основе и самых негармоничных, даже самых тяжелых и затрудненных моих стихов. Верю, что только она

там и есть, а все остальное — накладки времен. Накладки, игнорировать которые в творчестве — значит лгать, накладки, следы которых на стихотворении — достоверность его истинности.

Остается терпеть, и если удастся — работать.

Правда, ощущение, что в данный момент грубая сила давит дух цивилизованного народа и что к этой грубой силе отношусь я сам и все, кого я люблю, лишает это мое стремление работать значительной дозы смысла. Тем более необходимо привести в порядок свои дела. Что я и делаю.

А если все обойдется и будет жизнь, я когда-нибудь напишу эту записку лучше, а, главное, полней. Будьте счастливы.

Москва. Август-сентябрь 1968 года

Примечание: Эта работа написана в 1968 году, это первая моя работа на подобные темы. С тех пор я несколько изменился, стал жестче к системе и мягче к людям, ее представляющим. Ввиду полной невозможности жить дальше прежней жизнью и при этом сохранять смысл и достоинство — я эмигрировал. Тем не менее, хотя работа и подвергалась переделкам (два раза в Москве и один — в Европе), но обе они происходили при перепечатке, были попутны, касались в основном стиля, последовательности изложения, изъятия повторов и уточнения мыслей. Здесь сокращено изложение еврейского и ближневосточных вопросов, поскольку эта работа — о другом, а о них я говорю в работах, написанных позднее. Не печатал я до сих пор этой работы по понятным причинам.

КОРЖАВИН Наум (Мандель Наум Моисеевич) — родился 14 октября 1925 года в Киеве, Украина, СССР. В 1959 году окончил Литературный институт им. А. М. Горького Союза писателей СССР. Время учебы прерывалось на несколько лет лубянской тюрьмой и сибирской ссылкой. Коржавин — поэт, драматург и критик. Первая серьезная публикация — поэтический цикл в нашумевшем сборнике «Тарусские страницы». Печатали стихи и поэмы в «Новом мире», «Юности», «Молодой гвардии», «Октябре», «Литературной газете» и в других центральных изданиях, в том числе в ежегодниках «День поэзии». Единственный персональный сборник вышел в конце 1963 года в московском издательстве «Советский писатель» и тут же стал библиографической редкостью. Критические статьи Наума Коржавина публиковались главным образом в «Новом мире» Твардовского. Самая важная из них, по мнению автора, «В защиту банальных истин (о поэтической форме)». Здесь же было опубликовано несколько рецензий: о Тютчеве, о лирике Маршака, о поэтических сборниках В. Берестова и К. Кулиева, а также рецензия на книгу русского историка В. О. Ключевского «Афоризмы, мысли об истории и т. д.». В журнале «Вопросы литературы» напечатана большая статья Н. Коржавина о творчестве А. К. Толстого, представляющая собой переработку предисловия к сборнику стихов того же поэта в издательстве «Художественная литература». Пьеса Наума Коржавина «Однажды в двадцатом» была поставлена Московским драматическим театром им. К. С. Станиславского и шла с успехом. Цензурное разрешение было выдано театру без права распространения. По-русски эта пьеса так и не была напечатана. Опубликована она только в Польше (журнал «Диалог») и в Венгрии. В Польше пьеса была также и поставлена «Современным театром» во Вроцлаве (Бреслау). В Союз писателей Коржавина приняли в 1963 году, откуда исключен в 1973 году в связи с выражением желания выехать из страны. В настоящее время проживает в Соединенных Штатах Америки. Публикуется на Западе в различных русских изданиях.

“ИНДЕКС”

Ежеквартальный журнал по вопросам политической
цензуры во всех странах мира

● «Индекс» публикует подробную информацию о писателях, ученых, художниках, подвергаемых у себя на родине преследованиям и цензуре

● «Индекс» также печатает на своих страницах переводы запрещенных где-либо работ, исследует отдельные, наиболее яркие примеры подцензурной действительности, регулярно дает хронику репрессий в области печати и культуры

Журнал издается на английском языке

В журнале печатались:

Александр Солженицын,

Андрей Сахаров,

Александр Галич,

Наталья Горбаневская,

Иосиф Бродский

и другие русские авторы

Годовая подписка — 3,60 ф. ст.

Адрес журнала:

INDEX, 35 Bow Street, London W. C. 2 R

GREAT BRITAIN

Давид А н и н

АКТУАЛЕН ЛИ БУХАРИН?

Через три неполных года Октябрьской революции исполнится шестьдесят лет. Возраст весьма почтенный, напоминающий о том, что не только последние уцелевшие участники Октября уходят в небытие, но что даже уже мало остается участников и свидетелей в т о р о й большевистской революции, связанной с коллективизацией, индустриализацией, террором и культом Сталина. Конец двадцатых и тридцатые годы становятся уже историей, которую, кстати сказать, молодое поколение в России и даже люди, уже вступившие в жизнь, часто знают в извращенном виде. Кто были эти люди, которые произвели этот «поворот», «переворот», «революцию сверху» и этим перепахали Россию? Как они действовали? Какова была их судьба? Чем и как за это заплатили народ и страна?

Не надо себя обольщать и обнадеживать. Официальные извращения, умолчания, выдумки в большой степени сделали свое дело. Тем не менее, им все же не удалось полностью отгородить Россию от окружающего мира. Историческая правда «так, как история в действительности произошла» (по выражению Ранке), стала достоянием гласности. Будучи слишком значительной, сильной державой, Россия могла вызывать что угодно, только не

чувство равнодушия. Как первая «удавшаяся» страна, строившая новое общество, Россия пленила воображение людей чутких и умственно беспокойных; иногда она притягивала, иногда отталкивала, но никогда не оставляла равнодушными. В какой-то мере Россия была и продолжает быть мерилom, критерием, по которому равняются. Коммунизм и Россия, понятия неизбежно переплетающиеся, не были предоставлены самим себе. Страна и прodelьывающийся над ней опыт, стали объектом самых страстных споров. Прошлое, настоящее во всем его многообразии, возможное будущее тщательно изучается и не только (если включить Самиздат) вне пределов России. Без преувеличения можно сказать, что Россия и все, что в ней, независимо под каким именем, происходило и происходит, было и остается главной темой нашего века.

Я выше поставил «удавшаяся» в кавычках; однако сразу подумал, что кавычки, выражающие мое скептическое отношение к определению Октября, здесь, может быть, неуместны. Действительно, может ли режим, существующий уже около шестидесяти лет, и которому в последние годы уже даже перестали предсказывать быстрый конец, может ли такой режим, даже благодаря этому одному факту его долгого существования, считаться неудавшимся... Вопрос этот является, по существу, коренным. Чем объясняется долголетие этого режима? Ведь люди, его создавшие, уже давно сошли со сцены, в большинстве своем были загублены Сталиным. Даже их дети уходят в отставку; в руководство (не только политическое) уже вливается третье поколение. Чем объясняется эта живучесть? Ведь послушной список Октября не был лег-

ким. Гражданская война, борьба за самоутверждение, «Вторая революция» — акт беспрецедентный в мировой истории, Отечественная война. Столько проверок, столько положений, при которых коммунистическая Россия была накануне гибели, а все-таки выжила.

**
*

Живучесть русской революции, ее никем непредвиденный ход, неминуемо должны были вызывать сравнения с ходом других революций, сравнения, при которых авторы пытались выявить сходства и различия одних и других. Такой продолжительной революции, которая хотя бы формально исповедовала бы те же идеалы, догматы и стремления, такой революции в истории не было. Самым близким примером или моделью для русской революции могла служить революция французская, с которой, кстати сказать, русская интеллигенция, в особенности революционная, была хорошо знакома. П. Н. Милюков, вождь русского либерализма и один из крупнейших историков России — в частности ее культуры и интеллигенции — немного сгоряча писал в предисловии к его «Истории Второй Русской Революции»: «Читайте Ипполита Тэна и вы поймете то, что произошло в России». Милюков отнюдь был не единственным, кто видел во французской революции прообраз русской. Почти все российские политические деятели, ставшие в 1917 году во главе Временного Правительства и Советов, были уверены, что русской революции суждено, по выражению Керенского, повторить «французскую сказку»; все или

почти все были уверены, что всякой революции присущи «имманентные» законы на французский лад, и что Россия поэтому должна неминуемо повторить весь цикл революции, имевшей место 125 лет тому назад во Франции.

Действительно, трудно было не поддаться этому соблазну. Всё или почти всё как-то говорило в пользу этой параллели и схемы. Партии, лидеры, король, королева*. Однако, главное, что возбуждало интеллектуальную страсть к умственным спекуляциям, были этапы и фазы, через которые проходили обе революции. Действительно, обе революции начались как умеренные, ставившие себе целью произвести не полный социальный переворот, а только определенные реформы. Мирабо — лидер первой умеренной и реформистской фазы революции — вполне подходил бы для роли кадетского лидера. Жирондистские лидеры, славившиеся своим красноречием, походили на наших отечественных Церетели и Чхеидзе — двух виднейших лидеров Февраля. Маленькая деталь: жирондисты, представлявшие департамент Жиронду, были противниками централизованного режима, в котором провинция управлялась бы Парижем. Грузины (в частности, грузинские меньшевики) тоже добивались и даже добились кратковременной самостоятельности. «Неподкупный», фанатический, жестокий, настойчивый Робеспьер походил во многом (хотя и не во всем) на Ленина, которому, по умиленному выражению Горького, тоже «ничего

* Николай Второй кое в чем, по характеру, напоминал Людовика XVI, а у гессенской принцессы Александры Федоровны можно найти даже много сходства с «австриячкой» Марией Антуанеттой.

лично не нужно». Дантон, несравненный (по Ленину) оратор и организатор вооруженных восстаний, напоминал Троцкого. А Марат? Чем не одновременно беспощадный и истерический Дзержинский. К счастью для Франции, она не знала никого, кого можно было бы уподобить Сталину.

Еще больше, чем личности и партии, своей схожестью пленяли этапы и фазы обеих революций. Возникшие как умеренные, они обе быстро радикализировались или, употребляя более современное определение, «левели». Радикализация шла в обеих странах по схожим линиям. Во Франции жирондисты (своего рода, меньшевистско-эсеровский блок) сначала оттесняют либералов, а потом сами становятся жертвами якобинцев. Установив свою террористическую диктатуру через посредство «Комитета Общественного Спасения», якобинцы принимаются за уничтожение одновременно и своих левацких, анархо-коммунистствующих элементов и своих противников справа — жирондистов, либералов и, конечно, монархистов. Не знаю, были ли во Франции тогда «право-левацкие» уклонисты; предположительно, однако, думать, что и Ленин и Сталин использовали для своего террора французский сценарий.

Справедливости ради укажу, что количественно якобинский террор, по сравнению с большевистским, был сравнительно мягким. За год самого страшного террора во Франции — конец лета 1793-июнь 1794 года — своего рода 1937-8 годы в России, во Франции официально погибло 40 тысяч человек; интересно отметить социальное положение репрессированных: 8 процентов погибших принадлежали к аристократии, 6 процентов были свя-

ценнослужащие, остальные были... рабочие, крестьяне и пр. Думаю, что если бы подобный социальный анализ был бы сделан в отношении террора в России, результат был бы аналогичным. Рабоче-крестьянская власть уничтожала, главным образом, рабочих и крестьян.

Следует подчеркнуть, что сходство развития французской и русской революций во многом предопределило взгляд на дальнейшее развитие революции; разумеется, по классической французской схеме. После ленинско-якобинской диктатуры и прокламирования нэпа должны были, в согласии с французской схемой, наступить термидор и бонапартизм. Действительно, в публицистике и полемике двадцатых годов этими терминами оперируют так часто, что они становятся почти русскими. В термидорианстве обвиняли поборников нэпа, в бонапартизме подозревали и Троцкого, и Сталина, и «карьериста» Красина, и даже бесцветного Ворошилова. Рыкова и Калинина величали как выразителей «кулацкой стихии», а Бухарина — ее главным теоретиком. Термидор и бонапартизм — в свое время определения обличительные (в большевистской среде — синонимы предательства) — по существу, если бы они осуществились, вели бы к окончанию революции, к укреплению ее завоеваний (в данном случае, это мыслилось, главным образом, как закрепление аграрной реформы) и к приостановлению ее дальнейшего развития. Если бы нэп в России утвердился навсегда, или хоть бы «всерьез и надолго», то это бы означало победу российского термидора. Не будучи в те годы в войне, Россия, приостановив все виды

наступлений идеологического характера, избегла бы бонапартизма.

**
*

Почему же в России не пошли по этому термидорианскому пути? Ведь в таком исходе было заинтересовано подавляющее, почти все население страны? Почему русская революция, так верно вначале следуя схеме французской революции, пошла после победы большевиков-якобинцев по своему собственному, Францией неначертанному пути? Причин, разумеется, много. Ограничусь пока двумя замечаниями.

Основными различиями между русской и французской революциями, предопределившими дальнейший ход большевизма, являются, мне думается, следующие. Французская революция поставила перед собой сравнительно ограниченные цели национального порядка, совместимые с возможностями страны и народа. Отмена феодальных остатков (к тому времени уже ничтожных, почти символических), раздел королевских, аристократических и отчасти церковных земель; политические свободы для третьего сословия... «Свобода, равенство и братство» — лозунг, который еще и поныне красуется на зданиях официальных французских учреждений, был только лозунгом, который мало кем был принят всерьез. Свобода мыслилась как осуществление политических свобод, собраний, печати, клубов, партий и т. д., но отнюдь не как разнузданная анархическая свобода; равенство подразумевало не имущественное равенство, а преимущественно равенство перед законом. Брат-

ство? Это вообще был пустой звук. Никто никогда не мог растолковать его реальное значение. Правда, когда революционная Франция была втянута в серию больших европейских войн, жирондисты и якобинцы пытались, путем революционной пропаганды, ослабить и разложить своих монархических противников; однако, убедившись вскоре в тщетности политики «экспорта революции», они эти попытки приостановили.

В отличие от Французской революции, в Октябрьской революции цели были несовместимы с возможностями страны. Не ограничиваясь разрешением внутренних национальных проблем (а их было немало), Октябрь превратил Россию в «авангард», «крепость» или «лабораторию» социализма для таких стран, как Германия, Венгрия, Болгария, Китай (да, тот самый Китай, который теперь лежит комом в горле у наследников Ленина-Сталина). Внутри страны, решив, что Октябрь должен быть, вопреки Февралю, не буржуазной, а социалистической революцией, большевики начали в экономически и политически разложившейся России применять утопические эксперименты, приведшие страну к почти полному развалу. Тут опять-таки была несовместимость между возможностями и целями. Большевики взвалили на страну и на себя такой непосильный груз, от которого они могли только свалиться. Спас их нэп, спасла способность Ленина сочетать утопизм с некоторым реализмом.

Другим, на мой взгляд, решающим фактором, способствовавшим беспрецедентной живучести большевизма и советской власти, является тот факт, что страну захватили и удержали власть не

просто «революционеры», а профессиональные революционеры. Между первыми и последними огромная разница. Обычный революционер (например, руководители и участники Французской революции, революции 1848 года, Парижской Коммуны) действовал по импульсам, из-за идеализма или из-за тщеславия. Он не был связан всеобъемлющей, постоянно контролирующей его дисциплиной и аппаратом, он не был ответствен круговой порукой за свои действия и действия своих товарищей. Якобинцы, разумеется, были солидарны в их боязни реставрации или прихода к власти более умеренного режима. Однако, в своих действиях в рамках якобинских клубов они были внутренне свободны. Якобинец не был обязан защищать решения, принятые вождями в его отсутствие, он не обязан был цитировать своих вождей и клясться в своей верности им. Другими словами, в своих действиях он обладал известной свободой и сравнительно широкими возможностями маневрирования.

Совсем другое дело профессиональный революционер ленинской формации. Последний, по существу, мало чем отличается от своего прообраза — революционера, действующего по предписаниям «Катехизиса революционера» Нечаева. Согласно обычной у большевиков пресловутой практике «демократического централизма», ленинец обязан подчиняться решениям, в которых он или вообще не принимал никакого участия, или с которыми он был несогласен. Ленинцы связаны необычайно тесной солидарностью, поистине железной дисциплиной, нерушимой круговой порукой. Роман Гуль недавно очень кстати напомнил («Но-

вый журнал», кн. 115), что уже в 1906-1907 годах меньшевики Мартов и Аксельрод, тогда еще «товарищи по партии», называли, в своей переписке, большевиков «шайкой» или «разбойничьей шайкой»; я бы назвал «шайка с идеологией». В этом смысле, это самая опасная формация, ибо идеология, предполагая бескорыстие и идеализм, может, в сочетании с разбойничьей практикой, действительно перевернуть мир. Профессиональные революционеры не только совершили Октябрь, но спасли большевистскую власть на всех его поворотах.

**
*

Одним из таких поворотов, поистине судьбоносных, было прокламирование нэпа. Осуществление новой экономической политики не только доказало правоту многих противников большевизма — эсеров, меньшевиков, кадетов, которые такого поворота требовали. Нэп, по существу, спас советскую власть. Многим, особенно молодым, сущность нэпа, ее история, ее достижения, заложенные в ней (при условии дальнейшего ее углубления), мало известны или известны в официальной интерпретации. Следует поэтому приветствовать появление в Америке новой книги, посвященной нэпу и его главному, после Ленина, экспоненту и поборнику, Н. И. Бухарину*.

Нужно оговориться. Книга местами апологетична и в отношении нэпа и Бухарина. Недостаток этот можно автору простить, ибо при всех возмож-

* Bukharin and the Bolshevik Revolution, by Stephen F. Kohen, Knopf, New York, 1974.

ных выходах из тупика, которые намечались в те годы, нэп был наиболее приемлемый и благоразумный, а из всех кандидатов в вожди Бухарин был одновременно и наименее подходящим и, вероятно, самым человечным.

Оставим в стороне старания автора книги — профессора Коэна — превратить Бухарина в крупного теоретика. Бухарин много писал и редактировал; однако действительно нового слова он в марксистской теории не сказал. Он «добавлял», заострял таких авторов, как Гильфердинг, в вопросах империализма; Розу Люксембург он популяризировал в национальном вопросе; много спорил с Лениным в вопросах о роли государства во время и после победы революции; однако при всем этом он, до того как стал теоретиком нэпа, остался, в большой степени, «схоластом» — по выражению Ленина, лично к нему благоволившего. Если бы Бухарин не играл бы такой большой роли впоследствии, его труды были бы мало кем отмечены и забыты.

У Бухарина были наивные, особенно в свете случившегося, полуанархические взгляды на государство и его отмирание; он явно принимал на веру многие чисто пропагандистские высказывания Ленина и не понимал, что именно Ленин являлся централизатором и создателем столь ненавистного ему колоссального государства — Левиафана. В отличие от Ленина, он также не понимал роли национализма и его потенции в жизни народов.

Не вдаваясь в подробности «революционной» биографии Бухарина, которые к нашей теме не относятся, отметим только, что, после своего участия во многих оппозиционных течениях, Бухарин

окончательно определился, во время болезни и особенно после смерти Ленина, как крупнейший и последовательный сторонник нэпа. В истории Советского Союза и в памяти людей Бухарин и нэп неотделимы. Как продолжатель нэпа, Бухарин считал себя также продолжателем и выразителем политики Ленина, ссылаясь на последние статьи умирающего диктатора и на разговоры, которые Бухарин якобы имел с Лениным (при которых, конечно, никто не присутствовал).

Что такое был нэп? Как эту политику интерпретировали Ленин и Бухарин? Интерпретировали ли последний первого правильно? По этим вопросам у критиков Козна нет единодушия. Профессор Хук, один из крупнейших американских философов и марксологов, заявил, что, перечитав еще раз последние про-нэповские статьи Ленина, он еще раз пришел к заключению, что для Ленина нэп означал одно, а для Бухарина совсем другое. Ленину нэп мыслился как «временная передышка», как «тактическое отступление» для того, чтобы, набравшись свежих сил, сделать новый прыжок в «царство социализма и коллективизма». Профессор Леонард Шапиро, наоборот, полностью соглашаясь с автором книги, склонен верить, что нэп был задуман Лениным «всерьез и надолго». Рассчитанная на «смычку», на сотрудничество между пролетариатом (т. е. фактически руководством партии) и крестьянством, такая политика должна была, согласно довольно двусмысленным ленинским формулировкам, привести страну, через «переходный период», к социализму. (Прошу прощения у читателя за употребление столь типичных больше-

вистских штампов; к сожалению, без этих условностей трудно изложить суть спора).

Мне думается, что при оценке нэпа, который является самым интересным и поучительным отрезком советской истории, следует, во-первых, иметь в виду, что Ленин и партия не «дали» народу нэп добровольно; нэп был фактически вырван у большевиков создавшимися, благодаря народному сопротивлению, обстоятельствами. Голод, прокатившиеся по стране восстания, усиление недовольства в самой партии, усиление меньшевистско-эсеровского влияния среди рабочих и крестьян. Наконец, Кронштадт — восстание этой «красы и гордости», которая, в большой степени, совершила революцию; все это, вместе взятое, вырвало у Ленина уступки, заложенные в нэпе. Однако Ленин всегда держал камень за пазухой на случай, если нэп пойдет слишком далеко и начнет, в какой-то мере, угрожать монополю власти партии.

Не следует забывать и другого. Хотя нэп, с одной стороны, совершил чудеса, оздоровил страну, он, с другой стороны, вызывал недовольство и даже ненависть со стороны «идейных» коммунистов. Появились пресловутые «За что боролись? За нэпманов и мужиков?». Целью Октября была не какая-то аграрная реформа (на которую нам, господа хорошие, наплевать) и не благополучие мещан и кровопийц-нэпманов. «Профессиональные революционеры» — большевистские комиссары, уже хозяйничавшие в национализированных и «народных» предприятиях, начали опасаться, что их владычеству приходит конец. Вот эта «прослойка», которая, благодаря характеру и структуре большевистской партии, все более становилась влия-

тельной в партийном аппарате, через какое-то пятилетие станет главной опорой Сталина.

Ленин, таким образом, стоял перед дилеммой. С одной стороны, он, как «марксист», опасался, что если он даст крестьянам в деревнях и нэпманам в городах экономические свободы, то придется также дать и другим и, еще хуже, дать также и политические, культурные и прочие свободы. Нужно сказать, что опасения эти, в какой-то мере, начали себя оправдывать. За несколько лет страна воспрянула; голод, продразверстка, реквизиции стали кошмаром прошлого. В городах и деревнях появились продукты и товары. Даже промышленность вскоре достигла довоенного уровня. Расцвело художественное творчество. От литературы и искусства «свобода» перекинулась даже в такие «идеологические» области, как история партии и философия. В Советы начали избирать, преимущественно, середняков и даже кулаков. Короче, то, что сейчас мы называем «плюрализмом», стало для большевиков ощущаться как реальная угроза.

При таких обстоятельствах трудно определить, кто вернее интерпретировал и «продолжал» вождя и учителя: Бухарин и его сторонники (среди которых был тогда также Сталин) или Троцкий, Преображенский и Пятаков, которые, как только страна оправилась, потребовали новую экспроприацию мужика, на этот раз для создания тяжелой промышленности и построения социализма в России. Вопрос, во всей его полноте, стоял именно так: продолжать ли нэп, поощрять ли крестьян новыми льготами, осуществлять ли в их отношении бухаринский клич «обогащайтесь!» и одновременно, развивая социал-реформистскую концепцию о

«мирном вращении в социализм», не спеша развивать промышленность, не столько тяжелую, сколько легкую, потребительскую, для нужд населения; альтернативная политика сводилась к тому, чтобы зажать мужика, заставить его сузиться и дать нужные для тяжелой промышленности ресурсы. Нэп? — говорили его противники. — Он себя изжил. Ильич — творческий марксист — нас учил: «Тактику можно менять в 24 часа».

Предвидя эти и другие последствия нэпа, Ленин, как известно, с целью их пресечь, принял меры противоположного характера. На том же Десятом Съезде, на котором формально (в действительности при сильном сопротивлении, сломленном лишь после того, как Ленин пригрозил отставкой) нэп был принят единогласно, на том же съезде было принято постановление запретить деятельность всех партий и фракций — решение, имевшее впоследствии роковое значение. Запрещение партий касалось, главным образом, остатков меньшевиков и эсеров, которых, часто репрессировав, все еще терпели в некоторых Советах и профсоюзах. Однако гораздо большее значение имело постановление о запрещении фракций, касавшееся тогда, главным образом, «рабочей оппозиции», «децистов» (группы «Демократического централизма»), которые, располагая сильным влиянием в профсоюзах и Советах, не переставали, и на съездах партии, разоблачать истинный характер уже тогда расцветшей пыльным цветом паразитарной бюрократии. Интересно, что большевики, даже оппозиционно настроенные, не поняли истинного смысла этого постановления, впоследствии имевшего такое роковое значение. Один Радек, предчувствуя что-то недоброе, сказал:

возможно, что многие из нас погибли из-за этого постановления.

Преображенский, Пятаков и даже Троцкий (хоть и бывший первым большевистским наркомом по иностранным делам) были плохими дипломатами. Они не понимали, что язык дан человеку не для того, чтобы высказывать мысли и раскрывать свои тайны, а, наоборот, для того, чтобы эти мысли и тайны скрывать. Они называли вещи своими именами в среде, где двуличие уже становилось основной человеческой чертой. В партии, которая не переставала клясться в том, что она беспрестанно печется о благе народа (а народ-то этот был, главным образом, крестьянский), Преображенский развивал теорию, по какой роль, которую на Западе выполнили ранний жестоко эксплуатируемый пролетариат и колонии, в Советской России — стране, где власть находится у пролетариата и которая колониями не располагала — эту роль в Советской России должно выполнять крестьянство. «Первоначальное накопление» должно дать крестьянство, деревня должна стать «внутренней колонией». Другими словами, троцкистские теоретики предлагали то, что пятью-шестью годами позже осуществит Сталин, только в гораздо ухудшенной, страшной, несравнимо зверской форме.

**
*

Суть вопроса была, однако, не в экономике или, вернее, не столько в экономике. Экономика играла роль показную, словесную, аргументирующую — и то только вначале. На самом деле, в те решающие годы объявился новый фактор, никем

и никакими марксизмами непредвиденный. Этим фактором, долго незамечаемым, был Сталин.

Странное дело: в большевистской марксистской партии личностям не положено играть решающей роли; эта функция отведена, как известно, классам. Тем не менее, ни в одной партии — за исключением, может быть, гитлеровской — личности не играли такой всеокрушающей, абсолютно-подавляющей роли, как в партии большевистской. Тот, кто знаком, хотя бы в общих чертах, с действительной историей Октября, не будет отрицать, что этот переворот был задуман и осуществлен Лениным и, главным образом, им. Переворот не был делом ЦК, который всегда тянулся в хвосте. Все дело было в Ленине и только в нем. Не было бы Ленина, не было бы Октября. Ленин был, если можно так выразиться, человеком судьбы. Это он погонял партию и ЦК, заставляя, насилуя их принять его решения.

Так же, как и Ленин, Сталин был человеком судьбы, человеком роковым. Вопреки тому, что написано многими именитыми историками, мне думается, что в действительности из всех ленинских диадохов или эпигонов, Сталин был единственным реальным кандидатом в вожди партии и в диктаторы страны. Напомним вкратце качества и недостатки «исторических вождей» большевизма, о которых Ленин говорил в своем «Завещании». Этот документ многие критиковали, находили его недостаточным, неискренним, дипломатичным, не указывавшим выхода из положения. Все это, в известной мере, так. Однако, с другой стороны, Завещание поражает своей прозорливостью, своим пониманием своих ближайших сотрудников; Ленин

считал, что самыми выдающимися членами руководства явятся, после его ухода, Троцкий и Сталин. Уже тогда, в 1923 году, он прочил серого Сталина в качестве руководителя. Зиновьев и Каменев на месте только в коллегии, но в вожди не годятся. Первый — массовый оратор, составитель тезисов, старый большевик, но не создан из того материала, из которого делаются вожди; второй — парламентарий, интеллигент — по натуре полуменьшевик. В Октябре они оба сдрейфили. Напоминать им этого не надо, но и забывать этого тоже не следует. Бухарин — любимец партии, эрудит, но схоласт, не понимающий диалектики. В устах Ленина это смертный приговор; нет ничего хуже догматика; он лишен гибкости и потому всегда осужден на поражение. Ленин также указал выход, и благодаря этому этот документ является не только «характеристикой», но и «завещанием». Сталин — ясно заявляет Ленин — сконцентрировал в своих руках огромную власть, которой он может пользоваться не всегда в интересах партии. В 1923 году; разве можно было сказать лучше, вернее? Выход? Надо убрать Сталина с поста Генерального секретаря и таким образом лишить его власти.

Действительно, представим себе, что «соратники» послушались бы своего вождя. Что бы тогда случилось? Не позволительно ли в этом случае допустить, что Россия пошла бы по другому пути? Были другие кандидаты в генеральные секретари. Назовем старого большевика И. Н. Смирнова, который потом участвовал в одном из показательных процессов; кандидатом был Дзержинский, доказавший своей работой в ВСНХ, что он мог быть не

только чекистом; во время краткого триумфа «бухаринцев» кандидатами в генсеки были Томский и Угланов, секретарь московской организации большевиков. Сталин тогда еще не был всесилен; у него не было прочного большинства в Политбюро и ЦК. Он еще не мог, по своему усмотрению, увольнять одних и назначать других — и тем самым фактически заполнять партийный съезд своими ставленниками. А ведь Сталин уже тогда, уже во время борьбы с троцкистско-зиновьевской оппозицией показал, на что он способен.

Чем объясняется эта слепота, это непонимание сути создавшейся ситуации? Другими словами: как это случилось, что Сталин — это серое пятно — убрал и «блестящего» Троцкого, и опытного интригана Зиновьева, и всеми уважаемого Каменева, и всеми любимого и всезнающего Бухарина. Говорят, и это мнение начинает укореняться среди некоторых историков советского режима, что Сталин — этот второй (а может быть и превосходящий первого) Макиавелли — был «гениальным», неповторимым мастером интриг. В то время, как его коллеги и противники занимались составлением резолюций и старались доказывать их правоту с точки зрения марксизма-ленинизма, Сталин рыл им могилу. Однако это верно лишь отчасти и далеко не отвечает на вышепоставленные «чем» и «почему».

На самом деле, если хорошо и без мудреных предвзятостей вдуматься в эту трагическую и кровавую эпопею, приходится констатировать, что Сталин уничтожал своих противников очень просто, по обычному, много раз испытанному пути, как простой разбойник с большой дороги или, вернее, как главарь разбойничьей шайки или мафии.

Разъединяя, по возможности, отдельные группы этой шайки, он, вступая во временный союз с одной из них, уничтожал другую. Классический прием; надо только удивляться тому, как, во всех других отношениях умнейший, Троцкий или матерой Зиновьев этого вовремя не заметили. Недогадливость и простоватость Троцкого и Зиновьева переходят все границы. В 1925-26 годы, когда троцкисты и зиновьевцы уже фактически были полностью устранены от власти, когда почти все из них уже «устроились» в Сибири и на Соловках, Троцкий изрек по поводу одной из бесчисленных резолюций: «Со Сталиным (коалироваться) против Бухарина? Да! С Бухариным против Сталина? Никогда!» Троцкий с уверенностью предрекал, что недалек тот день, когда Сталин будет Бухариным и Рыковым исключен из ЦК и партии, как троцкист. Бедный Троцкий, как плохо он разбирался в людях; перепуганного Рыкова и безобидного Бухарина он подозревал в такой смелости. И это в те годы, когда Сталин уже фактически был полным хозяином партии и страны.

Однако простоватость Троцкого можно еще понять; он всегда придавал преувеличенное значение словам и резолюциям, над которыми Сталин подсмеивался в усы. Но как понять Бухарина, Рыкова, Томского, Угланова, Ягоду — всех тех, кто сами осуществили уничтожение троцкистов и зиновьевцев? Ведь это гуманнейший Бухарин (а не молчаливый, скрытный, даже добродушный Сталин) был главным застрельщиком — на пленумах ЦК и на съездах против оппозиции. Бухарин был первым, кто потребовал от троцкистов, чтобы они публично раскаялись в своих ошибках, установив этим пре-

цедент, которым вскоре сталинцы будут пользоваться против самого Бухарина и его софракционеров.

Чем же тогда Сталин их всех взял? Ведь не надо забывать, что в 1928 году, когда Сталин и его сообщники взялись — по-сталински, осторожно, не спеша — за ликвидацию правой оппозиции, последняя была очень сильна. У правых были, тогда под руководством Рыкова, все комиссариаты, т. е. министерства; их человек, Ягода, ведал карательным аппаратом и ГПУ; Томский руководил миллионными профсоюзами; «правые» верховодили во многих партийных организациях, в частности в московской (Угланов, Котов, Рютин); Бухарин считался общепризнанным теоретиком партии и, в качестве такового, его веское слово было законом для всяких агитпропов, печати (он был также редактором «Правды»), теоретических журналов и институтов, в том числе Института красной профессуры; самое важное: Бухарин, Рыков и Томский лично пользовались известной популярностью и в народе, особенно в крестьянстве, как главные защитники нэпа. Как же это так случилось, что при наличии таких козырей, партия так быстро была проиграна?

**
*

Профессор Коэн, автор вышеупомянутой книги, подробно рассказывает, как со ступеньки на ступеньку, уступая сначала в мелочах, а потом в крупном, бухаринцы, как и троцкисты, катились вниз, в сталинскую мясорубку. Из приведенных им фактов и материалов, многие из которых были,

разумеется, известны и раньше, можно, мне кажется, сделать следующие заключения: именно кажущаяся серость Сталина оказалась во вред его противникам и в пользу его самого. Серость внешняя, однообразие и до смехотворности примитивные ораторские приемы, в действительности скрывали громадную, ни с чем несравнимую амбициозность, вероломство, жестокость и силу воли. Противники его недооценивали, гнушались его секретарскими обязанностями. Некоторые из этих противников были членами Секретариата и Оргбюро. Согласно правилам, каждый член Политбюро мог присутствовать на совещаниях Оргбюро и Секретариата. Но не пристало виднейшему теоретику Бухарину или выдавшему виды Каменеву, а уж тем более Троцкому, обсуждать и решать, кому быть секретарем Воронежского или Калужского обкома. Сталин же из этих «мелочей» сделал главный рычаг его личной диктатуры. Овладев этим рычагом, он смещал и назначал этих секретарей по своему усмотрению, тем самым, как крупный феодал в средние века, создавал себе вассальную клиентуру, которая, собравшись на партийный съезд, уже не могла изменить своему строгому, но «справедливому» властелину — генсеку. Великие умы, во-первых, не поняли, где находился источник власти — реальной, а не кажущейся; во-вторых, не умели этим источником пользоваться.

Вожди большевистской революции превратились — в последующие шесть лет фракционной борьбы — из революционеров во второстепенных дипломатов. Вместо того чтобы, как подобает истым революционерам, обратиться непосредственно к народу, изложить ему честно и без обиняков, в

чем, собственно, состоит суть спора, суть борьбы, они этот народ, по существу, или игнорировали, или обманывали. Борьба, вернее, дискуссии, велись при закрытых дверях, в малочисленной группе. Элита пыталась решить спор между собой; официально, в печати, на «народных собраниях» говорилось о единодушии партии. Правда, «народным массам» уже в те годы рот был зажат; все же на партийных собраниях еще можно было, с риском, разумеется, что-то одобрять, что-то отвергать. Власть уже прочно была у Сталина, хотя в Политбюро прочного большинства у него еще не было. Абсолютно полагаться Сталин тогда мог только на Молотова и Кагановича; остальные — Орджоникидзе, Калинин, даже Киров, Ворошилов, Рудзутак, Куйбышев, а немногим позже украинцы — Косиор, Чубарь и особенно Постышев, иногда колебались.

Надо думать, что «колеблющихся» отталкивала колеблющаяся, вернее, капитулянтская тактика Бухарина и других руководителей правой оппозиции — Рыкова и Томского. В надежде спасти что-то (резолюцию или собственную жизнь), Бухарин шел на «гнилые компромиссы»; он похваливал Сталина; громил в печати уже давно обессиленного Троцкого, полагая, может быть, что «знающие» люди, т. е. члены ЦК, поймут, что, ругая Троцкого, он на самом деле имеет в виду Сталина; действительно, он критиковал сумасшедшие темпы коллективизации и индустриализации, возлагая ответственность за эти темпы на Троцкого. В партийном аппарате, однако, прекрасно расшифровывали этот эзоповский язык и Бухарин получал соответствующие предупреждения.

В журнальной статье трудно исчерпать все причины, способствовавшие восхождению Сталина и упадку влияния его противников. Закончим наш перечень еще двумя аргументами, которые мне кажутся весьма вескими. Первое: апогей фракционной борьбы относится к концу двадцатых и к началу тридцатых годов. Это были годы конца «временной стабилизации капитализма», сильного экономического кризиса в Европе и Америке, усиления гитлеризма в Германии. В эти годы Бухарин воспринимался (и по праву) и в России, и в Коминтерне как умеренный; Сталин, наоборот (несмотря на его правую генеалогию), воспринимался, опять-таки справедливо, как руководитель, олицетворяющий усиление России, наступление внутри и во вне. Все это очень логично и убедительно. Тем не менее, мне думается, что главная причина торжества Сталина и разгрома его противников кроется в личности Сталина и в личности его противников. Так же, как у Ленина десятью годами раньше, у этого «рокового» человека, по существу, не было настоящих конкурентов.

В тех условиях таковыми могли быть только Троцкий и Бухарин. Однако, как правильно пишет Козн, Бухарин был в вопросах борьбы за власть (которая неотделима от интриг), по сравнению со Сталиным, невинным младенцем. Сталин был нагл, жесток, вероломен, беспощаден, но силен. Сталин, говорят, раз сказал Бухарину: «Бухарин, мы с тобой Гималаи; остальные не в счет». Незадолго до ликвидации Бухарина Сталин даже пил тост за «нашего любимого Николая Ивановича» и напом-

нил присутствующим, что «кто старое помянет, тому глаз вон». Разумеется, это была очередная лесть и хитрость, имевшая целью отвлечь внимание легковверного Бухарина от готовящейся ему участи.

Троцкий? У него, несомненно, было много заслуг перед большевистской партией. Однако в единоличные вожди он не годился. В аналогичной степени, как Бухарин не сумел, по определению Ленина, одолеть премудрости диалектики, так Троцкий не понимал настоящую суть структуры ленинской партии. Сталин руководил Россией из своего кабинета с помощью телефона и кнопки. Троцкий полагал, что партией и страной можно руководить лозунгами, декретами, статьями, речами. К Троцкому вполне применимо то, что сказал о Бакуanine один его французский соратник по революции 1848 года: «В первые дни революции он хорош, даже незаменим; потом его надо расстрелять».

В противовес Сталину, Троцкий ассоциировался с идеей о мировой революции; а ведь Россия тогда, уставшая от революций и гражданской войны, жаждала покоя и мира. Арrogантный и саркастический, он с трудом привлекал людей, даже тех, которые разделяли его взгляды. Не будучи старым большевиком, а меньшевиком, который до революции резко полемизировал с Лениным (а «ленинизм» был в двадцатых годах в полном расцвете), Троцкий был подозреваем в стремлении протациить свой «троцкизм» (это уже тоже было в ходу). Подозревали его также в наклонностях к бонапартизму, в желании «милитаризовать» страну. Наконец, Троцкий был евреем. В старой «ле-

нинской» партии это большой роли не играло. Однако после смерти Ленина, когда партия сильно разбухла, когда в ее ряды хлынули сотни тысяч новых членов — малограмотных, не умевших (по тогдашнему выражению) отличить Бабеля от Бебеля — факт еврейства играл уже большую роль; кстати, этим «фактом» умело и исподтишка пользовался Сталин. Правда, последний тоже не был великороссом и даже говорил по-русски не всегда грамотно и с сильным грузинским акцентом; однако антигрузинских настроений в России тогда не было, а антисемитские были.

Конец, развязка, ликвидация большевиков — старых и не старых — известны. Может быть, следует напомнить, что из всего Центрального комитета, избранного на шестом съезде в июле 1917 года, т. е. того съезда, который, понукаемый Лениным, совершил Октябрь, Сталин оказался единственным, кто остался в живых. Повальное истребление большевиков достигло своего апогея в 1937-8 годах. Предлогами для этого террора послужили, как известно, убийство Кирова (совершенное, как на это прозрачно намекнул Хрущев, самим Сталиным) и так называемое дело Рютина, на Западе менее известное. Тогда говорили: «Сталин убил больше большевиков, чем все антибольшевики, взятые вместе. 1937 год по существу начался 1-го декабря 1934 года, в день убийства Кирова». Киров оказался серьезным конкурентом Сталина. Он был популярен; его встречали овациями; он был не только членом Политбюро, но и Оргбюро и Секретариата. Следовавший, в общем, за Сталиным, он иногда подымал голос против слишком острых блюд своего патрона. Рютин — один из секретарей

Московского обкома — был единственным оппозиционером (сторонником Бухарина и Угланова), который потребовал удаления Сталина и связно изложил платформу правой оппозиции. Он ее не только изложил, но и распространял. Было это в 1932 году. Сталин истолковал «удаление» как призыв Рютина к его убийству и потребовал суда и смертной казни для провинившегося. Тогда еще партийцев не убивали. Сталин потом, после убийства Кирова, упрекал своих «котят» из ЦК за то, что они опоздали с террором на четыре года. Он имел в виду «дело Рютина».

**
*

У профессора Козна, в центре его повествования, стоит, разумеется, Бухарин. Автор приводит некоторые неизвестные или малоизвестные эпизоды и факты, которые дают ключ к пониманию некоторых загадочных происшествий. Бухарин, над которым Сталин явно издевался, был неисправимый оптимист. Ведь был же он еще в 1936 году редактором «Известий»; произносил же он незадолго до своей гибели большую речь на писательском съезде; поручали же ему (и Радеку) написать «сталинскую» конституцию; наконец, позволили же ему и его жене уехать за границу, где он встречался с меньшевиками и с Андре Мальро. О своем положении он, по-видимому, не имел твердого представления. Мальро он доверительно сказал, что «теперь Сталин меня убьет»; в разговоре с меньшевиком Даном и его женой он был более оптимистичен; другому меньшевику, Николаевско-

му, он рассказал много интересного о разладах и трениях в высшем руководстве партии.

Оказывалось, из рассказов Бухарина Николаевскому, что в Политбюро и ЦК образовалась, из среды самих сталинцев, «умеренная группа», требовавшая приостановления убийств. Еще при жизни Киров иногда поддерживал своих «умеренных» коллег. После его убийства вдохновителем этой группы стал, по-видимому, Орджоникидзе, поддерживаемый Калининим, Рудзутаком, Куйбышевым и украинцами Косиором, Чубарем и, главным образом, Постышевым. Постышев был последним, кто поднял голос в пользу Бухарина и его софракционеров на заседании пленума ЦК. Грубо оборванный Сталиным, он, сильно взволнованный, замолчал. Характерно, что даже защищая Бухарина и поневоле мягко критикуя Сталина, Постышев и Орджоникидзе надеялись все еще на его... милосердие. Судьба этих «умеренных сталинцев» известна. Все они, за исключением старика Калинина, разделили ту же участь. Орджоникидзе был убит (говорят, собственноручно Поскребышевым, хотя он официально числился самоубийцей), а 47-летний Куйбышев умер при подозрительных «невыясненных» обстоятельствах. Остальные все были заколоты Сталиным законно, т. е. с внешним соблюдением юридических правил.

**
*

Поведение, процесс и смерть самого Бухарина окутаны какой-то загадочной и трагической тайной. Во-первых, поведение; ему и его молодой жене было разрешено в 1936 году уехать за границу.

Почему он вернулся, зная, что ему угрожает арест, суд и смерть? Во-вторых, самый процесс. Из всех подсудимых старых большевиков (а среди них было немало лично мужественных людей), Бухарин был единственный, кому позволили отрицать участие в некоторых преступлениях, как шпионаж, организация убийства Ленина, Сталина и Свердлова. Неизбежно возникает вопрос: почему для Бухарина сделали исключение? Бухарин не был в те дни и недели, когда подготавливался и имел место его процесс, в положении человека, который мог ставить условия Ежову, Вышинскому или Сталину. Неужели сценарий изменили только для того, чтобы убедить в достоверности и правдивости процессов какого-то Фейхтвангера? Наконец, в-третьих, смерть. Существуют версии о героической смерти Бухарина, с проклятьем Сталину на устах: это поведение перед смертью (если допустить, что это так и было) противопоставляется трусливому поведению Каменева и Зиновьева, якобы упрасивавших до последнего момента Сталина о пощаде. Однако кто может доказать правдивость той или иной версии? Правду, вероятно, знали (помимо Сталина) только несколько человек, которые несомненно были, в согласии с советскими обычаями, впоследствии уничтожены.

Но вернемся к вопросу о его возвращении из-за границы. Почему Бухарины возвратились? Кто может ответить на этот вопрос... Почему возвратился из Парижа в Москву, в разгар террора, Эренбург, человек, особым физическим мужеством не отличавшийся. Когда он ехал «домой», он уже знал, что многие его друзья и родственники арестованы.

стованы и что его, собственно, может спасти только чудо; ведь не мог же он знать, что ему суждено будет, по его же выражению, вытянуть выигрышный билет в лотерею... Почему вернулся Антонов-Овсеенко, тоже знавший, что его ожидает; он мог попытаться остаться в Европе. Правда, другой его соратник по Октябрю, главарь кронштадтских матросов (которые помогли Антонову взять Зимний Дворец) Раскольников, сделал попытку остаться в Европе. Однако при Сталине такие попытки редко удавались. Раскольников был убит агентами ГПУ за границей.

Думаю, что вопрос о возвращении для уже меченых Сталиным старых большевиков был личным решением и личной драмой, слагавшимися из многих и различных элементов, которые другим знать не дано. На Западе распространена была теория о «последнем долге» (или услуге) партии — концепция, изложенная Артуром Кестлером в его книге «Ноль и бесконечность». Герой этой талантливо написанной книги Рубашов, кое в чем напоминающий Бухарина (но также и Пятакова), объясняет свое поведение — признания заведомой лжи — последним долгом, который он должен отдать партии, которая, несмотря ни на что, для коммуниста остается неприкосновенной и священной; единство партии должно быть ее первым залогом; настоящий коммунист обязан пойти на самопожертвование...

Кое-что из этой Достоевщины было, по-видимому, не чуждо Бухарину. Хотя в личных разговорах в Париже и (не так резко) также на пленумах ЦК Бухарин говорил о партии в троцкистских категориях (перерожденцы, бюрократы), он в

то же время искренно верил в то, что Советский Союз — даже сталинский — надо защищать всеми возможными средствами. Ссора — это между своими. Перед внешним врагом надо защищать страну, даже если она находится под руководством Сталина. Кстати, такую позицию занимал и Троцкий, а во время войны и бывшие «махровые белогвардейцы» — Деникин, Струве и уж, конечно, Милюков, Маклаков, Бердяев и остатки меньшевиков и эсеров.

Профессор Коэн обосновал другую теорию, которая, по существу, мне кажется, мало отличается от кестлеровского «последнего долга». Бухарин — полагает автор — хотел стать символом настоящего большевика, революционера, социалиста и гуманиста. Пожертвовать своей жизнью для этой партии, для этих благополучно здравствующих большевиков, он, конечно не мог. Верно, что в последние годы, много передумав и переоценив, Бухарину ничего не осталось, как вцепиться в русскую революционную традицию. Однако едва ли Бухарин не понимал, что большевизм, которому он служил и который его теперь приносил в жертву (ради чего?), имеет мало общего и с истинным гуманизмом и социализмом. Тут надо было выбирать. Пестель или Никита Муравьев; Чернышевский или Герцен; Бакунин или Кропоткин; Зайчневский, Нечаев и Ткачев, или Лавров, Михайловский, может быть даже Бердяев. Понял ли Бухарин в те трагические дни, часы и минуты, когда человек, наконец, бывает честен хотя бы с самим собой, понял ли Бухарин тогда, что он сделал не тот выбор? Этого нам тоже знать не дано...

Актуален ли сегодня Бухарин? Своевременен ли он в наши дни и годы, когда и в России и за рубежом начинается, пусть медленное, с перерывами, некоторое «общественное оживление». Заслуженно или незаслуженно, но в памяти людей — в России и отчасти за границей — Бухарин представляется как некоторый Дон-Кихот большевизма. Он хотел «объять необъятное» или, вернее, очеловечить нечеловеческое. На вопрос о его своевременности следует поэтому ответить с оговорками. Его экономические теории сейчас для России, мне кажется, представляют лишь исторический и академический интерес. Россия за последние сорок лет социально-экономически сильно изменилась. Крестьянский вопрос, вопрос об индустриализации, стоявшие тогда, во время борьбы Бухарина и Сталина, в центре внимания, решаются сегодня в другой плоскости. Россия в какой-то степени превратилась в мощную экономическую державу, где крестьянский вопрос, тогда главенствующий, если уже не разрешен, то значительно отодвинут. Идеи Бухарина могут заинтересовать и даже стать предметом изучения в экономически отсталых странах, где вопросы, стоявшие перед большевистской властью в двадцатых и тридцатых годах, нуждаются теперь в разрешении. Бухаринизм ассоциируется больше с некоторой большевистской гуманностью, с тем, что теперь называют «социализмом с человеческим лицом» или «плюрализмом». В этом, более широком смысле, Бухарин и бухаринизм, мне кажется, не утратили актуальности и сейчас как

в Советском Союзе, так и в других социалистических странах.

Ирония судьбы: исторический, действительный, а не легендарный Бухарин вовсе не был сторонником политических свобод, как их понимают на Западе. Его «свободы» исчерпывались некоторыми свободами в литературе, искусстве, науке, идеях «на высоком уровне». Он не был в решающие недели Октября, когда, по существу, решалась судьба России, сторонником «однородного социалистического правительства», т. е. сторонником коалиции с меньшевиками и эсерами. Каменев, Рыков, Луначарский, Красин, Рязанов. Ногин, Милютин и многие другие таковыми были. Это ему, Бухарину, приписывают довольно циничную шутку: «У нас могут быть две партии: одна у власти, другая в тюрьме». На первом и последнем заседании Учредительного собрания Бухарин произнес самую демагогическую, даже отвратительную речь, о которой он, вероятно, потом сожалел. По сравнению с его речью, выступления других большевистских ораторов — Скворцова-Степанова и даже Раскольниковова — были образцом умеренности. И тем не менее, Бухарин для многих олицетворяет курс на человеческий социализм. У крестьян и у интеллигенции, в особенности, он запомнился как человек, противившийся коллективизации и террору...

При наступающем общественном оживлении, когда многие идеи, догмы, предвзятости неизбежно подвергаются переоценке, бухаринизм — как система идей и догм — не будет, вероятно, забыт. Что надо сохранить от революции? От чего, как от ненужного балласта, нужно освободиться? Где ле-

жит и откуда берется корень зла? Как избежать его повторения? «Плюрализм» — законное дитя оживления — все эти и подобные вопросы пытаются сейчас разрешить.

При всех его грехах и ошибках, Бухарин является, вероятно, единственным большевиком, которого кое-кто в России поминает добрым словом. У него, может быть, имеются даже сторонники в России. В конце концов, само это «оживление», пытающееся пробить брешь в массивном тоталитаризме, кое-какими нитями связано также с бухаринизмом. С другой стороны, в отличие от Бакунина, Троцкого, Ленина и Сталина, — Бухарин не приобрел сторонников на Западе. Он там даже неизвестен. Бакунин — глашатай безграничной свободы — всегда пленял молодых, даже если эта «свобода» диалектически, по Шигалеву, превращается в свою противоположность. Троцкий — поборник «перманентной революции», находит сторонников среди университетской молодежи и рабочих афро-азиатских стран. Мао? У него теперь другие заботы. Ленин надоел; Сталин, н а к о н е ц т о, благодаря Венгрии, Чехословакии и Солженицыну — скомпрометирован. Не исключена возможность, что книга Козна, написанная с сочувствием и даже любовью к своему герою, поможет сторонникам «человеческого социализма» найти в Бухарине одного из своих мучеников.

АНИН Давид Сергеевич — родился в 1913 году в России. Окончил Колумбийский университет в Нью-Йорке. Историк, автор статей по истории русской революции. Печатается в русских, американских, английских и французских журналах.

Восточноевропейский диалог

Лешек Колаковский

ТРИ ГЛАВНЫХ МОТИВА В МАРКСИЗМЕ*

Ретроспективный взгляд на творчество Маркса позволяет обнаружить присущую ему, как впрочем и всем великим мыслителям, конфликтность между различными сюжетами, присутствующими в его мысли. Это одновременно и конфликтность между разными источниками, из которых он вырос, синтезируя их. Назовем три главных мотива в марксизме.

А. Во-первых, романтический мотив. В главных линиях своей критики капиталистического общества Маркс — наследник романтизма. Романтическая философия была консервативной реакцией на индустриальное общество, в котором традиционные «органические» связи и лояльности распадаются, а люди выступают по отношению к себе не как индивиды, а как представители безличных коллективных сил, олицетворение денег или институтов. С одной стороны, в таком обществе человеческая индивидуальность утрачивается, поглощаясь анонимными силами, а индивидуумы начинают рассматривать себя как воплощение выполняемых ими функций или ценностей, которыми

* Заключительная глава первого тома истории марксизма, над которой работает автор.

они располагают. С другой — исчезает и подлинная коллективность, то есть исчезает непосредственное общение, творившее из старинных традиционных содружеств моральное единство, скрепленное не только интересами, но и стихийной, естественной солидарностью. Противопоставление «органического» содружества «обществу», рассматриваемому как механический агрегат, в котором равновесие целого поддерживается только отрицательной связью интересов, противопоставление это — под разными именами — присутствует во всей романтической и доромантической философии, начиная с Руссо и Фихте, включая сюда и Конта. Эти мечты о возвращении к идеальному единству, где личность есть только личность, а общество держится на прямых связях, в условиях уничтожения всякого посредничества между личностью и обществом, между личностью и ею самой, содержат — скрыто или явно — атаку на философию либерализма и ее теоретическую основу: теорию общественного договора. Эта философия исходила из того, что люди с рождения руководствуются эгоистическими мотивами и что согласование их противоречивых интересов возможно только благодаря разумной правовой организации, которая ограничивает свободу каждого, обеспечивая безопасность всем. И что люди по своей природе сами себе враги, ибо свобода каждого есть граница свободы всех других, неограниченная же свобода сама себя уничтожает, так как в обществе, где никто не обязан уважать права других, все были бы непрерывно жертвами агрессии и никто не оставался бы в безопасности. Общественный договор (по Гоббсу) организует жизнь коллектива на

основах взаимного уважения чужой свободы. Такое общество представляет собой искусственное создание, систему законов, которые должны обуздывать естественный эгоизм и обеспечивать каждому безопасность ценой частичного отказа от свободы. Романтическая философия признавала, что это хотя и соответствовало фактической системе связей, распространенных в современном мире, но отнюдь не отвечало требованиям человеческой природы. Ибо естественное предназначение человека жить в обществе, которое создано не отрицательной связью интересов, а самостоятельной, ни от чего не зависящей потребностью в коммуникации с другими, где право, как система принуждения и контроля, отрицает, ибо общественные связи поддерживаются благодаря спонтанной идентификации каждого индивида с целым.

Маркс решительно атаковал эту теорию. Его теория алиенации, теория денег, его вера в будущее единство, в котором индивид непосредственно рассматривает свои силы как общественные силы, является продолжением романтической критики. Целью его атаки являются те самые черты индустриального общества, губительные последствия которого отмечали романтики. В этом обществе силы и способности человека властвуют над индивидом в форме анонимных законов рынка, абстрактной тирании денег, жестоких законов капиталистической аккумуляции. Для него свобода, в смысле, изложенном в Декларации прав человека, то есть право индивидуума на все, что можно делать в границах, охраняющих право других — является выражением общества, в котором господствует отрицательная связь интересов.

Главные черты коммунистического общества тоже позаимствованы им из наследства романтиков. Основа основ утопии Маркса — это вера в то, что в будущем мире будет ликвидировано всякое посредничество между индивидом и человечеством. Исчезнут все машины, установленные — рационально и иррационально — между индивидом и целым: государство, право, нации. Индивид добровольно отождествит себя с обществом, насилие станет излишним, источники конфликтов исчезнут. Как и у романтиков, возвращение к органической связи происходит здесь не за счет уничтожения личной жизни, а лишь возвращает этой жизни ее подлинный характер. Индивид, вырванный из общества и подвергнутый давлению анонимных сил, теряет индивидуальность и вынужден сам себя рассматривать как вещь, ибо общественные институты неизбежно загоняют его в эту ситуацию: рабочий становится вещью. Все свои усилия он должен рассматривать только как средство для поддержания биологической жизни, поэтому его творчество и работа представляются ему чуждыми. Его личные качества и способности приобретают форму товара, продаваемого и покупаемого по нормальным правилам рыночной игры, подобно всем другим товарам. Капиталист также теряет личность, это происходит иным путем, но ведет к тем же результатам: являясь воплощением денег, капиталист не располагает самим собой, он вынужден действовать по велению рынка; поведение капиталиста определяется не его злой или доброй волей, а его функцией как представителя капитала. По обе стороны главного конфликта личность умирает,

индивиды превращаются в вещи, в функционеров отчужденных сил. Уничтожение капитализма является таким образом одновременным возвращением к обществу и личности, а не созданием общества за счет личности. С в о б о д а, понимаемая, как рамки «частного», ограниченного, как запрет причинять вред другим, то есть свобода либеральной общественной философии уступает место свободе, понимаемой как добровольное единство индивида с целым.

Но совпадение с романтизмом здесь лишь частичное. Классический романтизм был мечтой о единстве через возвращение к минувшим формам общественной жизни, к так или иначе понятому идеализированному прошлому: к средневековой духовной гармонии, к сельской аркадии, к счастливой жизни дикаря, не знающего ни закона, ни промышленности, полностью удовлетворенного своей идентификацией с племенем.

Совершенно очевидно, что Маркс занимает по отношению к этой утопии позицию прямо противоположную. Если у него и есть еще следы романтической веры в счастливого дикаря, то они случайны и значения не имеют, ибо нигде Маркс не исходит из возможности или желательности возвращения человечества к этому образцу. По его мнению, оно — это возвращение — осуществится не благодаря уничтожению современной технологии или культу примитива и пресловутого «идиотизма деревенской жизни», а наоборот — путем дальнейших технических усилий, принуждения существующего общества к выявлению своих окончательных возможностей, дальнейшей экспансии человека на дороге к установлению власти над силами

природы. Отнюдь не бегство в прошлое, а расширение человеческих возможностей на основе власти над природой могут вернуть нам все ценное, что имело место в примитивных обществах, но без возвращения к их примитивным формам. Эдакий возврат по спирали, через максимум отрицания, на какое существующий мир способен. Иначе говоря: нельзя устранить губительных последствий механизации, губя машину, сделать это можно, только усовершенствовав ее. Человеческая технология, как бы сама, отвергнув свои отрицательные черты, позволит вернуть то, что она уничтожила.

Б. В этой, существенной части своей утопии Маркс отказался от романтических мечтаний по той причине, что наследие романтизма ограничивалось другим, сильным и частично противостоящим романтизму мотивом: прометейско-фаустовским. Мотив этот трудно отнести к какой-либо определенной «школе» мышления. Он вплетается в различные философские контексты; мы открываем его в известных Марксу текстах Лукреция и Гёте, в произведениях Джордано Бруно и других писателей Возрождения, которые были для того же Маркса образцами совершенного человека, универсальными гениями, победившими убожество разделения труда, сумевшими не только овладеть всей современной им культурой, но и творческим усилием поднять ее на новую высоту. Когда мы читаем знаменитую «анкету» Маркса, заполненную им по просьбе дочерей, мотив этот выявляется совершенно отчетливо: любимые поэты — Шекспир, Эсхил, Гёте; любимый герой — Спартак; любимая героиня — Маргарита из «Фауста»; понятие счастья — борьба; ненавистное ка-

чество — раболепие. И это прометейско-фаустовское представление о человеке присутствует у Маркса постоянно. Это вера в ничем не ограниченные возможности человека — творца самого себя, это подход к истории человечества как к процессу самосоздания человека через труд, это презрение к традициям и культу прошлого, убеждение, что завтрашний человек будет черпать свою «поэзию» не из прошлого, а из будущего, говорят сами за себя.

Прометеизм Маркса, конечно, конкретизирован. Он — этот прометеизм — прежде всего родовой, а не индивидуальный. Ибо Маркс верил — он писал об этом в своей защите Рикардо перед сентиментальной критикой Сисмонди, — что идея «производства для производства» означает не что иное, как развитие богатств человеческой природы, видя в этом цель в себе. Ибо развитие рода, хотя и достигается за счет большинства индивидов, в конце концов совпадает с развитием каждого из них в отдельности. Прогресс целого всегда осуществляется ценой единиц, поэтому жестокость Рикардо, за которую его упрекали, является выражением его научной честности.

Маркс был убежден, что пролетариат — коллективный Прометей — в ходе освободительной революции уничтожит это, постоянно сопутствующее развитию человека, противоречие между интересами индивида и рода. Следовательно, в этом отношении капитализм является предвестником социализма: ломая на своем пути сопротивление унаследованных условий, грубо вырывая из стагнации заснувшие народы, революционизируя производительные силы, а следовательно высвобож-

дая новые людские резервы, капитализм создает цивилизацию, в которой человек получает возможность показать, на что он способен. Жаловаться на капитализм, пытаться задержать или обернуть вспять его победоносный марш — это слезливый сентиментализм.

Этот прометеизм не желает считаться с природными условиями человеческого существования, чем подтверждается фактическое отсутствие человеческой телесности в марксовом образе мира. Человек целиком определен здесь своим общественным существованием; телесные границы его бытия почти невидны. Марксизм почти игнорирует такие обстоятельства жизни, как рождение и смерть, не берет в расчет, что люди бывают молодыми и старыми, мужчинами и женщинами, здоровыми и больными, что генетически они неравны. Марксизм не принимает во внимание, что эти неравенства могут оказывать влияние на общественное развитие, независимо от классового происхождения, что они ограничивают человеческие проекты совершенствования мира. Маркс отрицает фундаментальную законченность и ограниченность человека, как и принципиальные границы его творчества. Зло и страдания для него — лишь рычаги будущего освобождения, они не имеют собственного смысла и не являются необходимыми элементами жизни, а только социальными факторами.

Правда, в рукописях 1844 года Маркс еще считает половую связь мужчины и женщины — то есть, казалось бы, биологическую связь — как образец подлинно человеческой личной связи, такой связи, которая, как мы догадываемся, будет гос-

подствовать в коммунистическом обществе. Но не медленно выясняется, что смысл этой модели носит характер совершенно противоположный тому, каким он кажется на первый взгляд: речь идет не о том, что такая связь является моделью для связи общественной, а лишь о том, что в половой связи человек осознает, до какой степени его природа оказалась «очеловеченной», то есть приняла общественный характер, стала онтологической, а его природные нужды — нуждами общественными.

Маркс, по существу, не хочет принимать во внимание, что тело или естественные, существующие географические условия могут принципиально ограничивать человека. Поэтому, как видно из его полемики с Мальтусом, он не верит, что могло бы существовать абсолютное перенаселение, то есть перенаселение, определяемое просто-напросто границами поверхности земного шара и границами естественных запасов. Для него перенаселение — исключительно социальный фактор, связанный со специфическими условиями капиталистической формы производства, которая неизбежно, в итоге технического прогресса и эксплуатации, создает относительное перенаселение, то есть резервную армию труда. Демография как самостоятельный фактор не признается, являясь, по мнению Маркса, лишь элементом социального строя, и должна рассматриваться как таковая.

Отсутствие тела и смерти, пола и агрессии, географии и плодородия, трактовка всех этих обстоятельств в чисто социальной плоскости — один из наиболее характерных и наименее изученных элементов марксовой утопии. Этим объясняется также и то, что нередко проводимая аналогия меж-

ду сотериологией Маркса и христианской традицией (идея пролетариата-искупителя, тотального спасения, избранного народа, церкви и т. д.) несостоятельна в своей исходной точке: для Маркса — спасение — дело чисто человеческое, это самоспасение, к нему не имеют отношения ни Бог, ни Природа, а только коллективный Прометей, который принципиально способен овладеть всем и установить свое полное господство над условиями своего существования. В этом смысле свобода человека это — его творчество, марш конквистадора, покоряющего природу и самого себя.

В. Есть, однако, граница и у этого прометеизма. Граница, отмечающая принцип интерпретации прошлого. Здесь — третий мотив марксизма: просвещенческий, детерминистический, рационалистический. Маркс многократно говорит о законах общественной жизни, действующих, подобно законам природы, и выступающих по отношению к индивидам как внешняя необходимость, такая же неотвратимая и фатальная, вроде лавины или тайфуна. Задача непредубежденной научной мысли — изучение этих законов: без сентиментов, оценок, догматических предубеждений. Как делал Маркс — по его собственному убеждению — в пору работы над «Капиталом». С этой точки зрения, нормативные понятия алиенации и дегуманизации представляются мнимо нейтрализованными, игнорирующими понятия обменной стоимости, добавочной стоимости, абстрактного труда, продажи рабочей силы. В той же анкете этот рационалистический мотив проявляется любимой поговоркой Маркса: *de omnibus*

dubitandum, то есть через горнило научного скептицизма.

На этой почве возникает третье определение свободы, сформулированное Энгельсом: как познания необходимости, то есть степени человеческих способностей использовать законы природы для своей пользы, с помощью материальной и социальной техники.

Но и здесь необходимо ввести оговорки. Вера в «законы», правящие обществом, заложена в интерпретации прошлого, человеческой «доистории». До сих пор необходимость, воплощенная в силы, созданные людьми, но не укрощенные ими, — управляла их судьбой. Это — деньги, рынок, религиозная мифология. Пропасть между тиранией существующих экономических законов и бессилием наблюдающего сознания исчезнет, когда, осознав свою миссию, вступит на сцену пролетариат. С этого момента необходимость уже не навязана и не является техническим использованием готовых законов просвещенными социальными инженерами. Различие между тем, что необходимо и тем, что можно, исчезает само по себе. Исчезают тогда, как следует полагать, и «социальные законы» в прежнем смысле слова, в том значении, в каком мы говорим о законе притяжения (который также, конечно, может быть познан и может быть использован, но не может быть аннулирован, а действие его не зависит от того, знаем мы закон или нет). «Законом» в этом смысле перестает быть социальное действие, происходящее только при условии, что смысл его познан. А именно этим отличается революционная практика.

Эти три сюжета и их взаимосвязь многое объясняют в творчестве Маркса. Эти три сюжета отнюдь не совпадают с нормальной классификацией «источников» марксизма. Романтический сюжет имеет своим источником — частично Сен-Симона, Гесса, Гегеля. Прометейский сюжет — из Гёте, также Гегеля и младо-гегельянской философии практики и философии самопознания (человек как творец самого себя). Детерминистический и рационалистический сюжет — от Рикардо, Конта (высмеянного!) и снова Гегеля. Последний присутствует во всех сюжетах, но во всех он переименованный.

Все три сюжета непрерывно присутствуют в мысли Маркса, но не все три выявляются с одинаковой силой на разных этапах его эволюции. Заметим, что чисто научный, объективный, детерминистический характер своих исследований Маркс подчеркивал значительно сильнее в 60-е годы, чем в 40-е.

Маркс был убежден, что все унаследованные интеллектуальные ценности он ассимилировал в синтетической картине. Если принять тот смысл, какой сам Маркс придавал своему делу, вопросы вроде: «был ли он детерминистом или волюнтаристом и верил ли в исторические законы или ценность человеческой инициативы?» — теряют смысл. С того момента, когда, будучи берлинским студентом, Маркс убедил самого себя, что с помощью Гегеля ему удалось преодолеть кантовский дуализм «бытия» и «необходимости», он вступил на путь, где мог успешно отбрасывать такого рода вопросы.

Все эти размышления вполне уместаются в

границах общественной философии и трудно было бы извлечь из них определенные указания, касающиеся политической стратегии в движении, признававшем марксизм своей идеологией. Эта философия потребовала многочисленных уточнений и интерпретаций, которые выявили затем конфликты и противоречия между разными элементами марксизма, невидимые до тех пор, пока доктрина оставалась на уровне общей сотериологии и эсхатологии. Теоретически можно было «преодолеть» конфликты между необходимостью и свободой, но наступил момент, когда предстояло решить вопрос: должно ли революционное движение ожидать экономического созревания капитализма или, скорее, нацелиться на захват власти там, где политически это возможно? В этой ситуации общий принцип помогал мало. Марксизм обещал единство общества и уничтожение всех посреднических инструментов между индивидом и обществом. Следовало сделать практические выводы из этой посылки и перевести их на язык политических программ. Следовало также придать более определенный смысл идее классовости культуры и одновременно ее универсальности. Следовало точнее определить, что значит «отмирание государства» и как практически осуществить этот замысел. В текстах Маркса могли находить поддержку и те, кто провозглашал постепенное и стихийное созревание капиталистической экономики до коммунизма, и те, кто подчеркивал творческую роль революционной инициативы в истории. Первые упрекали вторых в стремлении насилловать естественные законы истории — вопреки Марксу, а вторые не хотели ждать, чтобы механический процесс истории «сделал» за

них революцию. Маркс служил в этих спорах источником цитат. Но собранные рядом они — эти цитаты — служили, как обычно бывает, лишь подпорками для готовых убеждений.

Еще больше хлопот принесли практические интерпретации всех пророчеств Маркса, относящихся к коммунизму. По Марксу все общественные антагонизмы имеют классовые источники. Ликвидируя частную собственность на средства производства, революция ликвидирует классы, а тем самым источники общественных конфликтов. Конфликты после революции — результат непреодоленного еще сопротивления имущих классов. А так как Маркс предвидел уничтожение всех посредников в социалистическом обществе, то сопротивление это следует осуществить путем ликвидации либеральной, а следовательно буржуазной системы разделения властей и установления «единства» законодательной, исполнительной и судебной власти. То же самое и с проблемой «национального принципа» в будущем обществе. Стремление поддерживать национальную и культурную обособленность необходимо признать пережитком капитализма. Далее — идентификация государства с гражданским обществом. Наиболее простым способом толкования этой идеи — поскольку унаследованная общественная структура это структура буржуазная — является поглощение всех форм этого общества новым государством, которое не может быть ничем иным, как государством рабочего класса, ибо правит в нем партия, исповедующая марксизм, то есть идеологию пролетариата. Отрицательная свобода в том смысле, какой придавала понятию либеральная традиция, также не должна

найти применения в социалистическом обществе, ибо она «выражает» только антагонистический характер этого общества: следовательно, строительство нового мира можно начать с отмены этой свободы, заменив ее свободой высшего порядка, которая заключается в единстве индивида с общественным целым, а поскольку пролетариат — в соответствии с дефиницией — выражает свои стремления через пролетарское государство, то все те, кто каким-либо образом из достигнутого единства выпадают, являются пережитками капитализма и заслуживают уничтожения. В случае нужды к нашим услугам удобный принцип: прогресс человечества достигается всегда за счет индивидуумов и не может быть по-иному, пока не достигнут коммунистический абсолют.

Таким образом марксистско-романтическая теория единства, соединенная с теорией классов и классовой борьбы, могла (это не значит, что должна была в силу исторической необходимости) стать основой политики крайнего деспотизма, воплощающего якобы максимум свободы. И действительно, если, как учил Энгельс, общество тем свободнее, чем лучше господствует оно над условиями своей жизни, то не будет серьезным искажением этой доктрины исповедовать, что общество тем свободнее, чем жестче оно регулируется, то есть, чем деспотичнее оно управляется.

Поскольку, в соответствии с Марксом, социализм отменяет господство объективных экономических законов и подчиняет условия жизни сознательному человеческому контролю, легко сделать вывод, что в социалистическом обществе «в принципе» все можно сделать, то есть человеческая

воля, воля революционной партии может не считаться с объективными экономическими законами, а способна, силой собственной творческой инициативы, подчинить себе все элементы хозяйственной жизни и манипулировать ими по своему усмотрению. Мечта Маркса о единстве могла таким образом осуществиться, как деспотическая власть партийной олигархии, а его прометеизм — как попытка организовать экономическую жизнь с помощью полицейских средств, что и пробовала делать ленинская партия в первые годы после прихода к власти. Экономический волюнтаризм, от которого отказались лишь в дни, когда новое общество очутилось на краю пропасти, был своеобразным, но отнюдь не явно карикатурным выражением марксова прометеизма. (Китайский социализм пережил очень похожую эпоху, приведшую к таким же катастрофическим результатам). При социализме каждая экономическая неудача могла объясняться только злой волей управляемых, а злая воля трактовалась только как сопротивление имущих классов. Таким образом, правители никогда не искали причин своих неудач в ошибках доктрины, а сваливали их — в соответствии со своим собственным марксизмом — на буржуазию и, естественно, ужесточали репрессии.

Короче — ленинско-сталинская версия социализма была в определенном смысле в о з м о ж н о й интерпретацией указаний Маркса, хотя, несомненно, и не единственно возможной. Действительно, если свобода — это единство общества, то чем больше единства, тем больше свободы; если «объективные» условия единства достигнуты (а именно: произведена конфискация буржуазного иму-

щества), то все проявления недовольства существующим положением вещей являются проявлением капиталистического прошлого, которое следует подавлять надлежащим образом. Прометейский принцип творческой инициативы и пресловутый исторический детерминизм раздвоились: принцип инициативы воплотился в правящем политическом аппарате, а отсталые массы должны были принять свою судьбу как историческую необходимость, которая, однако, если ее правильно понять, идентифицируется со свободой. Легче легкого найти у Маркса цитаты, подтверждающие, что «надстройка» — это инструмент «базы», а и ту, и другую необходимо выразить в классовых категориях. Если же мы имеем новые производственные отношения, соответствующие интересам пролетариата, то «надстройка», а следовательно, право, государственные учреждения, литература, искусство, наука должны служить новым отношениям, потребности которых определяет, само собой разумеется, сознательный авангард пролетариата, то есть партия. Таким образом, и отмена права, как института посредничества между властью и индивидом, и универсализация сервилизма, как главного принципа функционирования культуры, все это выглядело идеальным воплощением марксистской теории.

В ответ на эти возражения легко доказать, что Маркс (за исключением, может быть, периода революции 1848 г.) не только не ставил под сомнение демократические принципы правления, но считал их необходимым элементом народовластия. Если он дважды, причем без каких бы то ни было объяснений, употребил выражение «диктатура пролетариата», то сделал это, имея в виду классовое

содержание власти, а не (как хотел Ленин) уничтожение демократических институтов. Так было на самом деле. Поэтому исторически осуществленный социализм, то есть деспотический социализм, не является воплощением намерений Маркса. Вопрос, однако, заключается в другом: является ли он — этот социализм — и в какой степени воплощением логики доктрины? Можно смело сказать теперь, что доктрина не так уж невинна перед лицом такой интерпретации, хотя было бы абсурдом полагать, что деспотический социализм явился порождением этой самой доктрины. Ленинско-сталинская версия марксизма является действительно только версией, то есть попыткой практического применения идей, которые Маркс выразил в философской форме, лишенной явных принципов политической интерпретации. Убеждение, что свобода измеряется в конечном счете уровнем единства общества и что источником общественных конфликтов могут быть только противоположности классовых интересов, является составной частью теории. Если при этом считать, что может существовать техника установления общественного единства, тогда деспотизм становится естественным решением, ибо до сих пор неизвестны другие способы, ведущие к этой цели. Идеальное единство осуществляется путем ликвидации всех институтов общественного посредничества, то есть полным подавлением представительной демократии, а также права, как самостоятельного инструмента регулирования конфликтов. Понятие отрицательной свободы действительно исходит из конфликтного общества. Если мы примем, что такое общество — это то же самое, что классовое общество, а последнее

является системой, в которой существует частная собственность, не будет ничего странного в парадоксе: акт насилия, отменяющий частную собственность, отменяет одновременно нужду в отрицательной свободе, то есть — просто в свободе.

Так Прометей, видящий сон о своем могуществе, просыпается Грегором Самса — героем Кафки.

КОЛАКОВСКИЙ Лешек — родился 23 октября 1927 года в Радоме, в Польше. В 1945-1949 годах учился в Лодзинском университете. В 1953 году получил звание доктора философии. С 1947 по 1949 гг. преподавал в Лодзи, а с 1950 по 1968 год в Варшаве. С 1956 года — профессор Института философии Польской Академии наук. В 1959 году — заведующий кафедрой Истории современной философии. С 1964 года — профессор философии Варшавского университета. С 1957 по 1959 год был также редактором журнала «Студия Философична» и одновременно членом редколлегии еженедельника «Нова Культура». В 1955 году впервые выехал в Западную Европу, где присутствовал на международном религиозно-философском конгрессе в Риме в качестве наблюдателя, после чего провел несколько месяцев во Франции и в Голландии, занимаясь изучением религиозных трудов семнадцатого века. С 1946 года Колаковский был членом Польской объединенной рабочей партии, откуда исключен в 1966 г. В марте 1968 года уволен также из Варшавского университета.

В декабре того же года начал работать приглашенным профессором философии в университете Мак-Гилл в Монреале, а затем на той же должности в Калифорнийском университете в Беркли. В настоящее время Л. Колаковский является членом колледжа «Ол Соулз» в Оксфорде, в Великобритании.

ПОЧЕМУ В ЮГОСЛАВИИ НЕТ САМИЗДАТА?

Явление «подпольной литературы» или тайное издание литературных и политических произведений, удачно именуемое теперь «самиздатом», очевидно, существует пока только в Советском Союзе. Сообщения о появлении подобной литературы в других коммунистических странах очень редки. Еще меньше данных о том, что в какой бы то ни было другой стране, кроме России, существует писатель, которого хотя бы отдаленно можно было бы приравнять к Солженицыну. По всему видно, что «неофициальная» литература — явление, глубоко связанное с русскими традициями, корни которых берут начало еще из дооктябрьского периода.

Трудно ответить на вопрос, почему «подпольная литература» не появилась в других странах восточного блока подобно тому, как она появилась в Советском Союзе, — несмотря на то, что политическая обстановка и состояние в области культуры в этих странах были схожи с советскими, а в некоторых из них это сходство существует и по сей день. Югославия прошла свой собственный путь развития, поэтому обстановка и в этой области была там особая.

Те, кто знаком с положением в Югославии, подтвердят, что эта страна после второй мировой

войны была, по сути дела, Советским Союзом в миниатюре. «Ждановцы» югославского типа устреивали после 1945 года погромы и в титовской вотчине. Это проявилось не только в прославлении советского «соцреализма», но и в борьбе против так называемых буржуазных традиций народов Югославии.

Однако — и это очень важно — в ждановском разгуле послевоенного периода, направленном против югославской культуры и литературы, не участвовали, вернее, отказались участвовать некоторые из маститых писателей-коммунистов, — например, известнейший и старейший хорватский писатель Мирослав Крлежа, а также один из наиболее выдающихся представителей сербского сюрреализма Марко Ристич. Вдобавок ко всему, — вопреки нажиму партийных литературных критиков, таких, например, как словенец Борис Зихерл, — многие из новых писателей Югославии (хотя они и состояли в коммунистической партии) просто не пожелали писать по канонам «соцреализма». Между ними особое место занимает хорватский писатель-романист Петар Шегедин, находящийся в настоящий момент снова в немилости, — после того, как Тито в 1971 году расправился с партийными и государственными руководителями Хорватии. Его роман «Божьи дети» («Djeca Vožja») в свое время был переведен на немецкий язык.

Период «соцреализма» в Югославии, продолжавшийся до конфликта Тито со Сталиным в 1948 году, никаких более или менее значительных успехов с точки зрения искусства не дал.

Через два года после разрыва Тито со Сталиным Мирослав Крлежа на съезде писателей Юго-

славии в Любляне впервые объявил войну «социалистическому реализму». Поборники «ждановщины» — одним из главных среди них был сербский писатель Радован Зогович — перестали играть какую бы то ни было роль в литературе и вообще в культурной жизни Югославии. Писатели старшего поколения, вошедшие в конфликт с партией еще до войны, — из-за того, что партия требовала от них абсолютного повиновения, — снова начали печатать свои произведения. А писатели младшего поколения в тот период уже искали образцы для подражания в западных литературах, главным образом в американской и английской. Важную роль при этом повороте к Западу сыграл журнал молодых хорватских писателей «Круги» («Krugovi»), в котором начали печатать свои первые произведения все наиболее значительные писатели Хорватии.

Благодаря конфликту со сталинской Россией, коммунистическая партия Югославии в значительной мере изменила свое отношение к культуре и литературе. В партийных документах было открыто заявлено о том, что коммунисты больше не желают играть роль арбитра в вопросах искусства, хотя и здесь, как и в иных случаях, действительность не совпадала с партийными декларациями. Однако югославские художники и писатели пользовались гораздо большей свободой и имели возможность выступать более открыто, чем их коллеги в других коммунистических странах.

Конечно, ту свободу, которой пользовались деятели искусства в Югославии, в данном случае писатели, нельзя было сравнивать со свободой писателей западных стран. Партия все еще добива-

лась идеологически выдержанных литературных произведений. В течение ряда лет после разрыва с Советским Союзом в рецензиях на книги в Югославии можно было найти рассуждения об идеологическом направлении отдельных произведений. Партийные критики зачастую не обращали внимания на эстетическую ценность литературных произведений и в то же время резко атаковали возможные идеологические отклонения некоторых писателей.

Однако коммунистической партии, после того как она осудила советские методы, не удалось обучить собственные кадры высококвалифицированных идеологов, которые могли бы выступать по вопросам литературы на одном уровне с литературными критиками-немарксистами. Партии не оставалось ничего иного, как ограничиться ролью стража чистой идеологии. Литературы народов Югославии развивались в основном без нажима служебной идеологии Союза коммунистов Югославии. Кроме того, несколько наиболее известных партийных интеллектуалов, — как черногорец Милован Джилас или серб Моше Пияде, — разорвали с партией или умерли. Бывшие «ждановцы» совершенно исчезли из литературной жизни или сделали профессорами университетов, как упомянутый выше словенский критик Борис Зихерл. На литературную жизнь они больше влияния не имели.

Однако полной свободы в литературе все же не было. Некоторые темы были для писателей «табу» и их никто не смел касаться. Так, например, ни в хорватской, ни в сербской литературе до сего дня не опубликовано ни одного произведения, в

котором упоминалось бы о судьбе тех, кто во время второй мировой войны был противником коммунистических партизан Тито. О партизанской борьбе против немцев, итальянцев и их местных союзников написаны многочисленные романы, иногда весьма критического содержания, но противники Тито изображались в них всегда или чересчур отрицательно, в черно-белой манере, или слишком схематически.

Есть еще одна тема, которой боялись касаться, а именно — насильственная коллективизация югославской деревни после войны. Югославская партия после второй мировой войны загоняла крестьян насильно в колхозы, причем были совершены многочисленные преступления. Обо всем этом написано или очень мало, или не написано вообще. Несколько произведений о бедствиях сторонников сталинской политики в Югославии были встречены многочисленными протестами в официальной партийной критике.

Из всего сказанного можно заключить, что свобода писателей в Югославии кончается там, где они рвут с партийной и государственной политикой текущего момента. Это весьма болезненно ощутил на практике Михайло Михайлов, сын русских эмигрантов в Югославии, который после опубликования своих путевых записок о положении культуры в Советском Союзе («Лето московское 1964») подвергся административным гонениям, которые не прекращаются по сей день, закончившись недавно новым арестом.

Еще более тяжелая участь постигла Милована Джиласа: интеллигента, политика, писателя. Ни одно из его произведений, даже чисто литератур-

ных, не могло быть опубликовано в Югославии. После расправы Тито с «хорватской весной» партия поступает таким же образом с хорватским писателем Петаром Шегедином. Его произведения изымаются из сборника «500 лет хорватской литературы», несмотря на то, что его многочисленные работы никакого отношения к актуальной политике не имеют.

Понимая, что при выборе темы следует держаться в известных рамках, писатели Югославии начали «отводить душу» в эстетических экспериментах, что особенно заметно в поэзии. Современные литературы Югославии — что касается превосходящего всякую меру экспериментирования — могут соперничать с любой литературой Запада.

Ограниченные в выборе тем и обладающие почти полной свободой экспериментирования, наши художники охотнее всего пишут о прошлом или касаются исключительно субъективной проблематики, зачастую не характерной для национальной и общественной среды, в которой они живут. Произведения, касающиеся проблем современности, попадают довольно редко, а если и появляются, то их авторы стараются избегать политических тем, не созвучных официальной идеологии.

Из всего сказанного можно было бы заключить, что в Югославии есть почва для появления так называемой «подпольной литературы», то есть «самиздата». Однако на это нет даже намека. Почему?

Причин этому множество. Югославская партия поступила более «мудро», чем советская, отказавшись от «социалистического реализма» и от создания своей собственной теории литературы.

Конечно, заслуга писателей в том, что в период югославской «ждановщины» они боролись против подобных попыток партии. Но и сама партия оказалась достаточно разумной, чтобы избежать искушения установить свои особые эстетические законы. Свобода экспериментирования отвлекла внимание писателей и вообще деятелей искусства от насущных проблем человека и от проблем коммунистического общества в Югославии в целом. Писателей, решившихся творить вопреки политической линии партии, какое-то время терпели, потому что еще не было достаточного количества ловких авторов, которых можно было бы им противопоставить. Однако сразу же после того, как Тито расквитался с «хорватской весной» и «сербским либерализмом», их ввергли в тьму забвения или отправили в тюрьмы (в Хорватии: Златко Томишич, Влатко Павлетич, Петар Шегедин и многие другие, в Сербии: Добрица Чосич, Борис Михайлович-Михиз и еще несколько).

После того, как расправились с теми, кто открыто критиковал проводимую партией политику, в литературе остались лишь отдельные, стоящие вне политики писатели, а также такие, кто заявляет о своем согласии с нынешней линией партии. Остальные в своих произведениях выражают то же, что выражали всегда: они заняты своими субъективными личными проблемами, имеющими мало общего с окружающей их действительностью. На поверхность всплыли также некоторые из бывших догматиков, но качество их работ настолько ухудшилось, что от них отмежевываются даже люди, осуществляющие нынешнюю жесткую политическую линию Союза коммунистов Югославии.

Кроме того, следует упомянуть, что в литературах народов Югославии не существуют традиции подпольной литературы. В довоенной Югославии, в которой КПЮ была запрещена, писатели-коммунисты могли действовать более или менее свободно. Лучший пример этому — обширная литературная деятельность патриарха марксистского направления в литературе Хорватии, как, впрочем, и во всей Югославии — Мирослава Крлежи, который, несмотря на помехи, чинимые королевской диктатурой, беспрепятственно публиковал свои романы и драмы, резко направленные против тогдашнего режима. В нынешней коммунистической Югославии подобные явления совершенно немыслимы.

В заключение следует еще добавить, что после расправы Тито с прогрессивным флангом партии писатели и вообще деятели культуры находятся в состоянии выжидания какой-то развязки, но никто не знает, когда она — эта развязка — наступит.

Качество произведений, особенно в Хорватии, упало до предела возможного. За последние два года в Хорватии опубликовано всего-навсего два романа! Положение в Сербии и Словении несколько лучше, но и там нет никаких сколько-нибудь ценных литературных новинок.

Публиковать книги помимо официальных издательств практически невозможно. Не только потому, что такие «частные издания» сразу бы подверглись жестоким санкциям исполнительной власти, но и потому, что читающая публика просто-напросто не приняла бы их. И хотя с первого взгляда Югославия — страна более свободная, чем

Советский Союз, партия и ее тайная полиция УДБа настолько запугали даже своих потенциальных противников, что никто не посмел бы взять в руки какое бы то ни было произведение, напечатанное в неофициальной типографии. Подобные «преступления» караются жесточайшим образом. Известны люди, приговоренные к пяти годам тюремного заключения только за то, что привезли из-за границы номер эмигрантской газеты.

Политическая обстановка в титовской Югославии вообще не благоприятствует созданию свободной «подпольной литературы». Интеллигенция, студенты и все, кого интересует правда о коммунистической действительности вне Югославии, — едут за границу, чтобы там прочесть новые произведения Александра Солженицына и других русских антисталинских писателей, чьи произведения появились на Западе после обострения политической обстановки в нашей стране в декабре 1971 г. Широкие же слои населения вообще мало читают. Югославия по количеству читателей газет и книг находится на предпоследнем месте в Европе: меньше читают только в Албании.

Как уже было сказано — интеллигенция удовлетворяет свои духовные запросы за границей, а широкая публика интересуется главным образом пестрыми иллюстрированными журналами, сработанными по образцу бульварной печати Запада. Только на этом основании многие считают Югославию, по крайней мере наполовину, европейским государством. На самом же деле в области духов-

ной свободы — при почти полном отсутствии сопротивления художников и писателей — Югославия находится позади Советского Союза.

БОРИЧ Гойко — родился 29 сентября 1932 года в селе Подгора в Хорватии. Среднее образование получил в Загребе и Сплите. В 1950 г. совместно с несколькими молодыми хорватскими литераторами пытается создать журнал «Критика», что не удалось из-за противодействия югославской тайной полиции УДБы. В 1954 г. оставляет родину, нелегально перейдя границу через горный хребет Караванки в Австрию. В эмиграции сотрудничает во многих хорватских газетах и журналах, в том числе в «Хорватском ревью». Его произведения напечатаны в «Антологии хорватской эмигрантской поэзии». Публиковал также переводы стихов с немецкого языка, литературную критику. Начиная с 1962 г., работает как переводчик и редактор хорватских передач на западногерманской радиостанции «Немецкая волна» в Кёльне. Сотрудничает по восточноевропейским вопросам с журналом «Остойропа» (Ахен).

“СЁРВЕЙ”

Текущий номер журнала «Сёрвей» (№ 91/92)

содержит:

«РАЗРЯДКА НАПРЯЖЕННОСТИ»

Роберт Конквест	Бриан Крозиер
Джон Эриксон	Джозеф Годсон
Грегори Гроссман	Леопольд Лабедз
Бернард Люис	Ричард Пайпс
Леонард Шапиро	Эдуард Шильс
П. Дж. Ватикотис	

КОММУНИЗМ И ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

Эссе о	
Георге Лукаче	Амадео Бордига
Ромэне Роллане	Анри Барбюсе

А. СОЛЖЕНИЦЫН

«Архипелаг ГУЛаг»	Лидия Чуковская
-------------------	-----------------

Восток — Запад

Н а ш а п о ч т а

«КОНТИНЕНТ» И ЗАПАД

Значение «Континента» для Советского Союза и Восточной Европы, конечно, огромно и, несомненно, послужит темой размышлений для других его участников. Я бы хотел только сказать несколько слов о важности этого журнала для Западного мира.

Сам факт его существования является — и это, очевидно, самое главное — веским напоминанием, что в четко прочерченных линиях географической карты, в гигантских извивах колючей проволоки и минных полей, физически разделяющих Европу, не следует видеть нечто постоянное и непреложное. Признание сфер влияния, механизмов детанта без взаимопонимания и обоюдного обмена в конечном счете обречено на провал. Несерьезность всего этого обнаруживается в полную меру, когда мы сталкиваемся с культурами, идеями, творческой мыслью стран, полагающих себя изолированными от нас простым актом административного деления, то есть с тем, что на самом деле такому делению не подчиняется. Главное заключается в том, что сейчас, когда впервые за 50 лет русская поэзия и проза, общественная и политическая

мысль представлены в эмиграции столь же интенсивно, как и в самой метрополии, Россию уже невозможно безапелляционно считать территорией добровольно принятого на себя духовного карантина. Поток идей и страстей сметает теперь эти искусственные барьеры.

Более того: в новой ситуации творчество русских и восточноевропейских писателей снова становится органической частью мировой литературы. Это вовсе не означает, что идеи Запада просто-напросто внедряются в подобного рода творчество: не менее очевидно (и «Континент» является наиболее ярким подтверждением этого из всего, с чем мы до сих пор сталкивались), что горький жизненный опыт и идеи людей России и других восточноевропейских стран обретенны ими в экстремальных условиях человеческого существования, с которыми Запад не сталкивался, и что этот опыт и эти идеи оказываются сейчас близкими некоммунистическому миру и сами внедряются в его целое.

Как отмечал Солженицын и другие русские авторы, весьма значительная часть западного общественного мнения, включая сюда влиятельные политические и интеллектуальные круги, отличается полным непониманием современного положения в мире. И происходит это именно потому, что эти круги не имеют представления об условиях существования в советском и подобных ему режимах. Чаще всего причина этому — невежество, но иногда за этим стоит также истерическое безрассудство, обусловленное фракционным расколом западного общества. Как говорил Альбер Камю,

просоветские элементы во Франции на самом деле не столько любят жителей Москвы, сколько «бешено ненавидят определенную часть французов».

Другой великий западный писатель — Джордж Орвелл, прекрасно понимавший положение дел, отмечал, как трудно решить, что вызывает у нас большее презрение: их цинизм или их близорукость. Но по мере того, как русские писатели и ученые, историки и поэты выступали свидетелями правды, позиции этих людей становились все менее прочными. Несомненно, что «Континент» сыграт огромную роль в прояснении положения дел для всех, за исключением наиболее ослоподобных в своем нежелании видеть.

Я где-то сказал, что знание положения в России, знание других политических структур, для западного человека означает начало здравого подхода к проблемам всей мировой политики. Причина того, почему именно меня пригласили быть участником «Континента» заключается в том, что я уже пытался довести до сведения западной публики важнейшие факты этого рода — главным образом из области истории и политики. Это был достаточно яркий комментарий общей ситуации, и до самого последнего времени подобный труд мог осуществить только западный исследователь. Об этом можно судить хотя бы по тому, что книга, написанная мной без прямого контакта с Россией, была переведена и циркулировала в Самиздате, ибо она строилась на широком фундаменте материала советской истории, который был недоступен для граждан Советского Союза.

В этой связи я хотел бы воспользоваться случаем и повторить мое обращение, которое я сделал когда-то по поводу Александра Болонкина — младшего преподавателя Московского высшего технического училища, осужденного на 4 года лагерей. Главным обвинением против него было — перевод и распространение в машинописной копии моей книги «Большой террор». Кто же должен нести наказание за то, что факты советской истории недоступны для людей в Москве?

Как только мы ставим перед собой этот вопрос, мы оказываемся лицом к лицу с самим существом позиции и внутренних побуждений советского руководства. Оно не способно говорить правду о своей собственной истории (а сейчас оно не способно измыслить даже последовательную ложь о ней: большая часть ее событий все еще не описана вовсе). Здесь и находится главный дефект системы: «нечеловеческая власть лжи», как назвал это Пастернак, остается ее определяющей чертой. И все великое движение русской мысли и литературы, представляемое «Континентом», есть — в самой своей основе — требование правды и такой политической системы, которая была бы терпима к правде. Режим, признающий правду истории, закономерно оказался бы терпимым и к правде художественной. При отсутствии же такой терпимости, едва ли что может измениться в не вызывающей доверия сути московского руководства — таков неизбежный вывод, к которому мы должны прийти. Чем больше люди на Западе понимают это, чем меньше остается возможностей для дезинформации, тем больше шансов на то, что Запад,

найдя в себе, наконец, достаточную силу и зоркость, сможет противостоять международной ситуации, а Советский Союз, в свою очередь, встанет на путь развития к более открытому и достойному обществу.

И в этой перспективе «Континент» тоже открывает эпоху.

Роберт Конквест

КОНКВЕСТ Роберт — родился в 1917 году, образование получил в университете в Гренобле (Франция) и в Оксфорде. Во время второй мировой войны, с 1939 года, он служил в английской пехоте и закончил войну в войсках взаимодействия с Советской армией на Балканах. Затем он работал в английском посольстве в Софии в качестве сотрудника Министерства иностранных дел и в Организации Объединенных Наций. За свои заслуги Р. Конквест был награжден Орденом Британской Империи. С 1956 года Конквест занимался исследовательской деятельностью в Школе экономики в Лондоне, будучи профессором английской литературы в университете г. Буффало, работал литературным редактором в журнале «Спектейтор» и старшим преподавателем в Институте по изучению России при Колумбийском университете. Среди книг, написанных Конквестом, можно назвать следующие: «Власть и политика в СССР», «Россия после Хрущева», «Большой террор», «Дело Пастернака».

Р. Конквест является также автором нескольких романов, научно-фантастических произведений, критических работ, трех сборников стихотворений и составителем нескольких антологий современной поэзии.

САХАРОВ И КРИТИКА «ПИСЬМА ВОЖДЯМ»

Ожидая выхода в свет сборника «Из-под глыб», я весь 1974 год воздерживался от ответов на изобильную критику моего «Письма вождям»: сам адрес «Письма» не допускал достаточно глубокого обоснования моих предложений, оно более обнаружится теперь в моих статьях Сборника. Критика, пришедшая от московской интеллигенции, больше всего, пожалуй, поражала не сама собою, а — холодным игнорированием другого, одновременно опубликованного документа и обращенного прямо к советской интеллигенции: «Жить не по лжи». Следовало или не следовало обращаться к советским правителям, «так» или «не так» было им предложено, откажутся или не откажутся они от идеологии, — это не имело решающего и единственного значения: был предложен второй и более верный путь, с нашей стороны: отшатнуться от идеологии нам, перестать нам поддерживать это злобное чучело — и оно рухнет помимо воли «вождей». Странно: этого призыва, обращенного прямо к нам, многословные московские критики моего «Письма» не заметили. По пословице: где просто, тут ангелов сб-сто, а где хитро, там ни одного.

Западная критика удивила другим: непочтением «Письма». Начиная с поспешных и безответственных газетных заголовков, отзывались так, будто речь шла о каком-то другом до-

кументе, где предлагалось не самоограничение, но агрессия.

И не пришлось бы мне вовсе отвечать, если бы среди первых же критиков не оказался А. Д. Сахаров, чьё особенное положение в нашей стране и мое к нему глубокое уважение не дают возможность игнорировать его высказывания. Сегодня, уже имея в виду аргументацию сборника «Из-под глыб», я считаю своим долгом и правом дополнительно кратко ответить Андрею Дмитриевичу.

Я счастлив отметить, что сегодня мы сходимся с ним несравненно по большему числу вопросов, чем это было 6 лет назад, когда мы познакомились в самые месяцы появления его меморандума. (Я хочу надеяться, что еще через 6 лет область нашего совпадения удвоится.) Пункты нашего согласия уже отмечались в прессе, и среди главных тут (используя сахаровские формулировки): неудача социализма в России не вытекает из специфической «русской традиции», но из сути социализма; отказ от «социалистического мессианизма», от явной и тайной поддержки смут во всем мире; «отделение марксизма от государства»; прекращение опеки над Восточной Европой; отказ от насильственного удержания национальных республик; разоружение в широких пределах; освобождение политзаключенных, терпимость в идеологии; укрепление семьи, воспитания, покрытие «потерь во взаимоотношениях людей, в их душах».

Но есть и очень важные пункты расхождений, в которых нельзя оставить неясности. Главная из них — роль Идеологии в СССР. Сахаров считает, что марксистская идеология почти не име-

ет влияния и значения: для правителей она лишь «удобный фасад», а в основе их — только жажда власти, ни внешняя, ни внутренняя политика страны якобы вообще не определяются ею, общество «идеологически индифферентно», лишь «лицемерная болтовня заменяет присягу на верность».

И этого лицемерия — мало? Да красным электродом прожгло наши души через все 55 лет: через всю оплевательную «самокритику» 20-х и 30-х годов, публичные отречения от родителей и друзей, издевательски-надрывную «добровольность займов» (для нищих колхозников!), ликование народов по поводу того, что они оккупированы (день оккупации — национальный праздник!), ликование населения при известиях об арестах и расстрелах, сверхчеловеческую злодейскую твердость у палачей и сегодняшнюю обязательную мерзкую ложь, вот эту принудительную «присягу» — а ею интеллигенция-образованщина, втайне мечтая о свободе, послушно и поддерживает своё рабство. Всего несколько лет назад даже редакция «Нового мира», не говоря о множестве «передовых» НИИ, выразила печатный восторг по поводу оккупации Чехословакии, то есть надругалась над собственной многолетней линией — и Идеология не имеет значения? Да завтра произойдет еще одно такое событие — и снова образованщина подтвердит свое высшее одобрение. Идеология выкручивает наши души, как поломойные тряпки, она растлевает нас, наших детей, опускает нас ниже животного состояния — и она «не имеет значения»? Есть ли что более отвратительное в Советском Союзе? Если все не верят и все под-

чиняются — это указывает не на слабость Идеологии, но на страшную злую силу ее.

И той же властной хваткой она ведет наших правителей — от дореволюционных ленинских «Уроков Коммуны», что только массовыми расстрелами должна утверждаться пролетарская власть, от одержимо-ненавистного тайного ленинского письма о разгроме Церкви — и через реальное уничтожение целых классов и десятков миллионов разрозненных людей (какие властолюбцы для утверждения какой власти когда нуждались в таком стократном запасе прочности??), через коллективизацию, экономически бессмысленную, но заглотное приношение в идеологическую пасть (недавно хорошо показал Агурский: главной целью коллективизации было — сломить душу и древнюю веру народа) — и до избыточного, ненужного нам разлития азиатского коммунизма всё дальше на юг, до растоптания союзного чешского народа — не по государственным соображениям, а всего только из-за идеологической трещины. И сегодня правители, отравленные ядом этой Идеологии, неотвратимо шутовски твердят по шпаргалкам, хотя б сами не верили в то (пусть понимая только власть — но и они рабы Идеологии), и безумно стремятся поджечь весь мир и захватить его, хотя это погубит и сокрушит их самих, хотя покойней было б им сидеть на захваченном — но так гонит их Идеология! Вся внутренняя ложь и вся внешняя экспансия, и оправдание войн и убийств («прогрессивные» убийства при классово-оправданных обстоятельствах целесообразны!), оправдание завтрашних войн — всё на этой Идеологии. И на ее почти мистическом влиянии — полу-

вековая восхищенная завороченность Запада, его приветствия нашим зверствам: никогда перед кучкой простых властолюбцев так бы не ослеп весь просвещенный мир.

Марксистская Идеология — зловонный корень сегодняшней советской жизни, и только очистясь от него мы можем начать возвращаться к человечеству.

Второе заметное расхождение между Сахаровым и мной: допустимость и реальность какого-нибудь иного пути развития нашей страны, кроме внезапного (и необъяснимо откуда) наступления полной демократии. Теоретические соображения об этом теперь можно найти в моей первой статье (дополнение 1973 г.) сборника «Из-под глыб». Практическое обозрение истории и перспектив демократии в России требует отдельного рассмотрения на историческом материале. Как и во многих местах, мне фальшиво приписано вместо сомнений о внезапном введении демократии в сегодняшнем СССР — полное отвращение к демократии вообще. Я обратил бы внимание читателей снова на М. Агурского, кто в отзыве (Вестник РСХД, № 112) на «Письмо вождям» ответственно пишет о величайшей опасности м е ж н а ц и о н а л ь н ы х войн, которые затопят кровью рождение у нас демократии, если оно произойдет в отсутствие сильной власти. Межнародные противоречия в итоге советской системы — десятикратно накалённые, чем были в прежней России. Этому вопросу в нашем Сборнике посвящена одна из статей И. Шафаревича. А происхождение тоталитаризма отнюдь не из авторитарных систем, существовавших веками и никогда не дававших тоталитаризма,

но — из кризиса демократии, из краха безрелигиозного гуманизма, прослежено еще в одной статье нашего Сборника.

Наконец, существенное непонимание возникает между нами тогда, когда Сахаров, к моему удивлению, обвиняет меня в «великорусском национализме», и даже слово «патриотизм» относит к «арсеналу официозной пропаганды» (как и «православие» «настораживает его» — оттого, что «Сталин допускал приручённое православие» — то есть угнетал его по своей программе). Меня, когда я предлагаю никого не угнетать, всех освободить, сосредоточиться на внутреннем лечении народных ран — назвать националистом? Какое ж слово тогда для завоевателя? Можно было бы искать разгадку во всеобщей путанице терминов: империализм, нетерпимый шовинизм, надменный национализм и скромный патриотизм (любовь-служение своей нации и стране с откровенным раскаянием в ее грехах, под это определение подходит и сам Сахаров). Но кто хорошо знает нынешнюю обстановку в советской общественной среде, тот согласится, что дело — не в путанице терминов, а в исключительной накаленности чувств. Когда в Нобелевской лекции я сказал в самом общем виде:

«Нации — это богатство человечества, это — обобщенные личности его, самая малая из них несёт свои особые краски, таит в себе особую грань Божьего замысла»

— это было воспринято всеобще-одобрительно: всем приятный общий реверанс. Но едва я сделал вывод, что это относится так же и к русскому народу, что так же и он имеет право на нацио-

нальное самосознание, на национальное возрождение после жесточайшей духовной болезни, — это было с яростью объявлено великодержавным национализмом. Такова горячность — не лично Сахарова, но широкого слоя в образованном классе, чьим выразителем он невольно стал. За русскими не предполагается возможности любить свой народ, не ненавидя других. Нам, русским, запрещено заикаться не только о национальном возрождении, но даже — о «национальном самосознании», даже оно объявляется опасной гидрой.

Теперь, когда вышел Сборник, я могу сослаться на высокую нравственную аргументацию В. Борисова, напоминающего нам о нации-личности в личностной иерархии христианского космоса, о том, что не историей создаются нации, но нации создают историю, на долгой жизни своей, то в свете, то во тьме, ища, как предельно-полно выразить свою личность. И подавление этой личности — величайший грех. (Для меня, как для писателя, тут еще трепещет судьба языка: если подавлять национальное самосознание, то ведь надо и язык убивать, как свидетеля национальной души? Да такое убийство русского языка и происходит уже десятилетиями в СССР.) Другой мой соавтор, М. Агурский, которого никак не обвинишь в пристрастии, указал недавно, что нынешний «национализм» большой нации есть ее самозащита от собственной экспансии, которая истощает и приводит к вырождению прежде всего ее самою. Да, сегодня русский порыв к национальному самосознанию — есть оборонительный вопль тонущего народа. Не смотрите на внешние успехи государственной силы: как нация мы, русские, находимся

в пучине гибели и ищем — есть ли еще за что уцепиться и выбраться.

Особенно задело Сахарова и оскорбило единомыслящих с ним читателей мое выражение в «Письме»: «несравненные страдания, перенесенные русским и украинским народами». Я рад был бы, чтоб это выражение не имело оснований. Однако я хочу напомнить А. Д., что «ужасы Гражданской войны» далеко не «в равной степени» ударили по всем нациям, а именно по русской и украинской главным образом, это в их теле бушевала революция и сознательно-направленный большевистский террор: большинство нынешних республик были в отпавшем состоянии, а остальные малые народы до поры щадились и поддерживались по тактике коммунизма, использовались против главного массива. Под видом уничтожения дворянства, духовенства и купечества уничтожались более всего русские и украинцы. Это их деревни более всего испытали разорение и террор от продотрядов (большой частью инородных по составу). Это на их территории было подавлено более 100 крестьянских восстаний, в том числе обширные Тамбовское и Сибирское. Это они умирали в великие искусственные большевистские голоды 1921 на Волге и 1931-1932 на Украине. Это в основном их загнали толпой в 10-15 миллионов умирать в тайгу под видом «раскулачивания». (Как и сейчас нет деревни беднее русской.) А уж русская культура была подавлена прежде и вернее всех: вся старая интеллигенция перестала существовать, эпидемия переименований катилась как при оккупации, в печати позволено было глумиться и над русским фольклором, и над искусством

Палеха, и от ленинской «шовинистической великорусской швали» родилась дальше волна беспрепятственных издевательств: «русопяительство» считалось литературно-изящным термином, Россия печатно объявлялась призраком, трупом, и ликовали поэты:

«Мы расстреляли толстозадую бабу Россию,
Чтобы по телу ее пришел Коммунизм-мессия».
(Если нужны библиографические уточнения, я их представлю публично.) И так вьюжило лет 15 — и никто нигде ни у нас, ни за границей не предположил и не обмолвился, что в Советском Союзе существует какое-либо «национальное угнетение». И лишь с конца 30-х годов, когда два наибольших народа были уже убиты и по социалистической переменчивой тактике (прекрасно вскрытой теперь И. Шафаревичем) пришло время перенести давление на малые народы, — только с этих пор услышали мы о национальном угнетении в СССР, что тоже совершенно верно.

Я не буду входить во второстепенные наши расхождения с А. Д. Сахаровым: о том, можно ли так верить в «научное и демократическое регулирование экономики», как верит он, но какое не осуществилось еще даже в Европейском сообществе; в конвергенцию; в предпочтительную важность эмиграции перед всеми видами других прав остающегося населения; в расцвет России через приток иностранных капиталов (будто они будут искать нашего расцвета, а не своей короткой быстрой выгоды с пренебрежением к нашей природе). Я не буду возвращать ему упреков в утопичности: в нашем беспомощном положении как не попытаться порой и утопию?

Но нельзя не удивиться, что А. Д. Сахаров, севши мне отвечать, допустил большую небрежность в истолковании моей точки зрения. Он приписывает моему проекту: «замедление международных научных связей», «идеологический изоляционизм», «стремление отгородить нашу страну от торговли... от обмена людьми и идеями», «общинную организацию производства», «отдать ресурсы государства и результаты научных исследований... энтузиастам национально-религиозной идеи и создать им высокие доходы...» и т. д. Всякий, кто потрудится еще раз перечитать мое «Письмо», убедится, что ничего подобного там нет.

Эта горячность и опрометчивость пера, не свойственная Сахарову, выразила горячность и поспешность того слоя, который без гнева не может слышать слов «русское национальное возрождение».

В нынешнем Сборнике разъяснено, как мы это возрождение понимаем: пройти свой путь раскаяния, самоограничения и внутреннего развития, внести свой вклад в добрые отношения между народами, без которых никакая «прагматическая дипломатия» и никакие ООН'овские голосования не спасут человечество от гибели.

Александр Солженицын

ЕЩЕ РАЗ О ПРАВДЕ ИСТОРИИ

Сколько понадобится в будущем поколений историков для очистки подлинной картины русской жизни от бессовестной пропагандистской лжи, для восстановления подлинного хода событий? Это будет несомненно одна из самых тяжелых задач, какие когда-либо стояли перед человечеством: гигантскому количеству материалов соответствует плотность окружающего их мрака.

Но даже если можно будет получить свободный доступ к официальным источникам, какую гарантию подлинности они дадут исследователям важнейших проблем? Хрущев, например, подтвердил официально провокационный характер убийства Кирова. Но при каких обстоятельствах была решена эта позорная инсценировка? Кто в ней участвовал? Кем и как, на основании каких инструкций были подготовлены проскрипционные списки партийных кадров в предвидении этого преступления? Вопросов таких бесконечное количество.

«Это наивные вопросы, — поведал как-то Тольятти бывшему своему товарищу, — решения достаточной важности никогда не протоколируются, а соответствующие приказы никогда не фиксируются в письменном виде».

Если это правда — мы имели бы свидетельство того, что даже в наиболее прочный — казалось

бы — период своей тирании негодяи, претендующие на воплощение дела революции, имели полное представление о своей гнусности и проявляли особенный страх перед судом истории. Криминология, однако, не хочет соглашаться с понятием «идеального», не оставляющего следов преступления: с опозданием и трудом, но почти всегда правда выходит на дневной свет. Я имею в виду, конечно, правду подробностей, ибо главная правда, правда о строе не подлежит больше никакому сомнению для всех, кто думает, пишет или говорит — честно.

Созданию непоколебимого фундамента для этой правды посвятили все свои силы многочисленные свидетели, на собственной шкуре познавшие физический и идеологический террор коммунизма. Они привели его на суд мирового общественного мнения, пригвоздили к позорному столбу. Книги их появились в странах, где свобода слова позволяет агентам диктатуры выступать с опровержениями. Опровержений мы не услышали, мы услышали только, что книги, разоблачающие коммунистическую деятельность — дело рук предателей, ренегатов, слуг империализма.

Нет ни оснований, ни повода для сокрытия того факта, что даже в демократических странах эта примитивная клевета запугивает нередко самозванных «прогрессивных» интеллектуалов и — само собой — вызывает бешеную ярость бывших партийных товарищей. Было бы легко притворяться равнодушным перед лицом этих нападок и, связанному с ним, преданию анафеме. Было бы легко,

если бы не оставляло это болезненных ран в сердце всех тех, кто, несмотря ни на что, остается верным делу социализма.

Игнацио С и л о н е

*Из предисловия к «Архиву революции»
в библиотеке журнала «Культура».**

СИЛОНЕ Игнацио, сын мелкого землевладельца и ткачи, родился в маленьком местечке горной области Средней Италии, Абруццо, 1 мая 1900 г. Пятнадцати лет, оставшись сиротой, он был вынужден прервать обучение в лицее и начал зарабатывать себе на жизнь. Был редактором «Авангарда» и «Рабочего». С установлением фашистского режима Муссолини, активно работал в итальянском коммунистическом подполье. Укрываясь от преследований полиции, бежал за границу. В 1930 году поселился в Швейцарии. В том же году он вышел из коммунистической партии и написал роман «Фонтамара», который вышел по-немецки в Цюрихе в 1933 г. и вскоре был переведен на 25 языков. В 1940 году И. Силоне организовал сеть подпольных социалистических групп для борьбы с фашизмом. Вернулся в Италию в 1944 году. Игнацио Силоне — автор многочисленных книг: «Хлеб и вино», «Школа диктаторов», «Семя под снегом», «Судьба одного бедного христианина» и других.

* Русский копирайт «Континента».

ПАМЯТИ ПАВШИХ: АРКАДИЙ БЕЛИНКОВ

Однажды у меня очень болели зубы. Дело шло к старости. И один молодой человек, очень милый и добрый, из полублатных, переживавший мои боли как собственную, у которого, однако же, то ли по молодости лет, то ли по каким-то иным, мистическим причинам, зубы были в ажуре, в прекрасном состоянии, мне проникновенно сказал. Он сказал:

— Извините, Андрей Донатович, но вы, наверное, ужасный грешник. Потому что у вас всё время болят зубы, тогда как у меня, например, еще никогда не болели...

Я не спорил. Наверное, так и надо, и был он праведником, вполне вероятно. Потому что через полгода или год, при очередном приступе зубной боли, когда, сами знаете, хочется собственную голову отрезать, мой молодой послушник, Мишка Кóнухов, опять мне сказал с укором:

— Нет-нет, вы — грешный человек, Андрей Донатович. Вот у меня, например, зубы никогда не болят...

Тот эпизод я вспомнил, прочитав недавно в одном первоклассном, уважаемом журнале следующую цитату. Цитата:

«Года два назад группа новых эмигрантов выпустила сборник «Новый колокол» с целью разбудить сознание. Но колокол не прозвуч-

чал, не потому, что главный его вдохновитель, Аркадий Белинков, умер* до выхода сборника, не потому, что в него затесались статьи средней руки. Не успех его был определен отсутствием положительной позиции**. А. Белинков и сотрудники сборника разуверились вконец в революционном идеале, поставили под сомнение национальное начало, к религиозным ценностям остались равнодушны. Что же они могли предложить читателям: голого человека, не верящего ни в прогресс, ни в нацию, ни в религию, а только, но на каком основании, в самого себя? Но философский солипсизм безвыходен и сборник не вызвал никакого отклика».

О-о-о! как болит голова, как ноют зубы — от солипсизма и от безвыходности! «А всё за грехи, за измену зыбке, запечным богам Медосту и Власту», — писал Николай Клюев на смерть Сергея Есенина. И, может быть, был прав. И, вероятно, зубы у меня тогда так страшно болели тоже недаром, а за грехи, накопленные, не отрицаю, за долгие годы жизни. И допустимо, что Белинков «не прозвучал» — совсем не потому, что его запытали чекисты, а просто не был достоин, не имел в душе положительного, национального начала, и за это сердце его и дело не имеют последствий?..

Нет, вот этого я уже не могу допустить! За зубы — согласен. И даже — за Сергея Есенина. Но — не подобает, мне кажется, православному, рели-

* Разбивка всюду моя. — А. Т.

** Вот, вот — зубы болят: значит, грешен.

гиозному журналу, будь это самый прекрасный и самый верный журнал, величаться над телом Аркадия Белинкова за то, что тот не имел положительной позиции в жизни. Слишком много он сделал доброго и хорошего, слишком дорого за всё заплатил...

Мы — не знаем. Мы ничего не знаем. Ни зачем болят зубы, ни почему один автор вдруг талантливее другого. И разве уж так непременно положительные начала гарантируют журналам и авторам заслуженный успех? Да и как знать, кто из нас грешнее, недостойнее, и не должен ли христианин, доколе он помнит Бога, а не почитает себя первым человеком на земле, вспоминать время от времени, что он тоже грешен?

О чем спорить? Кто святее?! Нашли козла отпущения. Нашли грешника — Аркадия Белинкова. И сдохни, и сдохни, выходит, раз ты не достиг нашей святости. Сейчас уже издыхает не Белинков, а его книги, не доросшие до национального, до положительного начала...

Лично я совсем не разделяю взгляды или идеи Аркадия Белинкова. Но мне покоя не дает тот летний день, когда мы шли с ним по писательскому поселку Переделкино — это было давно, это было где-то в 62-ом или 63-ем году. Чтобы вам объяснить, поселок Переделкино состоит из улиц имени К. Тренева, П. Павленко (на последней, например, жил Пастернак — на улице П. Павленко) и других видных писателей. Сказать в точном, в собственном смысле ш ли по этим выдающимся улицам — было бы неправильно. Мы — нет, даже слово ползли не подходит. Хотя ему тогда, если сосчитать, было года сорок два, сорок один —

приблизительно. Но так даже слепые не ходят, даже столетние старики. Он шел, едва переставляя ноги и как бы стоя всё время на одном месте. И говорил очень тихо, мягко и внятно о всякой всячине — об окружающих этот высокий писательский загончик заборах, за которыми по проволоке, на кольце, бегали взад и вперед вразумительные овчарки, охранявшие наших художников от налета какого-нибудь вора, алкоголика или вернувшегося от туда, с Воркуты, с Колымы, давным-давно забытого и погребенного оппонента.

Аркадий был из тех, из оппонентов, из вернувшихся, из вылезших из могилы теней. Аркадий был из тех, и шел он прямым обвинением здесь сидевших и отсиживавшихся за забором писателей. Он сказал тогда — по поводу собственной походки:

— Всё бы ничего, но, вы понимаете, меня ударили позвоночником о несгораемый шкаф...

О чем, бишь, я? Ах да — об овчарке. Она бегала по проволоке, на кольце, под писательским забором, невидимая нам, но хорошо слышимая. И он сказал слабым и очень спокойным голосом:

— О, эту собачку — попадись она нам тогда — мы бы быстренько съели!..

Тогда я, еще ничего не понимавший, но сочувствовавший заранее и жаждавший правды попутчик, спросил с печалью и с прижизненной наивностью:

— А вы бы ее зажарили, собаку? И как это делается на самом деле, объясните, пожалуйста.

И он мне всё объяснил — что ту начальственную овчарку совершенно необязательно жарить, но можно просто так — с потрохами, с кожей,

сырьем — как они жрали тушканчиков, перебежавших дорогу, когда их вели под конвоем, скованных по пятерке, по какой-то казахстанской степи, и всякий шаг в сторону, остановка или наклон считались знаком побега, и стреляли без предупреждения. Тушканчик тогда пытался проскочить перед колонной, у них привычка такая, и какой-то арестант впереди подбил его тяжелой ногой, но нагнуться за ним не посмел (стреляли без предупреждения), и, когда дошла очередь до Аркадия, бредшего в дальней шеренге, он все-таки не то, чтоб нагнулся, он еле заметно, мгновенно, с вытянутым туловищем, присел и вздернул тушканчика, и тут же его шкурка была разодрана вдоль по пятерке и съедена с костями, ни клочка не осталось, извините меня за грубый натурализм.

Но мне же любопытно было, как это делается. И я, попросив прощения за вынужденную бестактность, плохо понимая тогда, что подобный вопрос только пойдет на пользу, в удовольствие вышедшему оттуда, спросил:

— Может быть, вам, Аркадий, неприятно вспоминать — не вспоминайте. Но, может быть, вы расскажете — как вас пытали?

И он мне всё рассказал, очень охотно, легко и весело, с подробностями, как это бывает и к чему по долгу службы прибегал следователь на допросах Белинкова. И всё это, оказалось, очень просто, господа. Никаких особенных, сверхъестественных когтей у КГБ для пыток не было и нет. Был — примус. И это было почти по-домашнему, рассказывал Белинков. И следователю было трудно и скучно всю ночь без конца накачивать старенький примус, который плохо горел и никак не зажи-

гался. Примус ставился под баком, в каких кипят белье, куда на тонких цепочках прищелкивались намертво ноги подследственного, и в поте лица следователь, как нанятый, вынужден был накачивать этот примус до 80-ти градусов в бачке, чтобы термометр не перешел на кипяток, потому что тогда возникала опасность, что ноги арестованного, чего доброго, сварятся и начнется заражение крови, а допрос еще не снят, допрос еще не снят, и долго, долго еще до конца ночи...

Следователь иногда — тайком от жены — приносил для примуса — ну как их? ёршики, ёршики называются, с кухни должно быть, по-домашнему, патриархальному, для прочистки примуса — ёршики. Все эти усилия производились ради признанного антисоветским романа, который написал Белинков.

Когда он бежал на Запад в 68-ом году, его, говорят, упрекали в нелояльности к марксизму, а также, с другой стороны, в недостаточной вере в Россию. Я не знаю. Может быть, он что-то такое и сказал. Дескать, примус, овчарки. ПЕН-клуб. Тушканчик. «Страна рабов, страна господ...»

Я только могу подтвердить, если это еще нуждается в подтверждении, что Аркадий Белинков любил Россию и написал ради нее несколько прекрасных вещей, с которыми мы — при наших разнообразных идеях — можем сходиться или расходиться, но которые, при всех расхождениях, имеют право хотя бы на элементарное существование. И они же, эти вещи, как произведения искусства, имеют право на сгущение речи и мысли до степени гротеска, гиперболы, которые нельзя же во всех обстоятельствах понимать буквально. Когда при-

ходится слышать или читать у почтенного автора о «руссофобской концепции А. В. Белинкова», о том, что ему была свойственна «какая-то органическая неприязнь (если не сказать ненависть) ко всей России, как таковой», и в этой ненависти он будто бы смыкался с теорией, «недалеко ушедшей от розенберговской», я думаю, здесь, в лучшем случае, мы имеем дело с явлением очередной аберрации, принимающей страстность свидетельства и поэтические преувеличения, на которые был щедр Белинков, за «вредную концепцию». Его «ненависть к России» была другой стороною его любви, если читать внимательно, без предубеждений, любви к России, боль за которую говорит нам больше прекраснодушных иллюзий. И я ручаюсь, книги, которые он написал, рискуя головой, до сих пор полностью не опубликованные то ли за резкий слог, то ли за дерзкий нрав, — хочет видеть, ждет и требует нынешняя мыслящая Россия, недоумевающая, зачем же так долго нет книг Белинкова, ради которых, собственно, всё и было сделано...

Можно не разделять взгляды. Но нужно чтить память. А качество написанных Аркадием Белинковым вещей это — качество, и оно дорого стоит, и не так уж важно, что не имел он, допустим, в душе положительного героя. Мы еще не знаем, как нам отольются эти положительные... А Белинков с его «отрицанием» не обманет, не отольется. Белинков — надежен. Белинков умер, сделал, заработал. Он был первым среди нас — из новой эмиграции. И наш первый, русский, писательский, христианский, если угодно, долг собрать и издать

его книги. И потом — кем бы мы с вами ни были по своим убеждениям — славянофилами, западниками, демократами, мусульманами, христианами, — предав Белинкова, учтите, мы предаем себя...

«Дорогой Андрей!

Я попытаюсь быть сдержанной. Аркадий был жестким и добрым человеком. Он представлялся мне человеком без кожи. Так остро он реагировал на несправедливость, на нажим сверху, так рвался всегда, даже в мелочи, помочь, о чем бы его ни попросили. Он был очень доверчив и откровенен с людьми и делился всеми оттенками мысли, ничего не сберегая для себя, не боясь, что украдут мысль. Между прочим, крали. Он очень обижался и страдал, когда люди, с которыми он был откровенен, оказывались недостойными. Но он простил даже тем, кто в свое время был допрошен и не предупредил о возможном аресте в 1944 году...

И вот здесь — Аркадий Белинков — человек — не знающий ничего святого, ненавидящий русский народ, русофоб, жид.

Но иногда я думаю, как хорошо, что есть такой тип слепоты, ведь только благодаря такой слепоте «Юрий Тынянов» мог быть напечатан в СССР...

Но вот что произошло с автором «Тынянова» после его эмиграции: Америка и вообще Запад были другими, к СССР весьма доброжелательными. Новые веяния сильно запоздали, и 1967-ой год они благодушно и самонадеянно принимали за 1956-ой (самое его начало). Многочисленные, ко времени нашей эмиграции, аресты они принимали не за усиление нажима и рестаилинизации, а за распро-

странение оппозиционной борьбы. В то время Аркадий поставил на семинаре перед студентами вопрос: «Почему западная интеллигенция отрицательно относится к фашизму и лояльно к сталинизму?» Ответ: «Аркадий Викторович? Неужели вам нравится фашизм?..»

В Израиле мой друг Эдуард Штейн с большим трудом устроил вечер Белинкова. Он доказывал, что этот еврей достоин внимания... У министра, с которым этот разговор был, на столе лежал «Новый колокол». Он сказал: «Мы читали статью Белинкова, он очень резко тут высказывается, но сердце-то его болит не за еврейский, а за русский народ»...

Теперь о «Новом колоколе». Аркадий задумал делать этот журнал, потому что ему негде было печататься. Кроме Аркадия, были и другие, кому было негде. Он задумал этот журнал как беспартийный. Многим не нравится уровень журнала, но тогда Солженицыных в эмиграции не было. Были не писатели, а люди — и им надо было дать высказаться... Через три месяца после этого решения Аркадий умер. Три эти месяца были борьбой с ужасными болями, которые образовались в груди через год после операции на сердце. Косая жила в нашем доме. От этого времени остались записи к книге о Солженицыне, записочки, относящиеся к статье к «Новому колоколу»...

От ужаса, что после смерти всё останавливается, я, как в шоке идущий человек без ног, бросилась делать «Новый колокол», поскольку писать за Белинкова я же не могла... И статью «Страна рабов, страна господ», которая не могла быть напечатана ни в СССР, ни в Чехословакии (за неделю

до намеченной публикации туда пришли советские), ни у Гуля, была напечатана вдовой в альманахе в память ее мужа...

Андрей, поймите, я с вами совершенно откровенна, может быть, я ошибаюсь. Но мне легко ошибиться, и говорит во мне не обида, а боль, боль утраты, боль непонятости и боль срывания на мне зла и мелких уколов. То, что не могли сделать перед лицом живого Белинкова, так легко и приятно всадить его вдове...

Наташа Белинкова.

12 сентября 1974 г.»

Э П И Т А Ф И Я (вместо эпиграфа)

...И ОТВРАЩЕНИЕ ОТ ЖИЗНИ,
И К НЕЙ БЕЗУМНАЯ ЛЮБОВЬ,
И СТРАСТЬ, И НЕНАВИСТЬ К ОТЧИЗНЕ...

Александр Блок «Возмездие».

Абрам Т е р ц

ПРАГА, 1948

Взгляд постороннего на революцию всегда несколько странен и как бы смещён. Вы видите мир, словно сквозь претенциозный объектив кинокамеры: выборочно обозревая действительность, порою не замечаете, что вокруг вас что-то происходит.

Помню, как в тридцатых я, возвращаясь с каникул из Эстонии, решил провести несколько дней с моим братом, в Берлине, где он был аккредитован корреспондентом «Телеграфа». В полночь мне предстояло сделать пересадку на другой поезд в Риге. Чтобы «убить» два часа ожидания, я двинулся побродить по улицам около центрального вокзала и почтамта.

Помню, я был сентиментально очарован старым, с бородой, как у Толстого, извозчиком, спящим над парой тощих лошадок. Вдоль тротуаров, словно это происходило где-то в прежнем Лондоне, спокойно фланировали девицы, которым никто не мешал заниматься здесь своим ремеслом.

Прохаживаясь и стоя на перекрестках, они не упускали случая кокетливо приподнять свои юбки ровно настолько, чтобы приоткрыть случайному прохожему элегантность своих икр.

Утром, в Берлине, перед завтраком брат оголошил меня:

- Ну что в Риге? Как революция?
- Революция?

— Ну да, там был ночью военный переворот. Захвачены почта и вокзал. На всех углах автоматы и пулеметы...

Наверное, это так и было, об этом час спустя я прочитал в «Телеграфе», но от вчерашней ночи в памяти моей сохранился лишь мирный облик старого извозчика с толстовской бородой и вереница старомодных проституток.

В феврале 1948 я оказался в Вене, в поисках сюжета для киносценария «Третий мужчина». У меня было назначено свидание с другом в Риме, и единственной возможностью успеть туда вовремя был полет через Прагу, где я намеревался остановиться на несколько дней и повидать двух моих издателей: одного социал-демократа, печатавшего некоторые мои «безделицы» и другого — католика, который выпускал мой роман «Власть и слава».

И хотя в день отъезда из Вены до меня дошли слухи о коммунистическом перевороте в Чехословакии, я, помнится, был более всего озабочен сильным снегопадом, из-за которого оттягивался час вылета.

В лайнере со мною оказались два английских корреспондента, из агентства «Рейтер» и «Бибиси». Они доверительно сообщили мне, что едут описывать революцию.

— Революцию!? — вспомнилось мне то давнее, в Риге.

— Вы заказали себе номер? — не унимался один.

— Нет, я думал, что в это время года в этом нет нужды.

— Во время революции отели всегда полны! — с профессиональной осведомленностью утвер-

дил другой. — Мне рекомендовали «Амбассадор». У нас там будет комната на двоих. Присоединяйтесь.

Снег не унимался и самолет сильно запаздывал, так что в Прагу мы прилетели далеко за полночь.

После минувшего обеда никто из нас ничего не ел и в эту минуту хороший ужин казался нам желанней постели.

«Едва ли, — утешил я себя, — в международном отеле возникнут трудности с едой.»

О, как я ошибся! С местом, вопреки ожиданиям, все устроилось быстро, а вот что касается еды...

— Извиняюсь, — сухо сказал портье, — ресторан закрыт. Все рестораны в Праге закрыты.

— Сэндвич! — взмолился я.

— К сожалению...

— Ради Бога!

Сердце его, видно, дрогнуло:

— Может быть, только... В подвале у нас сейчас вечер для служащих... Там должны быть закуски... Попробуйте. Они, наверное, разрешат вам...

В подвале мы обнаружили, что были не единственными, кто спустился сюда в поисках пищи. Посол из Венесуэлы задумчиво танцевал с толстой поварихой, а вокруг трудились над тарелками члены дипломатического корпуса самого разного ранга.

Миловидная горничная освободила для нас место за своим столом и словоохотливо ознакомила с обстановкой:

— Вот это — первый секретарь уругвайского посольства, а это наш посыльный с третьего этажа.

А вот тот — Иозеф, кондитер из нашего ресторана, рядом с ним один чин из Центрального банка, не знаю, чем уж он там заведует...

Глядя на нее, я пожалел, что не танцую, но мои компаньоны постарались за меня вдвойне, чем и обеспечили всем нам троим продовольственный минимум на ближайшие дни.

Если это и было действительно революцией, то она, признаться, показала себя не так уж плохо: играл оркестр, каждый был доволен, пиво текло рекой.

После третьего стакана мне вспомнился Вордсворт: «Блажен был тот, кто живым встречал рассвет».

Посол с поварихой подсел к нашему столу. Он нежно обнимал ее объемистый стан. Насколько я мог понять (занятый сосисками с картофелем, я с трудом вникал в смысл разговора), почтенный дипломат домогался у нее обещания, что в следующий раз к обеду она организует ему хороший шницель. Прижимая ее одной рукой к себе, он свободной рукой пытался изобразить примерные размеры предвкушаемого блюда:

— Вот такой толщины!

Кто мог предсказать в ту фантастическую ночь: процесс Сланского, все ужасы Сталина, короткую весну, а затем полет в Москву Дубчека и Сморковского в качестве заключенных?

Через двадцать один год, в феврале 1969 года я вновь очутился в теперь уже оккупированной русскими чешской столице и однажды утром встретился со Сморковским.

Я спросил его:

— На Западе существует мнение, что Косыгин более симпатизировал вашему делу, чем Брежнев. Это правда?

— Три человека вошли в комнату и сели напротив меня. — Собеседник уже до завтрака выглядел уставшим и больным: рак костей постепенно источал его. — Я не увидел разницы между ними. Был, правда, один момент, когда мне почудился оттенок симпатии в глазах Суслова, но говорил он со мной точно так же, как и двое других: Косыгин и Брежнев.

Мне показалось, что гораздо больше, чем двадцать один год отделяют меня от того вечера с прислугой в подвале «Амбассадора».

Я плохо спал в ту пасмурную ночь сорок восьмого. Но не из-за неудобств дивана, на котором меня положили, а только потому, что мне хотелось понаблюдать двух специальных корреспондентов в действии, во время революции. С раннего утра на улице начались шум и пение, но и в половине девятого ни один из них даже не пошевелился. Будить ребят я не решался, хотя мне не терпелось выйти в город. Наконец, после девяти один все-таки поднялся, чтобы только дойти до ванной комнаты. Другой — в полусне побрел к телефону, волоча за собой халат, набрал номер.

— Ну как, ничего интересного? Нет. Ладно, я загляну попозже. Около одиннадцати, идет? Ужасно поздно вчера лег.

Казалось, он был озадачен, увидев меня уже одетым.

— Уходите? — спросил он. — Если увидите чего-нибудь стоящее, придите нам сообщить.

Что ж, быть спецкором совсем не значит принадлежать к очень уж энергичной профессии!

По улицам двигались шумные колонны с красными знаменами. Я шагал наугад, путаясь в чешских названиях улиц, пока не увидел здания с вывеской Британского информационного агентства, куда и вошел, желая одолжить или купить карту.

Выйдя оттуда, я почувствовал, что за мной следят. Попробовал завернуть в одну улицу, затем в другую — худой человек в темном костюме и приличной шляпе неотступно следовал за мной. Наконец, я выждал и дал ему нагнать меня.

— Пожалуйста, не могли бы вы здесь свернуть налево, — вкрадчиво попросил он.

Мы зашли в маленькую тихую улочку, оставив позади людской поток. От этой загадочности мне стало не по себе.

— Вы — англичанин?

— Да.

— Могли бы вы мне помочь? Это чрезвычайно важно. Судьба моей бедной страны поставлена на карту! — Он действительно говорил, как персонаж в плохом фильме. — Пожалуйста.

— Что я могу сделать для вас?

— Вы должны пойти к вашему послу и все рассказать ему. Простите, я плохо объясняюсь, но... — Он замолкал, когда кто-либо появлялся вблизи на улице, выжидая, пока тот не отойдет достаточно далеко. — Должен сказать вам, что я изобрел парашют, которым можно управлять через сорок километров после прыжка. Я представил мое изобретение Министерству обороны, но сейчас там коммунисты. Они передадут мои планы рус-

ским. Теперь, надеюсь, вы понимаете, как это важно для наших с вами стран!

Несмотря на свой мелодраматизм, он был весьма убедителен. Я живо представил себе, как управляется в воздухе целая армия: Ла-Манш больше не препятствие!..

Я спросил его имя и он написал на клочке бумаги. В мыслях я был уже на полпути к посольству. Но, осторожности ради, все же задал ему еще один вопрос:

— А есть ли у вас другие изобретения?

Он немедленно, с энтузиазмом, ответил:

— Да, я придумал машину для кладки стен. И это я тоже передам английскому правительству. Машина эта строит стену высотой с фут за секунду.

Я решил, что лучше, пожалуй, не ходить в посольство.

Ничто больше за ту неделю, что я провел в Праге, не походило на идиллию вечера для прислуги в отеле, не говоря уж о фантазии с чудопараशютом.

Уже в ходу был горький юмор поражения — в основном шуточки насчет веса толстой жены Готвальда.

За это время я дважды навещал моего католического издателя, и во второй раз у его дверей стоял вооруженный конвой. Мы пили сливовицу за его будущее. Вскоре он исчез в тюрьме.

Мой литературный агент, коммунист, привез меня в замок, где разместился теперь Союз писателей. Писателя я там увидел только одного: он стоял наверху лестницы в библиотеке, вытаскивая с полки том Британской энциклопедии.

— Наш главный специалист по Шекспиру, — представил агент.

Втроем мы пили чай в огромной комнате с подвешенными канделябрами. Специалист упомянул было о Гамлете, но литературный агент резко одернул его:

— Господин Грин приехал сюда вовсе не затем, чтобы слушать, что вы скажете о Шекспире.

Видно, встретить эту «новую зарю» еще совсем не означает блаженства.

В книжном магазине мне протянули записку. Кто-то хотел повести меня к католическому депутату, находящемуся в подполье. Я подумал, что ему нужно помочь бежать, и захватил с собой различную валюту. Однако при встрече он объяснил мне, что в такой помощи не нуждается. Оказывается, ему думалось, что меня, как автора «Власти и славы», может заинтересовать сама ситуация.

Через несколько дней ко мне зашел романист Эгон Хостовский, который служил в Министерстве иностранных дел, и, присев на мою кровать (я к тому времени получил комнату), рассказал, как в тот вечер Массарик прощался со своими сотрудниками. Рассказывая об этом, он плакал, и мы вдвоем прикончили мой виски.

В конце концов я обрадовался отъезду в Рим. Единственными пассажирами на борту, кроме меня, была молодая супружеская пара: принц Шварценберг с женой. Еще при прежнем правительстве он получил назначение министром — посланником в Ватикан. У них был очень большой багаж, и я не удивился, услышав вскоре, что они решили не возвращаться.

Перед самым вылетом меня вызвали по громкоговорителю к иммиграционному офицеру, который потребовал еще раз показать ему мой паспорт. Я уже начал сомневаться, состоится ли мое свидание в Риме. Мне припомнились и вооруженный конвой перед конторой моего издателя, и плачущий Хостовский, и депутат, укрытый в одном из подвалов извилистых улочек старого города, в ожидании условленного количества звонков в дверь, что означало бы приход друга.

Внимательно разглядев мой паспорт, офицер произнес:

— Ваш паспорт действителен для двух поездок в Чехословакию. Вы можете приехать еще раз.

Но вернулся я лишь через двадцать один год, когда там были русские и без всякой помощи чудопарашютов.

Грэм Грин

ГРИН Грэм — родился 2 октября 1904 г. в Лондоне. Английский писатель. Сын директора школы. Учился в Оксфорде. Литературную деятельность начал в начале 20-х гг. как журналист. В 1926 г. принял католичество. Много путешествовал: был в Либерии («Путешествие без карты», 1936), в Мексике («Дороги беззакония», 1939). В 1942-43 гг. жил в Западной Африке, во Вьетнаме, где разворачивается действие ряда его произведений. Несколько раз приезжал в СССР.

Свои книги Грин делит на «развлекательные истории»: «Поезд идет в Стамбул» (1932), «Министерство страха» (1943), «Проигравший берет все» (1955), «Наш человек в Гаване» (1958) и «серьезные романы»: «Человек внутри» (1929), «Это поле боя» (1934), «Меня создала Англия» (1935), «Брайтонский утес» (1938), «Власть и слава» (1940), «Суть дела» (1948), «Конец любовной связи» (1955), «Тихий американец» (1955), «Цена исцеления» (1961).

Разумеется, такое деление условно: в «развлекательных историях», написанных в детективно-приключенческом жанре, Грин ставит те же этические, философские, политические проблемы, что и в «серьезных романах», а в последних нередко обращается к приемам детектива.

Грин убежден, что преодоление пороков людей и окружающего общества возможно только в этико-религиозном плане.

ИСТОКИ

ИЗ ДОКУМЕНТОВ

От публикатора:

Эта истлевающая облохмаченная брошюрка в 16 страниц на дурной бумаге военного времени, с опечатками, без художественного глаза изданная — драгоценнейшая книга моей библиотеки: не знаю, сохранилась ли где другая такая в Союзе, — в наших печках 30-х годов уж такие-то погибали и от гонителей и от хранителей. А издана брошюра собранием уполномоченных петроградского пролетариата в марте 1918, тотчас после бегства советского правительства в Москву.

За 55 лет практического большевизма всё багровое у нас так орозовлено легендами и ложью, что даже соотечественникам истина совсем уже не видна, где ж говорить о Западе! И кто прозревает, тот для себя, перед взором собственным, сшибает лжи последние, недавние, очень явные и неумные, — а уж те, что приросли к корневищу, то ли земля святая, то ли сам ствол — мы уж дружно почитаем за правду, мы и не наклоняемся разглядеть и очистить.

Такова и первая, исконнейшая ложь нашей революции: будто бы партия большевиков в годы переворота выражала интересы, исполняла волю РАБОЧЕГО КЛАССА, и особенно, конечно, петроградского. Из этой публикации читатель быстро

увидит, как русский пролетариат в той «революционной колыбели» понимал правительство захватчиков.

А. Солженицын

Чрезвычайное собрание уполномоченных фабрик и заводов г. Петрограда

№ 1-2

18 марта 1918 г.

20 коп.

*18-го марта.
Петроград.*

В разгар последнего наступления австро-германцев, когда рабочие Петрограда металась из стороны в сторону, не зная, что делать, за Невской заставой собрались представители разных фабрик и заводов, социалисты и беспартийные, чтобы общими усилиями найти выход из создавшегося тупика.

Перед ними встали все страшные вопросы нашей действительности.

Сложное внешнее положение; голод; эвакуация, ведущаяся неумело и добивающая промышленность и рабочих; грозный призрак безработицы сотен тысяч петроградских пролетариев, покинутых на произвол судьбы...

Надвигающиеся беды русские рабочие встречают безоружными. За год революции рабочие лишились своих классовых организаций. Заводские комитеты — как видно из помещаемых ниже сообщений с мест — сделались послушным орудием

Советского Правительства. Профессиональные союзы утратили самостоятельность и независимость и уже не организуют борьбы в защиту прав рабочих. Советы Рабочих и Солдатских Депутатов точно боятся рабочих: не допускают перевыборов, забронировали себя; они превратились только в правительственные организации и не выражают больше мнений рабочей массы.

Чтобы обсудить все эти вопросы, чтобы рабочий класс не был окончательно раздавлен, чтобы организовать его борьбу, собрание рабочих за Невской заставой признало необходимым немедленно же приступить к созыву чрезвычайного собрания уполномоченных фабрик и заводов г. Петрограда.

Уполномоченные на это чрезвычайное собрание должны быть свободно избраны по заводам и фабрикам после обсуждения создавшегося положения на общих собраниях и митингах.

Для выполнения этой работы собрание за Невской заставой избрало организационное бюро в 25 человек.

Оно обратилось с воззванием немедленно производить выборы; в районах были созданы местные организационные бюро. К 13-му марта большинство крупных заводов и фабрик г. Петрограда избрали своих уполномоченных. 13-го марта открылось 1-е заседание чрезвычайного собрания уполномоченных.

Все фабрики и заводы, или отдельные мастерские, на которых выборы делегатов еще не произведены, должны немедленно выбрать своих представителей.

В этот мучительный и страшный час рабочие должны выполнить свой классовый долг.

**ПРОТОКОЛЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО СОБРАНИЯ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ФАБРИК И ЗАВОДОВ
13-го МАРТА 1918 года.**

1 - е заседание

Присутствуют уполномоченные предприятий: Путиловского завода, Семяниковского, Обуховского, Трубочного, Балтийского, Александровского механического, Пороховых; Сименс и Гальске, Вестингауз, Паровозных мастерских Николаевской жел. дор., Вагонных мастерских (за Московской заставой), Вагонно-Строительных мастерских Николаевской жел. дор., Паровозных мастерских (за Нарвской заставой), Вагонных мастерских Сев.-Зап. жел. дор. Фабрик: Паль, Максвель, Пылинина, Блигкен и Робинсон, Электрической станции, типографий: Голике, «Копейка», «Слово», Первой Государственной, Шестой Государственной.

Председатель т. БЕРГ знакомит Собрание с целью созыва Чрезвычайного Собрания уполномоченных. Необходимо создать, говорит он, Рабочий орган для оформления общественного мнения и для объединения воли Петроградского пролетариата. Профессиональные союзы разрушены, занимаются организацией хозяйства, а не защитой интересов рабочего класса. Советы сделались судебскими палатами, акцизными учреждениями, полицейскими участками и проч. Эти органы теряют право говорить от имени рабочих. Нам необходимо принять меры к восстановлению и возрождению наших организаций. Наше Собрание — не последнее. Мы устроим ряд таких собраний и обсудим все вопросы, связанные с нашим экономи-

ческим и политическим положением. Бюро по созыву настоящего собрания предлагает следующий порядок дня:

1. Отчеты с заводов.
2. Ближайшие задачи в связи с Съездом Советов Рабочих и Солдатских Депутатов.
3. Продовольственный вопрос.
4. Вопрос об эвакуации.
5. Выборы постоянного Бюро.

Организовано Собрание следующим образом: решающий голос предоставлен только уполномоченным фабрикам и заводам и членам «Советов» — Центрального и Районных; совещательный голос — Районным Организационным Бюро по созыву Чрезвычайного Собрания, Центральному Организационному Бюро, Петроградскому Союзу Потребительных Обществ, Районным Кооперативным Объединениям, Профессиональным Союзам.

Тов. РАГОЗИН. Предлагает дать совещательный голос присутствующим в собрании представителям политических партий.

Голосованием этот вопрос решен отрицательно.

Тов. ГЛЕБОВ (Путил. завод). Предлагает пополнить порядок дня докладом по организационному вопросу — «как организовать рабочий класс».

Предложение тов. Глебова принимается.

Тов. БОГДАНОВ. Третьего марта за Невской Заставой состоялось собрание рабочих-социалистов и безработных, по вопросу о положении Петроградских рабочих в связи с возможной оккупацией, безработным и продовольственным кризисом и проч.

Собрание констатировало, что деятельность существующих рабочих организаций извращена. Профессиональные Союзы участвуют в организации хозяйственной жизни и в качестве органов защиты интересов рабочего класса теряют значение. Заводские комитеты заняты захватом предприятий. Работа кооперативов встречает внешние препятствия. Что касается Советов Депутатов, то они превратились в органы правительственной власти и потеряли характер классового представительства пролетариата. Рабочие остались без органов защиты, им необходимо сообща обсудить свое положение и найти способы восстановления своих классовых органов. Собрание выпустило воззвание ко всем рабочим и работницам Петрограда с призывом организовать выборы Уполномоченных по заводам и фабрикам. На следующий же день создалось Организационное Бюро в Нарвском районе, которому удалось до сих пор организовать выборы только на Путиловском заводе; такое же Бюро создалось на Васильевском острове и еще в некоторых районах. Инициаторы этого Собрания предполагают, что Собрание займется обсуждением практических очередных вопросов рабочей жизни, и что это обсуждение оформит мнения рабочих и тот перелом, который произошел в их политическом настроении.

Порядок дня принимается и слово предоставляется представителю Трубочного завода.

В Трубочном заводе на протяжении двух месяцев нельзя произвести перевыборов заводского комитета, несмотря на то, что общие заводские собрания выносили четыре раза постановления

о перевыборах комитета. Постановлениям заводской комитет не подчинился, опираясь на вооруженную силу. Завод не работает больше двух месяцев.

Началась эвакуация машин; что касается рабочих, то за это время ушло якобы добровольно с лишком десять тысяч, остальные же подлежат расчету с сегодняшнего дня.

Из-за расчетов и вычетов добавочных сумм среди рабочих царит бурное противобольшевистское настроение. На днях довыбранные члены заводского комитета комитетом были не признаны. Вообще, заводской комитет ведет себя по отношению к рабочим возмутительно: грозит пулеметами и проч.

Тов. БОЛОТОВ (завод Вестингауза). На заводе встал вопрос об эвакуации. Рабочие отправили депутацию в Совет Народного Хозяйства для выяснения условий эвакуации. Но ни на один вопрос в Совете не ответили: куда ехать? Куда хотите. Как ехать? Как хотите. Что везти? Что хотите. Так ничего в Совете и не узнали. А как же эвакуировать без плана, без средств перевозки?

Тов. ЛИТОВИН (завод Нобель). Завод национализован. Часть рабочих поступила в красную армию, часть составила какой-то летучий батальон.

На днях от Шляпникова пришло распоряжение работать, пока не угрожает опасность Петрограду. Рабочие постановили: работ не производить и металлов с завода не выпускать. Новое распоряжение Шляпникова держится в секрете.

Когда был поднят вопрос на заводе о перевыборах в заводской комитет, большевики обрати-

лись в районный совет, а те в Смольный; оттуда приказ — не допускать перевыборов.

На заводе «Старый Лесснер» районный совет тоже запретил перевыборы.

Когда пришло распоряжение об эвакуации, мы обращались в районный совет с вопросами: куда, зачем? Вывозить семьи запрещено, а увозить надо станки. В Совете ответили, что распоряжение о вывозе станков дано «для поднятия духа рабочих», чтобы поняли опасность и записывались в красную армию. Отправлялись в комиссию по разгрузке и там ничего не добились. В прошлом году кричали «долой Николая», теперь рабочие кричат «долой большевиков».

Тов. ЗИМНИЦКИЙ (завод Речкина). На заводе перелом в настроении рабочих. Но выборов на совещание не удалось произвести до сегодняшнего дня из-за апатии рабочих. Сегодняшняя дневная смена произвела выборы в уверенности, что данное Собрание найдет выход из положения, в котором очутились петроградские рабочие.

Члены Совета с нашего завода заявили, что если завод примет меньшевистскую резолюцию, они сложат полномочия. Но полномочий они все-таки не сложили.

Не так давно завод был закрыт на три дня за резолюцию против совета народных комиссаров. Получку стали теперь выдавать. В совете старост люди нейтральные, но в работе встречают всякие препятствия, ходят от одного комиссара к другому, но не могут ничего добиться.

Тов. ЖУЧКОВ (завод Речкина). Рабочие затерты. Рады найти такой орган, который помог бы

им выбраться из тупика. Рабочим кажется, что все гибнет.

Недавно рабочие поехали за получкой. Им ответили: обратитесь в «Учредиловку», вы за нее голосовали, пусть она вам и платит.

Тов. ВЕСЕЛОВ (Государственная типография). У нас возникла мысль, что будет с рабочими, если эвакуируется правительство? Заказчиков нет, работы нет, заводские комитеты в тупике; рабочие вынесли резолюцию, чтобы в случае эвакуации правительства деньги переданы были бы для расплаты Хозяйственному Комитету Совета Казенных Типографий.

На днях получили бумагу: можете получить жалованье за полтора месяца. Но помощи в отношении выезда никто оказать не может. Кому удастся уехать, тот теряет на шесть месяцев право въезда в Петроград. Это якобы в интересах разгрузки города.

На все вопросы мы получаем один ответ: пока Советы у власти, вы будете получать свое, об остальном не беспокойтесь. Вчера был на заседании Совета Луначарский и говорил о трудовой коммуне. А что это, трудовая коммуна — масса не знает (с места голос: Это коммуна, кому — нет!). С надеждой смотрят на наше собрание.

Тов. АБРАМОВ (Невский Судостроительный). Во многих мастерских завода уже произведены выборы на Собрание Уполномоченных. На днях будут выборы от остальных. К большевикам настроение явно враждебное. Кроме того, надо еще отметить одно явление — психологическую реакцию в рабочих массах, ощущение безвыходности и апатии вследствие этого.

Перед нашествием немцев остро стали экономические вопросы, в первую очередь вопрос об обеспечении рабочих на ближайшее время.

В банке предлагали поднять вопрос о ссуде, но рассмотрение нашего вопроса о ссуде было отложено там, и ответа мы еще не получили.

Остро стоит вопрос об эвакуации. Нет вагонов, рабочие волнуются, хотят хоть семьи вывезти, но и это не удается. Есть на заводе комиссия по разгрузке; узнали, что у Шляпникова в распоряжении есть какое-то количество больных вагонов; хотели получить их, чтобы самим привести их в годность, но Шляпников не разрешил.

Эвакуация производится сумбурно: сегодня распоряжение о выезде, завтра отменяется.

Рабочие разуверились в партиях. Свободу взяли, а удержать ее не сумели.

Выбирали на наше собрание все больше беспартийных.

Тов. БЛОХИН (Охтенские Пороховые заводы). С начала революции производительность труда у нас сильно увеличилась, а когда, так сказать, взяли в свои руки предприятие, интенсивность сильно понизилась. Пришлось почти закрыть заводы. Хоть жалованье платят, а работы никакой нет. Старые работники завода организовались в особый рабочий союз. Теперь по всем вопросам заводской жизни происходит борьба между заводским комитетом и союзом.

Вопрос об эвакуации поднялся еще в июне. Создана была комиссия. Но потом пришло распоряжение демобилизовать заводы. Надо было разгрузить миллион пудов пороху. Заводской комитет ничем помочь не мог в организации этого дела. Де-

лал все союз, причем квалифицированные металлисты делали черную работу, а чернорабочие отказывались участвовать в ней. Заводской комитет обещал каждому рабочему по рублю за разгрузку ящика сверх цеховой платы. Чернорабочие по три ящика сносили и отказались, но союз дело наладил и сумел заставить всех работать целый день за определенную плату.

Пока заводские комитеты будут носить административные функции, никакой созидательной работы не будет. Надо агитировать за то, чтобы они оставались только контролирующими органами.

СОЮЗ СЛУЖАЩИХ В АПТЕКАХ. Представитель союза рассказывает о положении дел в Общегородской Больничной Кассе. Она существует с начала января. Смета ее определена в 52 миллиона, но работы нет. Приемные покои на заводах разрушены. Больниц и амбулаторий новых не создано. Материальное положение самое неопределенное; сегодня есть сто тысяч, завтра может ничего не оказаться. Взносов предприятия не делают. Фабриканты сбежали во многих местах. Заводские комитеты денег не имеют или затрудняются их получить в банке. Закон, таким образом, не проводится.

Деньги из заводских касс в общую Городскую тоже не передаются. Из Страхового Товарищества нельзя было получить причитающиеся общей Городской Кассе деньги (около миллиона), потому что деньги эти в кредитных бумагах, которые нельзя реализовать в банке.

Путаница среди рабочих ужасная. Ответственные большевики бегут из города, остаются люди менее ответственные, но на очень ответственных

постах и, кажется, в большом страхе за свое будущее.

Тов. ЩЕГЛОВ (Общество Электрического освещения 86-го года). Комиссары издали декрет о секвестре нашего общества, но в декрете не указано было, кому оно должно принадлежать. Стали рабочие искать хозяина, наконец выяснилось, что общество должно принадлежать городу; но город не может взять общества, так как у него нет средств на выполнение всех обязательств этого общества, и ему потребовалась бы субсидия от совета народных комиссаров. Наконец нашелся хозяин — Высший Совет Народного Хозяйства. Рабочие предъявили обычные городские ставки. Комиссия, созданная при Совете для рассматривания ставок, решила удовлетворить рабочих. Но комиссар общества воспротивился. Делегация рабочих пригрозила комиссару забастовкой. Есть предположение о приведении станции в негодность. Это ужасно. Тогда население останется без воды и хлеба.

Тов. ИЗМАЙЛОВ (Балтийский завод). До сих пор большевики играли доминирующую роль на заводе. В шрапнельной и других мастерских работали учетчики, которые относились к заводу, как к тюрьме. Эти люди цеплялись за лозунги «долой войну» и потому были большевиками, а теперь война окончилась, и они разбегаются с заводов, а население, кадровые рабочие, не были в сущности большевиками. Чем большевики больше действовали, тем больше они подрывали собственный авторитет. Недавно мы предприняли анкету, кто за совет народных комиссаров, кто за общий и единый революционный фронт. За совет комиссаров,

т. е. за большевиков высказалось 113 человек, за объединение демократии — 1899.

Исполнительный Комитет на заводе остался пока большевистский, но во всем подчиняется заводским решениям. Все понимают, что большевики обречены на падение, как бы ни был разрешен вопрос о войне и мире. На общем собрании решили завод эвакуировать, но со Смольным ничего сделать нельзя. Эвакуацию придется произвести собственными силами. Рабочие возлагают большие надежды на наше Совецание. Когда нас выбирали, ни одного голоса не было против того, чтобы создан был новый рабочий орган.

Тов. ДУНАЕВ (Фабр. Паль). У нас работа идет. Есть еще запас на 3-4 месяца. Комитет держим в руках. Все вопросы решаются на общих собраниях. Расплата производится 4 раза в месяц. Теперь, впрочем, не исключена возможность задержки в выдаче.

Известие о мире произвело ошеломляющее впечатление. Произвели перевыборы в Районный Совет, но он не собирается. Когда ни придешь — там сидят вооруженные люди, буржуазного вида, высокомерно встречающие рабочих. Кто они — мы не знаем.

В результате декретов о страховании, вычетов с рабочих в больничную кассу не производят, а хозяин взносов не делает. Касса тает.

Тов. БАРАНОВ (Паровозные мастерские Николаевской жел. дор.). При коалиционном правительстве была забастовка в мастерских. Временное Правительство издало декрет о расценках. После переворота 25 октября был издан новый декрет о ставках, но и теперь еще рабочие не знают опре-

деленно размеров своего заработка: получают по декрету Временного Правительства, получают плехановскую прибавку, получают авансы, а того, на что имеют право, рабочие не знают... ходили к разным комиссарам, но ясности никакой не добились. Теперь рабочие сильно волнуются при известии об эвакуации правительства. Политическое настроение резко изменилось, большевиков бойкотируют, о социалистической республике больше не говорят, день 12 марта называли не годовщиной, а кончиной революции. Вагонные и паровозные мастерские на общем собрании приняли декларацию, предлагаемую Организационным Бюро данного Собрания (напечатанную в конце).

Тов. РОЗЕНШТЕЙН (Путиловский завод). Работа на заводе почти кончилась еще в декабре. В шрапнельных мастерских и у нас, как в других заводах, имелось много так называемых колбасников и учетников — они все большевики. Завод будто бы отошел к рабочим, «национализирован», но это не верно. Рабочие тут ни при чем. Правительственное Правление назначено сверху Шляпниковым. Авторитета в глазах масс оно не имеет. В него входят далеко не лучшие рабочие нашего завода и один даже назначен такой, которому целые округа выносят порицания и осуждения, но видимо это не действует — он со вчерашнего дня большевик. Идут массовые расчеты. Работало 36 тысяч, теперь 13 тысяч. Рабочие требуют, чтобы при расчете им выплачивалось за 1½ месяца (так получали в шрапнельной мастерской), но в ответ Шляпников не только не принял нашей делегации, в которой и я находился, а даже отказали

хотя бы выдать записку о том, что мы были и нас не приняли.

Единственную работу, хоть и кое-как, ибо ее саботируют большевики, ведет на заводе Центральная Следственно-распределительная Комиссия. Она является выбранной, составляет разные инструкции по приему и расчету рабочих и служащих, а иногда советуется и считается с мнениями рабочих. Рабочие говорят, что и на том спасибо.

Эвакуация также обсуждалась в течение около двух недель. За спиной рабочих, «шепчутся» — говорят рабочие, и составлен какой-то список заводских ценностей и материалов. Всего указано в размере 5%, но и на них требуется 1540 вагонов и платформ. Рабочие недовольны, что этот вопрос не обсуждали с ними, как близко касающийся их семейств, и, кажется, оказывают этому делу, большевистски решенному, не содействие, а скорей противодействие. По крайней мере, на запрос заводской экспедиции — выслать 100 рабочих на день — Распределительная Комиссия посылает, а рабочие возвращаются обратно и говорят, что другие рабочие мешают и говорят, что пусть сначала у нас спросят. Конечно, из этого пока ничего не вышло.

Тов. КАММЕРМАХЕР (Центральный Совет Печатников). Предлагает прервать информацию за поздним временем и обсудить вкратце политическое положение и ближайшие шаги в связи со Съездом Советов.

Предложение принято.

А. Н. СМЕРНОВ. Мы выслушали ряд сообщений с мест, все чрезвычайно печальные сообщения. Перед рабочими стоят вопросы эвакуации,

безработица, продовольствие, самоорганизация. Наша конференция и будущий орган будет жизненным только в том случае, если мы дадим не только критику положения, но и исчерпывающие ответы на практические вопросы.

В районах, где было сильно влияние большевизма, рабочие бросаются с левого на правый фланг. Надо выяснить и указать рабочим путь не правый и не левый, а соответствующий их интересам. Мы будем по возможности отвечать на все злободневные вопросы, но вопрос об общем политическом положении не терпит отлагательства. Завтра начинается Съезд Советов. Представительство на нем наполовину фальшивое: солдаты представляют сами себя, а рабочие депутаты не отражают уже настроения рабочих масс. А на Съезде стоят вопросы жизни и смерти. Необходимо, чтобы там прозвучал подлинный голос пролетариата. Мы должны выбрать из своего состава делегацию, которая поедет на Съезд и выступит там с изложением наших мнений.

СМИРНОВ оглашает от имени Организационного Бюро декларацию (текст помещен в конце этого номера).

Тов. КОНОНОВ (член Совета) высказывается за посылку делегации и излагает картину выборов на Съезд в петроградском Совете. Послано на Съезд 20 человек: 16 большевиков и 4 левых с.-р., представляют они 560 человек, считая и мертвые души Совета. Если бы соблюдена была пропорция, меньшинство получило бы не меньше двух мест. Теперь же мы остались непредставленными, необходимо нам поэтому здесь выбрать особых представителей.

Тов. КАММЕРМАХЕР. Если бы мы выслушали всех присутствующих, картина получилась бы полнее, конечно. Мы даже и не представляем себе всего несчастья, которое на нас надвинулось. Рабочие должны сказать на Московском Съезде, что они на нем не представлены, что от их имени там говорить никто не может. Газеты у нас нет и нет у нас никаких средств осведомить о переживаемом моменте рабочих всей России, что мы думаем о своем положении и о мерах своего спасения. Необходимо послать делегацию.

Тов. СОЛОВЬЕВ (Мастерские Николаевской жел. дор.). К сожалению, наше совещание собралось слишком поздно. Если бы собрались вовремя, мы могли бы добиться перевыборов Советов. Но лучше поздно, чем никогда. Высказывается тоже за посылку делегации.

Тов. ОРЛОВ (член Совета). Я был в Совете, когда происходили выборы. Все выбраны от мертвых душ. Многие депутаты давно уже получили расчет, никогда на заводы не являются и никогда отчета не дают. Необходимо нам избрать делегацию.

Тов. ЕРМАНСКИЙ (член Совета). Высказывается за то, чтобы делегация добивалась допущения на Съезд не только для оглашения декларации, но и для участия в работах Съезда.

Тов. РАГОЗИН высказывается против посылки делегации, не этим надо заниматься, надо работать на местах, надо добиваться большинства в Советах.

Тов. НИКИФОРОВ (Трубочный завод). Меня выбирали на заседание уполномоченных для обсуждения вопроса о безработице, эвакуации и

проч. Я не имею права голосовать за декларацию, так как эти вопросы не обсуждались на собрании.

Тов. Н. ГЛЕБОВ (Путиловский завод). Высказывается против посылки делегации. Надо не знать большевиков, чтобы верить, что делегация будет допущена на Съезд.

Кроме того, что делегаты скажут там, на «съезде»? Что он не хорошо составлен — большевистски и потому не имеет права решать вопросы за страну. Ну, а если бы «съезд» был меньшевистский. Что тогда? Имел бы он право? Сейчас, именно, вопрос не в том, каков «съезд», а в том, что судьба мира или войны находится не в тех руках, в которых должна находиться. И в этом историческая беда русского народа и его несчастье.

В вашей декларации, которую вы даете делегатам, указано еще «Учредительное Собрание» — поверьте мне: для данного переживаемого и еще не изжитого, максималистского периода, это плохой лозунг. Вообще Учредительное Собрание можно сравнить для спокойного времени с хорошим белым хлебом, для данного времени, это пащтетный пирог с уткой, а вы ставите это единственной задачей того дня, в который народ русский ест мякину, конину и даже овес. Для этого нужно быть большим, почти больным мечтателем, и, по-моему... неисправимо вредным. Должна явиться новая, творящая сила, национальный подъем, и нам, рабочим, социалистам, надо не опоздать вконец с нашей работой, исключительно в пределах нашего рабочего классового строительства. Один рабочий класс не может, не должен и не

обязан воевать с четверным союзом, возглавляемым Германской империей. Это дело не большевиков и не меньшевиков и не петроградских рабочих, а всей страны, и чем позднее разовьется у народов государственное самосознание, тем хуже для них.

Тов. БЕРГ. Здесь говорили, что нам надо заниматься практическим делом. Но то, что 10 человек уедет, нам не помешает работать. Говорят, что не пустят на Съезд. Может быть, не пустят, но московские рабочие нас выслушают.

Вопрос о посылке делегации ставится на голосование.

61 голосом против 8 при 19 воздержавшихся вопрос о посылке делегации решен положительно.

Декларация, оглашенная А. Н. Смирновым, принимается Собранием единогласно.

По предложению Б. О. Богданова Собрание постановляет, что делегация должна действовать как коллегия.

Товарищ Глебов просит снять свою кандидатуру в Москву, выставленную путиловцами.

Выбранными оказались: Измайлов (Балтийский завод), Орлов (Парвиайнен), Зимницкий (Речкин), Каммермахер (Всероссийский союз печатников), Розенштейн (Путиловский завод), Абрамов (Семянниковский завод), Соловьев (Вагонные мастерские Николаевской жел. дор.), Кононов (член Совета), А. Н. Смирнов (Патронный завод), Борисенко (Трубочный завод), Сопко (Обуховский завод). Следующее заседание назначается на 15 марта в 3 часа дня.

2 - е заседание

15 марта

Присутствуют уполномоченные от следующих предприятий: Путиловского завода, Обуховского, фабр. Паль, Семянниковского завода, Трубочного завода, Паровозно-строительных мастерских Николаевской жел. дор., Пороховых Заводов, Балтийского завода, Русско-Балтийского Авиационного, Русско-Балтийского Воздухоплавательного, Типографии Народного Банка, Типографии бывшего Градоначальства, 1-й Государственной, 6-й Государственной, 9-й и 10-й Государственных типографий, Типографии Маркуса, Общества Электрического Освещения 86 года, Экспедиции заготовления Государственных Бумаг, Управления Николаевской жел. дор., Мастерских Сев.-Зап. жел. дор., Общества «Гелиос» и др.

Председательствует Берг, обязанности секретаря исполняет А. П. Краснянская.

БЛЕЙХМАН просит предоставить ему совещательный голос, как секретарю заводского комитета фабрики «Скороход».

Председатель разъясняет, что по уставу, принятому Собранием, секретари заводских комитетов, если они не являются уполномоченными, не пользуются правом голоса, на данном собрании Блейхман настаивает, чтобы этот вопрос был подвергнут голосованию.

Голосованием Собрание высказывается против того, чтобы Блейхману, как не выбранному на собрание, был предоставлен голос.

Тов. БОГДАНОВ предлагает продолжить информацию, как и на 1-м заседании, хотя бы в течение часа.

Предложение принято.

Тов. КОНОНОВ (Арсенал). Распоряжения об эвакуации разрушили всю работу. Пустить вновь завод нет почти никакой надежды. Третьего дня неожиданно получился приказ приступить к мирной работе. Поехали за деньгами для расплаты с рабочими. Ответили, что денег не будет потому, что рабочие Арсенала когда-то получили лишние. На общем Собрании выяснилось все-таки, что расчеты происходят, и что рассчитываются рабочие сотнями. Через несколько дней рассчитано, вероятно, будет большинство, а выбраться отсюда нет никакой возможности.

Тов. КАММЕРМАХЕР. То, что мы прошлый раз слышали о Первой Государственной типографии, происходит во всех казенных типографиях — в частных еще хуже. Большевистская власть ведет все время политику, враждебную печатникам. Гонения на печать и подобные меры добились почти всю типографскую промышленность. Типографии всех больших газет захвачены, но правительство не имеет достаточного количества людей, чтобы использовать все станки. В «Новом Времени», например, работало пятьсот человек, теперь работает полтораста и т. д. Безработица растет, а Правление Союза почти не вмешивается во все это. Безработные предлагали ряд мероприятий, но Правление во внимание не приняло этого; самая серьезная мера — отмена декрета о печати. Другие рабочие могли бы помочь в борьбе за свободу печати. Это соответствует общим интересам рабочего

класса, а не только профессиональным интересам. Рабочие, особенно в такой тяжелый момент, должны иметь возможность свободно обсуждать все свои нужды. Предлагаю сегодняшнему собранию отправить делегацию в Союз Печатников с изложением всех соображений по вопросу о борьбе за свободу печати.

Собрание принимает следующую резолюцию в защиту свободы печати:

«С самого октябрьского переворота большевики поставили одной из важнейших задач борьбу со свободным словом. Все газеты, критиковавшие их деятельность, были объявлены контрреволюционными, конфисковывались и закрывались.

Правительство, именуя себя рабоче-крестьянским, боится свободного слова и особенно охотно душит именно социалистические газеты, те самые, которые читают рабочие и крестьяне.

«Правительство рабочих и крестьян» запрещает рабочим и крестьянам выбирать себе чтение по вкусу и предлагает им лишь свои казенные перья.

Никогда еще не был так задушен голос всей честной и независимой печати, как в эти страшные дни, когда смертельные угрозы нависли над родиной, над революцией, над рабочим классом.

Как царское правительство особенно стало бояться правды во время войны, так особенно боятся правды народные комиссары теперь, когда их безумная и преступная политика отдала Россию во власть завоевателям.

За спиной народа, за спиной рабочего класса совершаются тайные сделки с германскими хищниками. Петроградские рабочие оставляются на произвол судьбы, и все это делается при гробовом

молчанию рабочих, ибо у них отнята свободная печать и скованы их уста.

Ввиду всего этого, мы — уполномоченные фабрик и заводов Петрограда — обращаемся ко всему петроградскому пролетариату с предложением начать немедленную борьбу за свободу печати. Мы предлагаем на всех собраниях выносить резолюции протеста, посылать делегации в Смольный, в союз печатников, требовать в петроградском и во всех районных советах восстановления полной свободы печати.

Особо обращаемся мы к товарищам печатникам, которых большевистская власть делает исполнителями своих самодержавных действий, заставляя их нести позорные и шпионские функции, и обрекает на массовую безработицу. Товарищи печатники должны вспомнить, что они были всегда авангардом пролетариата, и помочь рабочему классу добыть свободу печати. Рабочий класс должен знать всю правду».

Тов. А. Н. СМИРНОВ (Патронный завод). На нашем заводе тоже началась беспорядочная эвакуация без всякого плана. Сегодня одно распоряжение, завтра — оно отменяется, дается другое распоряжение.

Выборгский район всегда считался красным районом. Рабочая масса всегда дружно откликлась, когда ей предлагали какое-нибудь дело. Теперь рабочее население терроризовано красной гвардией. Не так давно на нашем заводе был такой случай. Обсуждался на общезаводском собрании вопрос об эвакуации. Рабочий Кузьмин в своей речи употребил слово «зараза» по адресу красной гвардии. Через несколько минут красногвар-

дейцы ворвались вооруженные в помещение завода, щелкая затворами винтовок, грозя штыками, произвели панику в собрании, на котором было много женщин, бросились на Кузьмина, ранили его штыком и поволокли в штаб красной гвардии.

Под влиянием всех этих обстоятельств, о которых все здесь говорили, рабочие правуют.

Необходимо проделать всю работу, вытекающую из задач нашего собрания. На ряде заводов Выборгской стороны были уже собрания, на которых обсуждался вопрос о чрезвычайном собрании уполномоченных.

Тов. ЛУКЪЯНОВИЧ («Гелиос») сообщает, что общее собрание сочувственно отнеслось к идее собрания уполномоченных.

Тов. ЗОТОВ (Трубочный завод). На заводе была выбрана комиссия по вопросам эвакуации. Одна часть комиссии отправилась в министерство труда, другая — в комиссию по разгрузке. Члены этой комиссии являются уполномоченными данного собрания. Они захотели отчитаться и в одном, и в другом порученном им деле. Член коллегии, бывший в комиссии по эвакуации, разъяснил собранию, что правительство может предоставить только 15 вагонов в день для всех безработных. Конечно, это никого устроить не может, и рабочие проявили большое недовольство. В министерстве труда же выяснилось, что все руководители уехали, дела передали губернскому комиссару труда, который ничего не знает и ничего не понимает.

По окончании первого отчета мы стали докладывать собранию о первом заседании Собрания Уполномоченных. Когда прочитана была предложенная Собранием Уполномоченных декларация,

начальник красной гвардии выхватил декларацию из рук читавшего и стал допытывать, кто он и из какой мастерской. Возмущенные рабочие бросились на начальника. Чтоб спасти его от возможных насилий, оратор потащил его на трибуну. Оказавшись в безопасности, начальник стал звать красную гвардию с пулеметами. Рабочие бросились разбивать стекла. Красногвардейцы прибежали с винтовками и решили арестовать президиум. Президиум не арестовали все же, но оратора повели в штаб гвардии, где ему грозили расстрелом. Из штаба ему удалось бежать.

Тов. ЗИМИН (Ижорские Заводы). Вначале у нас рабочие более сочувствовали анархистам, потом пошли за большевиками. На днях гвардия хотела разогнать митинг, грозили пулеметами. Митинг все же состоялся, но большевикам была спета вечная память на нем.

По заводу распоряжения самые разнообразные. Сначала был приказ изготовлять броню, потом было распоряжение приготовить завод к взрыву. Съезд заводов Морского ведомства обсудил это последнее распоряжение и запротестовал.

Эвакуация — это детские разговоры. Можно вывезти только в крайнем случае ценные машины и часть металла.

Рабочие волнуются и представляют из себя взбаламученную массу. Когда пошел слух, что рассчитанным рабочим будут уплачивать за полтора месяца, и выяснилось, что наш завод не может такой уплаты произвести, рабочие заволновались. Шляпников ставки повысил, но денег не дал; в банке тоже денег не дают, и даже предлагают заложить завод. Всякие долговые обязательства

аннулируют, а сами предлагают заложить завод; ликвидационная комиссия на это не соглашается.

Вопрос об отъезде волнует публику. 15 вагонов не могут удовлетворить никого. Рабочие интересуются, почему комиссары уехали, а мы не можем. Говорили даже о взрыве поездов. Пришлось нам же сдерживать рабочих.

Тов. ШПАКОВСКИЙ (Русско-Балтийский завод). Завод предполагают эвакуировать. Рабочие недоверчиво относятся к директории. Центральная организация по эвакуации ассигновок не выдает. Рабочие боятся, чтобы директория не ушла с деньгами. Волнуются и возмущаются.

Тов. КОРОХОВ (Обуховский завод). Заводской комитет был у нас всегда эсэровский. Но большевики фальсифицировали выборы, и теперь они в комитете в большинстве. Уже четыре месяца назад вынесли недоверие заводскому комитету, но это не помогает. Они смеются, когда им выносят недоверие. Разогнали на заводе все организации. Были у нас разные комиссии, для разных целей созданные. Была демобилизационная комиссия и другие. Большевики все разрушили. К эвакуации никаких мер не принимают: кое-что вывезли, но говорят, что по дороге выбросили. Настроение против большевиков растет. Теперь будет управлять тот, кто даст хлеб.

Тов. ВАСИЛЬЕВ (Русско-Балтийский Воздухоплавательный). Почти все рабочие рассчитаны. Осталось не более 150 человек. Вывозят ценные вещи, а мы остаемся. Разве мы менее ценны для промышленности, чем машины.

Деньги у директории есть, но их нам не дают.

На днях привезли деньги, чтобы показать нам их и увезти обратно.

Тов. Б. О. БОГДАНОВ. Из всех отчетов выяснилось, что на очереди ряд неотложных задач — вопрос об эвакуации, безработице, продовольствии, вопрос об организации рабочего класса. Первого и второго вопросов все касались. Но они только намечены. Каждый вопрос требует детального рассмотрения.

Э в а к у а ц и я проходит бессистемно, хаотично. Думают о материальных ценностях и не думают совсем о людях. Вопрос новый, рабочие не успели к нему подготовиться. Город действительно под угрозой неприятельского нашествия, но всего эвакуировать невозможно. Приходится этот вопрос разрешить так, чтобы минимально пострадал рабочий класс: часть придется увезти, остающиеся здесь рабочие должны будут наладить производство, должны быть как-нибудь использованы оставшиеся материалы и люди.

Безработица настоящая придет еще и придет очень скоро. Вопрос тесно связан с эвакуацией. Надо подумать об организации производства, общественных работ. Когда закроются остальные заводы, думать будет поздно.

Вопрос о продовольствии связан с двумя предыдущими вопросами. Ясно, что ставить его надо как вопрос о правильной организации всего продовольственного дела в стране.

Четвертый вопрос — вопрос организации. Заводские комитеты стали несменяемыми и опираются на пулеметы. Профессиональные союзы стали органами, зависимыми от власти. Когда пройдет социалистический мираж, начнут насту-

пать предприниматели, а рабочие встретят их безоружными.

Все вопросы связаны с вопросами общей политики. Во всяком своем деле мы будем наталкиваться на общие вопросы. Каждый шаг будет означать борьбу с правительством. Для решения всех указанных здесь задач надо создать аппарат.

Тов. РАГОЗИН (1-я Государственная Типография). В первую голову надо поставить вопрос об организации рабочего класса. Необходимо начать кампанию за перевыборы правлений профессиональных союзов, фабрично-заводских комитетов, советов солдатских и рабочих депутатов.

Тов. ЕРМАНСКИЙ (член Совета рабочих депутатов). Соглашается с планом работ, предложенным Богдановым. Указывает еще на один пункт — на неизбежность паники при возможной оккупации или приближении неприятеля. Возможны грабежи и погромы. При подавлении этих эксцессов могут быть раздавлены рабочие организации. Надо принять заблаговременно меры против этой опасности, надо поставить вопрос об охране города. Все перечисленные здесь вопросы надо поставить практически. В таком большом собрании практические вопросы не могут решаться детально. Необходимо организовать комиссии по всем поставленным здесь вопросам и прежде всего по вопросам об эвакуации, безработице и продовольствии.

Тов. Н. ГЛЕБОВ (Путиловский завод). Фраза Богданова о независимости рабочих организаций приятно меня поразила. Но пока это шифр. Мы еще не знаем, как надо понимать «независимость» и как ее понимает т. Богданов. Независимость, по-моему, это свобода от кружковщины, от преоб-

ладающего интеллигентского влияния. Это классовая независимость, в смысле проявления рабочими их максимальной самодеятельности.

Тов. КАММЕРМАХЕР (Всероссийский Союз печатников). Если бы все поставленные здесь вопросы стояли в нормальной стране и в нормальное время, решить их было бы не так трудно, а у нас и время, и положение особые. Надо искать особых путей и особых решений. Вопрос о независимых рабочих организациях имеет огромное значение. Рабочие сделали огромную ошибку, что позволили в октябре превратить свои организации в органы власти. Союзам навязаны задачи департаментов. Советы превращены в полицейские учреждения, следственные комиссии. Фабрично-заводские комитеты занимаются всем, но не защитой интересов рабочих.

Независимость — это освобождение от полицейских, административных функций. Необходимо немедленно дать ответы на вопросы жизни. Эвакуация бессмысленна сейчас. Нужно наметить ряд мероприятий по борьбе с безработицей: общественные работы, помощь, столовые и прочее. Когда начнем работать, увидим тогда, как строить свои организации.

Тов. ШИШКОВ (10-я Государственная Типография). Всюду идет борьба за власть. Когда у власти одна партия, другой приходится туго. Правительство Керенского расстреливало большевиков, теперь большевики расстреливают и другие хотят их сбросить. Надо обуздать их.

Эвакуация должна производиться. Мы, печатники, остаемся здесь. Нам придется строить организацию, и мне думается, нам придется создать

беспартийную рабочую организацию, а лозунги некоторых по-старому партийно-фракционные, и это плохо.

Тов. ПАПЕРНО (Союз аптекарских служащих). Никаких поводов для произнесения последних речей не было, т. т., ожегшись на молоке, дуют теперь на воду. Рабочий класс не может обойтись без оформления своих общественных мнений. Критика власти не есть еще борьба за власть. К власти стремятся только большевики.

А. Н. СМИРНОВ (Патронный завод). Две последние речи произвели невеселое впечатление. Широкие массы требуют ответа на смертельно трудный вопрос, а мы хотим винить интеллигенцию. Это значит идти по линии наименьшего сопротивления. Интеллигенция действовала плохо, а мы где были? Если хотите противопоставить себя интеллигенции, производите такую работу, которая поставит вас на вершушки движения.

Реформирование Советов и профессиональных союзов — вот почетная работа, но не сегодня и не завтра она сделается. Нужно затратить огромную энергию, а пока это будет сделано, нужно совместно всем искать ответы на все вопросы, поставленные жизнью.

Я двадцать лет в движении, в одной партии работаю и не могу вдруг думать иначе, чем думал всегда. Я излагаю свою точку зрения, а вы принимаете ее или отвергаете.

Тов. Глебов здесь говорил о независимой рабочей партии. У нас есть партии, есть организации, но говорят, нет организации, которая выведет рабочий класс из его положения. Но мне кажется, нет такого классового объединения, которое было бы

независимо от государственной власти. Такой орган может создать наше совещание, если ему удастся разрешить большие вопросы рабочей жизни.

Тов. БОГДАНОВ. Предлагает поставить в порядок работ Совещания вопросы: эвакуации, безработицы, продовольствия и организации и создать комиссии по разработке этих вопросов.

Тов. ГЛЕБОВ (Путиловский завод). Вопрос не только в борьбе за независимые организации, а в том, как нам организовать вообще; и этот вопрос я предлагаю поставить первым.

Голосованием принято предложение Богданова.

Тов. БОГДАНОВ предлагает, кроме того, постановить, что Бюро будет издавать информационный листок Собрания Уполномоченных и примет меры к объединению уполномоченных по районам; предлагает выбрать Бюро.

Тов. ШИШКОВ (Государственная Типография). Высказывается против районных объединений Уполномоченных. Полагает, что это будет конкурирующая с районными Советами организация, борющаяся за власть.

Тов. КАММЕРМАХЕР указывает, что Собрание Уполномоченных ставит себе задачи, которые не разрешаются теперь ни одной из существующих организаций. Никакой борьбы за власть оно не собирается вести, и Шишков напрасно пугается.

Тов. ЕРМАНСКИЙ. Когда говорят о беспартийности, то это тоже своего рода партийность. Определенная узко-партийная политика создала дурной осадок и, вероятно, только этим объясняется противофракционное выступление товарищей Глебова и Шишкова.

Предложение Богданова относительно выборов Бюро, организации Комиссий, издания бюллетеней и создания районных собраний Уполномоченных принято.

В связи с резолюцией о свободе печати выбирается делегация в союз печатников в составе: тт. Берга, Яковлева, Гайдука.

Собрание приступает к выборам Бюро.

Выборными оказались: т. Берг (47 голосов), т. Каммермахер (44 голоса), т. Глебов (42), т. Смирнов (40), т. Корохов (38), т. Рогозин (32), т. Зимин (31), т. Яковлев (30), т. Кононов (29), т. Зверев (26).

Кандидаты к ним: т. Блоха (23), т. Шпаковский (22), т. Шибалов (20), т. Ильин (16), т. Орлов (12), т. Никитин (11), т. Гамзюков (8), т. Борисенко (8).

На Совецание кооперативов, устраиваемое 16 марта Союзом Потребительных Обществ, избираются делегатами Иванов, Чураков и Федоров.

ДЕКЛАРАЦИЯ, ПРИНЯТАЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ

Мы, рабочие Петроградских фабрик и заводов, обращаемся к Всероссийскому Съезду Советов Рабочих, Крестьянских и Солдатских Депутатов со следующим заявлением:

25-го октября 1917 года большевистская партия в союзе с партией левых с.-ров и опираясь на вооруженных солдат и матросов свергла Временное Правительство и захватила власть в свои руки.

Мы, петроградские рабочие, в большинстве своем приняли этот переворот, совершенный от нашего имени и без нашего ведома и участия, совершенный накануне второго Съезда Советов, которому предстояло сказать свое слово по вопросу о власти.

Более того. Рабочие оказали поддержку новой власти, объявившей себя правительством рабочих и крестьян, обещавшей творить нашу волю и блюсти наши интересы. На службу ей стали все наши организации, за нее пролита была кровь наших сыновей и братьев, мы терпеливо переносили нужду и голод; нашим именем сурово расправлялись со всеми, на кого новая власть указывала, как на своих врагов; и мы мирились с урезыванием нашей свободы и наших прав, во имя надежды на данные ею обещания.

Но прошло уже четыре месяца, и мы видим нашу веру жестоко посрамленной, наши надежды грубо растоптанными.

Новая власть называет себя советской и рабочей, крестьянской. А на деле важнейшие вопросы государственной жизни решаются помимо советов; ЦИК вовсе не собирается или собирается затем, чтоб безмолвно одобрить шаги, без него, самодержавно предпринятые народными комиссарами, советы, несогласные с политикой правительства, бесцеремонно разгоняются вооруженной силой; и всюду голос рабочих и крестьян подавляется голосом делегатов, якобы представляющих 10-миллионную армию, дезорганизованную большевистской политикой, существующую только на бумаге, частью демобилизованную, частью самовольно обнажившую фронт и разбежавшуюся

по домам. На деле всякая попытка рабочих выразить свою волю в советах путем перевыборов пресекается, и не раз уже петроградские рабочие слышали из уст представителей новой власти угрозы пулеметами, испытали расстрелы своих собраний и своих манифестаций.

Нам обещали немедленный мир, демократический мир, заключенный народами через головы своих правительств. А на деле нам дали постыдную капитуляцию перед германскими империалистами. Нам дали мир, наносящий сильнейший удар всему рабочему Интернационалу и поражающий насмерть русское рабочее движение. Нам дали мир, закрепляющий распад России и делающий ее добычей иностранного капитала, мир, разрушающий нашу промышленность и позорно предающий интересы всех народностей, доверившихся русской революции. Нам дали мир, при котором мы не знаем даже точных границ своего рабства, потому что большевистская власть, столько кричавшая против тайной дипломатии, сама практикует худший сорт дипломатической тайны и, уже покидая Петроград, до сих пор не сообщает полного и точного текста всех условий мира, самовольно распоряжаясь судьбами народа, государства, революции.

Нам обещали хлеб. А на деле нам дали небывалый голод. Нам дали гражданскую войну, опустошающую страну и вконец разоряющую ее хозяйство. Под видом социализма нам дали окончательное разрушение промышленности и расстройство финансов, нам дали расхищение народного достояния и накопленных капиталов людьми с ненасытным аппетитом. Нам дали царство взя-

точничества и спекуляции, принявших неслыханные размеры. Нас поставили перед ужасами длительной безработицы, лишив нас всяких способов действительной борьбы с ней. Профессиональные союзы разрушены, заводские комитеты не могут нас защитить, городская дума разогнана, кооперативам ставят помехи. Покидая Петроград, Совет Народных Комиссаров бросает нас на произвол судьбы, закрывая фабрики и заводы, вышвыривая нас на улицу без денег, без хлеба, без работы, без органов самозащиты, без всяких надежд на будущее.

Нам обещали свободу. А что мы видим на деле? Где свобода слова, собраний, союзов, печати, мирных манифестаций? Все растоптано полицейскими каблуками, все раздавлено вооруженной рукой. В годовщину революции, оплаченной нашей кровью, мы снова видим на себе железные оковы бесправия, казалось, вдребезги разбитые в славные февральские дни 1917 года. Мы дошли до позора бессудных расстрелов, до кровавого ужаса смертных казней, совершаемых людьми, которые являются одновременно и доносчиками, и сыщиками, и провокаторами, и следователями, и обвинителями, и судьями, и палачами.

Так вот во имя чего льется ручьями кровь рабочих и крестьян России. Так вот во имя чего разогнано Всенародное Учредительное Собрание, за которое гибли на виселицах, на каторге, в тюрьмах и ссылке наши лучшие люди, за которое десятилетиями боролись мы и наши отцы.

Но нет! Довольно кровавого обмана и позора, ведущего революционную Россию к гибели и рас-

чищающего путь новому деспоту на место свергнутого старого. Довольно лжи и предательства. Довольно преступлений, совершаемых нашим именем, именем рабочего класса.

Мы, рабочие Петроградских фабрик и заводов, требуем от съезда:

I. Отказа утвердить кабальный, предательский мир.

II. Постановления об отставке совета народных комиссаров.

III. Немедленного созыва Учредительного Собрания и передачи ему всей власти для прекращения гражданской войны, воссоздания единства свободных народов России, организации промышленности, сельского хозяйства, транспорта и продовольствия, собирания сил для отпора вторжению насильников и заключения мира на основах, ограждающих интересы революционной России.

Издатель: Чрезвычайное Собрание уполномоченных фабрик и заводов г. Петрограда

Редакционная комиссия в лице: уполномоченного с Путиловского завода Н. Н. ГЛЕБОВА

ВЫХОДИТ ЕЖЕДНЕВНО В БЕРЛИНЕ

Berlin, 7 August 1923. Wochentag-Ausgabe Nr. 152.

№ 1422-й

Пятница, 7 августа 1923 г.

6-й г. изд.

Сегодня в номере

Почта. Иностранцы на Камчатке — Ш. А. Пашкин. Новая Нидерландская Голландия — М. В. Брунуков. Шкуманы на чужбине в Берлине — В. В. Арбузов.

Веракия, 6 августа.

Июль? При каждом походе, раз крадутся воздухоплавания, а в это случается сажидеи... Моей Голландии... Иностранцы на Камчатке... Новая Нидерландская Голландия... Шкуманы на чужбине в Берлине...

Возстание арабов в Персии.

Москва, 6/8

События почти полностью в политическом смысле, потому что...

В провинциях Арабские арабы... Машагиды на город Мазандеран... 23-миле партия...

Полный несогласия арабы... Арабы в провинциях... Машагиды на город Мазандеран...

События почти полностью в политическом смысле, потому что... Машагиды на город Мазандеран...

Отъ собственного корреспондента. Лондон, 6/8. Дипломатический сотрудник. Daily Telegraph сообщает, что...

Английское правительство... Машагиды на город Мазандеран...

Странствия Юлиуса Тейгера... Машагиды на город Мазандеран...

В Париже, 6/8. По сообщению Мэна... Машагиды на город Мазандеран...

Полдня Брига в Лондоне.

Париж, 6/8

Два полдня Брига в Лондоне... Машагиды на город Мазандеран...

Машагиды на город Мазандеран... Машагиды на город Мазандеран...

Машагиды на город Мазандеран... Машагиды на город Мазандеран...

Машагиды на город Мазандеран... Машагиды на город Мазандеран...

Иностранцы в Китае.

В течение месяца... Иностранцы в Китае... Машагиды на город Мазандеран...

Иностранцы в Китае... Машагиды на город Мазандеран...

Иностранцы в Китае... Машагиды на город Мазандеран...

Advertisement for 'Kaufmann, Bülow & Co.' with contact information in German and Russian.

Кардинал Миндсенти

ПЕРЕД ЛИЦОМ НОВЫХ ИСПЫТАНИЙ

Продолжение .

Судьба интернированных

На епископском совещании 20 июля 1946 года, помимо других вопросов, мы обратили также внимание на судьбу интернированных, находившихся в лагерях. По поручению епископата, я написал письмо премьер-министру Ференцу Надю. Мы потребовали всеобщей амнистии и выдвинули для нее следующие обоснования:

«...Недоброй памяти доктрины ныне повергнутых сил в Германии и Италии были укоренены гораздо более прочно, чем у нас, но тем не менее там не наблюдается такого разгула низкой мести, как в Венгрии. Во французской оккупационной зоне Германии далеко идущая амнистия была предоставлена даже бывшим активистам нацизма. Там уже освобождено из заключения 250 человек. Если даже в Германии, где военным преступникам смертные приговоры выносят лишь в редких случаях, и если победившие французы, несмотря на разгоревшуюся ненависть, сумели вступить на путь прощения, то тем более следует венграм, чья страна оказалась лишь побочным фронтом политического помутнения умов, найти слова прощения

и примирения по отношению к своим соотечественникам. А правительству следует, не обращая внимания на науськивания незначительного меньшинства, вступить на путь общенационального единения. Мнение, будто спокойствие и порядок могут быть обеспечены только в условиях битком набитых тюрем и лагерей — несостоятельно и оскорбительно для нашей полиции. Мы полагаем, что если люди по всей стране простят друг друга, то наступит спокойствие и удовлетворение, каких до сих пор не было. Быстро потерял бы силу и вновь вспыхнувший антисемитизм, охватывающий вновь некоторые слои населения. Тюрьмы существуют для воров, насильников и убийц, для лиц, которые пытаются проложить себе дорогу подкупам или незаконными махинациями. Пора поэтому отпустить тех, кто уже в течение многих месяцев находится в заключении без возбуждения против них какого-либо судебного дела. Пора вернуть свободу и тем, кто осужден не за личные преступления, а только за то, что они ранее занимали те или иные посты. И уже вне всякого сомнения обстановку в стране можно только улучшить, если отпустить на свободу больных, стариков, матерей и врачей...»

Узнав о содержании нашего послания, русский главнокомандующий предложил премьер-министру выступить с открытым порицанием духовенству. Не касаясь существа затронутых нами вопросов, Ференц Надь выдвинул на состоявшейся вскоре пресс-конференции следующие обвинения:

1. Якобы епископы и священники уклоняются от мирного строительства на благо родины и не

поддерживают соответствующих усилий советских войск.

2. Будто они терпят в рядах своих объединений антисоветские и антидемократические элементы и не противодействуют их махинациям.

3. Что они якобы на словах выражают свое преклонение перед демократией, но ничем не проявляют своей благодарности Красной армии.

10 августа 1946 года я написал премьер-министру Ференцу Надю письмо и ответил на выдвинутые им упреки:

«Чувства, с которыми венгерские епископы встретили победоносную оккупационную армию, были выражены в нашем пастырском послании 24 мая 1945 года. Мы констатировали в этом послании, что опасения, согласно которым русские войска якобы намеревались уничтожить Церковь, оказались не соответствующими действительности. Военное командование даже сделало несколько многозначительных жестов, свидетельствующих о его внимании к нашим нуждам. Церкви стоят и никто нам не препятствует совершать богослужения. Таковы были положения, определившие отношение носителей церковной власти к оккупационным войскам. Принимая во внимание эти положения, Церковь проявила крайнюю сдержанность и в отношении нарушений, происходивших в процессе оккупации страны, а иногда, как было признано в одном из правительственных заявлениях, происходят и по сей день. Но никто не мог, да и не может от нас ожидать, чтобы мы отрицали общеизвестные факты или старались бы их затушевать. Время от времени мы обращали на них внимание и ходатайствовали о том, чтобы вла-

сти вмешались и навели бы порядок. В прочем же мы воздерживались от каких бы то ни было высказываний, которые могли бы быть сочтены оскорбительными для оккупационной армии или для демократического строя. Если существуют какие-либо указания на нарушение нами этого правила, то я прошу ознакомить меня с ними. Правительственное заявление ограничивается в этом отношении общими высказываниями. Вместе с тем правительство ожидает от нас благодарности. Но разве можно ее от нас ожидать, подвергая нас непрерывным оскорблениям? О них мы письменно информировали господина премьер-министра и тем самым правительство. Упомянем еще, что не установлены дипломатические отношения со Святейшим Престолом. Напомним о нападках на наши школы и воспитательные учреждения, о подавлении наших прицерковных организаций под предлогом якобы совершенного преступления, подлинные обстоятельства которого так и не были выяснены. Укажем на запрещение церковных процессий, на аресты священнослужителей, на искусственное затягивание расследований, на недопущение издания ежедневной газеты, на запрет создания политической партии. О непрерывных нападках в печати — в частности и в газете, издаваемой Красной армией — мы не будем и говорить. Подвергаясь такому ураганному огню, мы не в состоянии пойти навстречу пожеланиям правительства. Только если по отношению к нам будет восстановлена справедливость и мы получим возможность беспрепятственно исполнять свой пастьерский долг, мы согласимся на безоговорочное и гармоничное сотрудничество.

Прошу принять это к сведению и соответственно информировать инстанции, которых это касается. Поскольку правительственное заявление было опубликовано, мы просим довести до сведения общественности в полном объеме и наш ответ. Сами мы располагаем возможностью высказаться по этим вопросам лишь в пастырском послании».

Мое письмо так никогда и не было опубликовано.

Замаскированные гонения на веру

В наших письмах, адресованных премьер-министру, мы назвали подавление наших юношеских организаций тяжким нарушением свободы вероисповедания. Левая же печать и руководство марксистских партий настаивали, напротив, на том, чтобы эти их шаги расценивались как совершенно необходимые общественные реформы. Конечно, властям это было нужно и потому, что им приходилось считаться со свободным миром и с западными державами, военные миссии которых еще находились в Венгрии. Но летом 1946 года начались притеснения церковной жизни и в ряде других областей. 20 июля 1946 года мы были, например, поставлены перед необходимостью отказаться от проведения обычной процессии в день Тела Господня. Власти отказали нам в разрешении направить процессию по обычному маршруту, в последний момент позволив использовать лишь непосредственно прилегающие к собору небольшие улочки: очевидно, испугались, что процессия выльется в массовую демонстрацию верности Церкви со стороны населения.

Это нарушение свободы вероисповедания я упомянул в своей речи на общем собрании членов братства святого Стефана 7 ноября 1946 года. Из тактических соображений я говорил перед своими слушателями не столько о советских методах, сколько о нацистских. Тем не менее, мой доклад открыл глаза многим депутатам партии Мелких землевладельцев и руководителями местных организаций этой партии. Мои доводы произвели впечатление даже на некоторых социал-демократов и на членов Крестьянской партии. Поэтому я хочу привести здесь несколько выдержек из этой моей речи:

«Во многих частях земного шара теперь соглашаются признавать за Церковью право на полную независимость. Но так же, как и свобода гражданская, независимость Церкви не обязательно лучше всего обеспечивается там, где о ней чаще всего и громче всего говорят. В большинстве случаев на независимость Церкви и на свободу человека цепи налагаются одновременно. Об этом ярко свидетельствуют первые три века нашей эры, Французская революция и времена Гитлера.

На протяжении всей своей истории Церковь не только защищала, расширяла, провозглашала свое учение, но и защищала свои правовые позиции — в особенности же вновь и вновь указывала, что она не подчинена государственной власти. Римские папы неоднократно осуждали учения — цезарепапизм, галликанизм, февронианизм, иосифинизм, теорию о государственной монополии на право, о всемогуществе государства, этатизм и так далее, в которых утверждалось, будто Церкви надлежит быть лишь привеском и служанкой госу-

дарства. Во все времена Церковь противилась государственным попыткам вмешательства в область вероучения или церковного управления.

В наши дни гонения на Церковь приобрели новые формы. Раньше у верующих отнимали их храмы. А теперь у церквей отнимают верующих. За время своего двенадцатилетнего владычества гитлеризм, согласно кардиналу Фаульхаберу, сделал всё, что мог, чтобы именно таким путем парализовать деятельность Церкви. Началось с обмана — с заключения конкордата*. А вслед за этим были приняты меры, затрудняющие епископам поддержание связи с Римом и передачу за границу сведений о действительном положении дел в «Третьем рейхе». Петля систематического удушения затягивалась всё туже. Была поставлена цель — дехристианизировать общественную жизнь, для достижения которой использовались печать, театр, кино, радио, выставки, доски объявлений, партийные организации и толпы организованных крикунов. Церковь же лишили свободы печати, устных выступлений и собраний. В отношении Церкви нарушалась тайна переписки, тайна телефонных разговоров, тайна закрытых выборов. Вместе с партийными агитаторами против Церкви восставали новые секты, изменившие своему долгу священники. Стимулировались заявления о выходе из Церкви. Громогласная пропаганда, пользуясь глупой и наглой комбинацией понятий — кровь, раса, народ, государство, фюрер, черный фронт —

* Конкордатами называются договоры, акты международного права, заключаемые теми или иными государствами с Ватиканом. — П е р е в.

подвергала настоящей травле Рим, немецких епископов, немецкое духовенство и верных католиков-мирян. Закон не предоставлял им защиты. Взывать к правовым гарантиям становилось бессмысленным.

Вначале гонители действовали с опаской, затем распоясались, обнаглели, не стесняясь применяли подлость и проявляли жестокость. На открытых собраниях епископов выставляли лжецами, обманщиками и изменниками родины. Их оскорбляли среди бела дня на улице, оскорбляли действием, а иных высылали за пределы страны. Разгрому и неоднократным обыскам подвергся дворец архиепископа в Мюнхене. Возбуждались судебные дела за мнимое нарушение валютных правил или нравственности, при помощи которых партия пыталась достигнуть своих целей. Церковь лишили экономических основ ее существования, подвергли нападкам ее мнимое «политиканство», упрекая епископов и священников в скрытых симпатиях к «красным». Правительство, министерства внутренних дел и юстиции, полиция, гестапо и партия препятствовали церковной проповеди, совершению богослужений и треб, церковному влиянию в школе, в семинариях, в благотворительной организации «Каритас». Учителей, хранящих верность Церкви, власти заставляли прекращать педагогическую деятельность, исчезли из школьных помещений распятия, в школе была запрещена молитва, ограничено преподавание Закона Божия, сужены возможности рассылки пастырских посланий. Время от времени население успокаивали заявлениями, которые не соответствовали действительности. Так, например, министр рейха по цер-

ковным вопросам Керрль еще в 1937 году утверждал, что якобы не существует ни одного священника, который испытал бы какие-либо затруднения в связи со своей профессией, что не было ни одного случая запрещения совершения святой мессы и что не подверглось запрету ни одно учение католической Церкви. Прицерковные организации распускались и обвинялись в антигосударственной деятельности, которая заключалась якобы в том, что эти организации предоставляли убежище «заговорщикам, платным агентам Москвы». Только в том случае, если в руководстве данной организации находилось лицо, которому власти могли доверять во всем и полностью, организация могла надеяться на разрешение продолжать свою деятельность. Не разрешалось проводить ни занятий по пению, ни вечеров, посвященных разбору Библии, если об этом за месяц не сообщалось властям. В одной только Бреславльской епархии в 1941 году было конфисковано 60 монастырей и церковных общежитий, в Баварии без крова осталось тогда 1.600 монахинь. Наконец, власти перешли к таким мерам, как закрытие многих церквей и увоз священников в Дахау и другие концентрационные лагеря. 15 марта 1945 года в лагерях находилось 1.943 представителя католического духовенства Германии и других стран, в том числе один архиепископ, два епископа, два аббата, четыре прелата, 482 приходских священника и 342 каплана.

Подготовив таким образом почву, перешли к мерам по отчуждению молодежи от Церкви. Членам гитлерюгенд было запрещено участвовать в процессиях Тела Господня. Затем начали принуждать молодежь принимать участие в спортивных

состязаниях, которые устраивались в часы воскресных богослужений. Тайный указ Бормана о необходимости полной ликвидации Церкви, тайные инструкции гестапо, в которых меры по подавлению Церкви мотивировались мнимой враждебностью Церкви к государству, свидетельствуют, что жгучую ненависть Вольтера к Церкви, оказывается, можно и превзойти.

Сегодня перед нами стоит вопрос: как долго еще будет продолжаться эта дьявольская борьба против Церкви? Неужели осуждаемые ныне всеми поползновения Гитлера найдут своих продолжателей?

Мы с величайшим уважением вспоминаем о героизме и мужестве немецких епископов, священников и мирян. Особенно же мы хотим напомнить о верности, проявленной многими представителями молодежи. Знаменательное единство епископов, твердость священников, исповедничество мирян и сознание долга у молодежи ныне позволяют немецким католикам сказать: «Крест устоял, а свастика канула в небытие». Оглядываясь назад, на прошлое, мы должны сделать выводы для нашей страны и для нашей Церкви:

1. Бывают на свете движения и идеологии, которые рождаются на свет Божий со словом «свобода» в устах, но потом, развернув свои знамена, выявляют себя как присяжные гробокопатели всякой свободы. Гонители Церкви подобны двуликому Янусу: один лик возвещает торжество свободы, — другой смотрит на нас мрачным взором тирана.

2. Во всем мире публикуются законодательные акты, гарантирующие свободу вероисповедания, в

том числе и у нас. 30 января 1946 года парламент гарантировал каждому гражданину неотъемлемые права человека. В частности были перечислены такие права и свободы: неприкосновенность личности, свобода собраний, свобода убеждений и вероисповедания, право на участие в государственной жизни и в управлении страной, право на труд, на социальное обеспечение, на пропитание, на образование. Объявлено, что все эти права неотчуждаемы, то есть лишить их гражданина можно только по суду, на основании вступившего в силу приговора. При этом один из депутатов-марксистов выступил и подчеркнул: «Мы самым горячим образом приветствуем законопроект об основных правах. Этот закон — благороднейшая декларация прав человека».

Крест, несомый Церковью на своих плечах — ее земной удел. Подлинное торжество Воскресения наступит для нее вне пределов земной жизни, когда прервется нить мировой истории и мир предстанет пред судом, когда подвергнутся осуждению враги Церкви и дети их, когда возгорится ярким светом Крест и отверзутся двери вечные (Пс. 23, 7), когда Церковь воинствующая и страждущая станет Церковью торжествующей. Пока же да укрепит нас слово Спасителя: «Мужайтесь: я победил мир» (Иоан. 16, 33). Врата адовы не одолеют Церкви».

Коллективная ответственность

В конце второй мировой войны город Кошице был объявлен временным местопребыванием правительства Чехословакии. Вскоре после этого пре-

зидент Бенеш выступил с заявлением, что отныне Чехословакия будет родиной одних только чехов и словаков. Этим он подал сигнал к планомерному выселению венгров и судетских немцев за пределы страны. В то время в Южной Словакии, в пространной пограничной полосе, некогда входившей в состав венгерского государства, жило приблизительно 650.000 венгров. Правительство в Кошице намеревалось 200.000 из них вернуть к их прежней словацкой национальности. Около 100.000 человек предполагалось обменять на словаков, до той поры живших в Венгрии, а остальные 400.000 ассимилировать, расселив их по всей Чехословакии.

Прежде всего венгров лишили гражданства. Затем выгнали с государственной службы или со службы в местных самоуправлениях. Перестали выплачивать заработную плату и пенсию, экспроприировали без всякого вознаграждения принадлежавшие им мастерские или предприятия. Впредь венграм запрещалось работать в промышленности и в области торговли. Дома и землю у них отняли и передали в собственность словацким партизанам. Были закрыты все венгерские школы — как средние, так и начальные. Издали указ, отменяющий преподавание Закона Божия на венгерском языке; во многих местах запрещалось исполнение церковных песнопений по-венгерски. Нельзя было больше читать Евангелие в церкви на родном языке. Прекратился выпуск венгерских газет и книг. Многих священников-венгров выслали за пределы страны, чтобы стадо осталось без пастырей. Щадили только тех, кто соглашался отречься от своей национальности и стать словаком. Летом

1945 года правительство Чехословакии обратилось к собравшимся в Потсдаме руководителям великих держав с просьбой об утверждении выработанных им планов выселения. Правда, конференция одобрила только план выселения судетских немцев, но не венгров. Тем не менее 20.000 из них вскоре после этого подверглись изгнанию. Но наше правительство не решалось вступить за преследуемых соотечественников, поскольку русские поддерживали линию поведения чехословацких властей. Поэтому и венгерские коммунисты ни в коем случае не предприняли бы никаких шагов в защиту этих беженцев. Тактику Советского Союза легко объяснить стремлением поддерживать национальную вражду среди населения своих вассальных государств, в полном соответствии в исконным принципом: «Разделяй и властвуй». В силу всего этого, забота по оказанию помощи изгнанным из соседней страны соотечественникам легла на плечи одной только Церкви. Летом 1945 года ко мне приехал — я тогда был еще в Веспреме — Винце Томек, впоследствии ставший генералом ордена пиаристов. Он обрисовал мне обстановку и попросил меня обратиться к словацким епископам с призывом вступить за изгоняемых. Я посоветовал ему обратиться к архиепископу Грёсу. Но он настаивал, что особым весом будет обладать именно мое выступление, поскольку я сам во время войны находился в заключении. Поэтому я выполнил его просьбу и написал письмо словацким епископам. Но я так никогда и не получил никакого ответа на свое письмо и не мог узнать, было ли ими что-либо по нашей просьбе предпринято. Высланные священники впослед-

вии говорили мне, что церковные власти Словакии в ряде случаев оказывали поддержку венграм, которым грозила высылка.

Переняв дела в Эстергоме, я 15 октября 1945 года коснулся горькой судьбы этих людей в окружном послании, из которого привожу здесь выдержку:

«Возлюбленные мои верующие!

Отяготела рука Господня на нас (1 Царств 5, 6-11). Если бы боль наша стала бы воплем, то он дошел бы до небес и превозмог даже стенания отдельных людей, семей, деревень и городов нашей родной страны.

Тем не менее мы должны признать: наш крест еще не самый тяжкий, наши раны не самые жгучие.

Из северной части нашей епархии, связанной с нами вот уже 900 лет единством веры, поступают сведения о неизъяснимых страданиях, о ненависти и мести. Вновь употребляются мучения, которым подвергались в концентрационных лагерях несчастные евреи. В течение лета неоднократно узнавали мы о пытках, арестах, отправке в лагерь. Причин не сообщают, следствий не проводят.

В деревнях и городах вооруженные жандармы хватают монахинь или священников или гонят их через вновь проведенную границу. Месяцами тысячи запуганных людей дрожат, особенно по ночам, опасаясь, как бы эта жестокая судьба не коснулась и их. Среди изгоняемых представлены все возрастные группы от грудных младенцев до дряхлых стариков, изгоняются целые семьи с четырьмя, пятью малыми детьми. Им не разрешают брать с собой даже самого необходимого.

Те же, кто сможет остаться, потому что прокатившаяся по всему миру волна возмущения принудит правительство к некоторой сдержанности, будут лишены венгерских школ даже в районах с чисто венгерским населением, и венгерским священникам не будет разрешаться их окормлять. Им не позволят пользоваться провозглашенными во всем мире правами человека, в том числе и укорененным в Атлантической хартии правом свободного вероисповедания. И это происходит в XX веке. Преследуя священников, думают поразить пастыря, чтобы рассеялось стадо овец (Мф. 26, 31). Стадо это — несчастный венгерский народ.

Возлюбленные верующие, я повествую обо всем этом не для того, чтобы разжечь в ваших сердцах пламя ненависти. Лишение прав и свобод, угнетение слабых вопиют к небу. Моя цель — пробудить в вас сострадание и любовь к ближнему.

После того как ваши священники огласят это письмо, совершите совместную молитву о страждущих братьях и о скором обращении тех, кто действует столь бесчеловечно. И за них пролита искупительная кровь Христова. Молитесь об истине и о жизни, о том, чтобы будущее принесло с собой торжество справедливости, мира и любви.

Эстергом, 15 октября 1945 года

Йожеф Миндсенти
Князь-примас, архиепископ
Эстергомский».

Когда в конце года правительство Чехословакии наконец приступило к переговорам об обмене

населением, положение несколько смягчилось. Было решено, что вместо высылаемых венгров в Чехословакию каждый раз будет переселяться такое же число словаков из Венгрии. Но скоро выяснилось, что лишь небольшое число чехов и словаков соглашалось покинуть нашу страну. Чехословакия вновь обратилась к правительствам великих держав с просьбой разрешить массовое выселение 200.000 венгров. Согласие на это дано не было. При заключении же мирного договора с Венгрией устанавливалось, что страны, которых касаются вопросы об обмене населением, должны вступить в двусторонние переговоры между собой. Одновременно с этим чехословацкие власти приступили к переброске венгров в местности, из которых изгонялись судетские немцы. В результате этого через границу к нам хлынули целые потоки беженцев. Мы получили возможность собрать свидетельские показания о проводимых чехословацким правительством мероприятиях и написать о них в наших обоих еженедельниках. Чтобы привлечь ко всему этому также и внимание свободного мира, я послал телеграммы кардиналам Гриффину в Лондон и Спельману в Нью-Йорк, сообщив о содержании этих телеграмм одному из информационных агентств. Так сообщения о трагической судьбе венгров в Словакии попали на страницы международной печати разных оттенков. Чехословацкое правительство стало оправдываться тем, что на самом деле якобы речь идет не о насильственном переселении, а только об осуществлении каких-то общественных работ. На такую попытку исказить истинное положение дел я 21 декабря 1946 года ответил таким заявлением:

«Мы далеки от мысли вмешиваться в обычные внутренние дела чужих государств. Но в данном случае речь не идет о внутренних делах того или иного государства. Никого не обманет ссылка на закон, обязывающий к выполнению тех или иных работ в пользу государства. Совместно со всеми венгерскими католиками мы громогласно зываем к справедливости. Мы требуем назначения независимой международной комиссии, которая могла бы беспрепятственно ознакомиться с фактами и создать предпосылки для того, чтобы Организация Объединенных Наций могла вмешаться и обеспечить соблюдение прав человека и мир. Мы молим Бога о том, чтобы все те, в чьих руках власть, но кто, тем не менее, несет ответственность перед Всевышним, услышали наш призыв о помощи.

Эстергом, 21 декабря 1946 года

Йожеф Миндсенти
Кардинал, Князь-примас,
архиепископ Эстергомский».

Несколько ранее я стал хлопотать о разрешении на въезд в Чехословакию. Я хотел лично ходатайствовать за преследуемых перед церковными и светскими властями. Долго я не получал вообще никакого ответа. Тогда я написал в Прагу кардиналу Берану, который мне 21 декабря 1946 г. сообщил о позиции, которую заняло правительство Чехословакии. Оно выражало готовность выдать мне въездную визу, при условии, что мое посещение будет касаться только чисто церковных дел

и что я воздержусь от каких-либо заявлений, не носящих чисто религиозного характера. С этим я считался. Чехословацкие власти не желали допустить моего контакта с венграми, переселенными в Судеты, и отказывались разрешить мне побывать в деревнях, некогда населенных венграми. Но я добился все-таки, чтобы внешний мир узнал о судьбе страждущих и осудил цинизм и бесчеловечность их преследователей.

5 февраля 1947 года я направил королю Георгу VI и президенту Трумену телеграммы следующего содержания:

«С глубоким почтением обращаюсь к Вам в надежде, что Вы услышите мою мольбу и обратите внимание на жестокие преследования, которым вот уже два года подвергаются 650.000 венгров, живущих на территории Чехословакии. Всех их огулом, без какого-либо постановления суда лишают прав человека, имущества, родного языка, свободы религии и культуры. Великие державы и Объединенные Нации объявили эти права священными и неотчуждаемыми и взяли на себя их гарантию. Но начиная с 16 ноября, детей, стариков, тяжелых больных и беременных женщин, под предлогом рабочих обязательств, насильственно, под угрозой оружия переселяют. Самостоятельных торговцев, независимых мелких земледельцев и священнослужителей заставляют покинуть родную землю, питавшую их предков тысячу лет. Их грузят в товарные вагоны и увозят. В местностях, расположенных за 500-600 километров от их родных мест, людей заставляют выполнять работу домашней прислуги. Морозы в 20 градусов привели к тому, что в пути погибло много больных и

младенцев. Два года назад Церковь пыталась предотвратить депортацию евреев. Ныне я обращаюсь к Вам с призывом пресечь данную депортацию, нарушающую вечный божественный закон и принципы человечности, возвысить голос протеста и добиться прекращения вопиющих к небу мучений сотен тысяч человек.

Йожеф Миндсенти
Кардинал,
Князь-примас Венгрии».

Несмотря на острую критику преследований и насильственных переселений со стороны общественного мнения всего мира, эти мероприятия не прекращались. Новые тысячи людей искали убежища на территории, оставшейся за Венгрией. Это ставило нас перед трудно разрешимыми задачами. Нелегко было обеспечить такое число людей кровом, питанием и работой. Поначалу церковная организация «Каритас» была их единственной надеждой. Старания работников министерства иностранных дел привели потом к тому, что под давлением общественного мнения и венгерскому правительству пришлось, наконец, проявить более серьезную заботу об этих несчастных. 27 февраля 1946 г. были начаты переговоры, которые привели к заключению соглашения об обмене населением, что временно улучшило положение. Но после того, как русским через год удалось решительным образом ослабить фракцию Мелких землевладельцев и добиться преобразования правительства, оно стало всё более зависеть от коммунистов. Это тотчас же отразилось на судьбе венгров в Словакии.

Летом 1947 года вновь многих из них доставили на границу и выгнали. Против этого правительство протестовать не решилось. Вместо этого оно со своей стороны выслало, с согласия Советского Союза, живших в Венгрии лиц немецкой национальности в Восточную Германию, чтобы таким образом освободить места для высылаемых из Чехословакии венгров. Бессовестность и цинизм такого рода действий вызвали беспокойство во всей Венгрии. Поэтому я направил премьер-министру Лайошу Диньешу телеграмму следующего содержания:

«Господину премьер-министру Лайошу Диньешу, Будапешт.

В районе Батасека и в других местах происходит выселение немцев. Есть основания опасаться, что высылка не затрагивает бывших членов «Фольксбунда» и «СС», но по материальным соображениям применяется по отношению к участникам Движения верности Венгрии. Ради справедливости и для соблюдения чести венгерского народа я прошу Вас, руководствуясь духом святого Стефана, приостановить эту депортацию впредь до проведения нейтрального выяснения всех обстоятельств, с тем, чтобы не принуждать меня обратиться к мировой общественности.

Кардинал Миндсенти, Князь-примас».

Две недели спустя я опубликовал следующее воззвание:

«Я решился на необычный шаг. К нему принуждают меня исключительная серьезность и трагичность данного вопроса. Исчерпав все возможности официальных заявлений и ходатайств, я считаю необходимым обратиться теперь к содей-

ствию печати, чтобы привлечь внимание всех слоев населения, а также ответственных властей Венгрии и внешнего мира к жестокостям, которыми сопровождается высылка и переселение венгров. Кое-кто, видимо, полагает, что в подобных методах заложен ключ к обеспечению мира, хотя опасные последствия и не заставляют себя ждать. Тысячи людей изгоняются из местностей, в которых их предки жили веками, изгоняются только из-за происхождения и родного языка. Имущество этих людей конфискуется, что обрекает их на бездомное существование и нищету. Что на самом деле происходит? В Чехословакии собираются подвергнуть насильственному переселению около 600.000 венгров, в течение тысячи лет составлявших часть нашего народа, жившую к северу от Дуная. Их хотят согнать с родной земли, принадлежавшей им не только при старых государственных порядках, но и при новых, возникших после второй мировой войны. Явления, сопровождающие подобного рода переселения, остаются нераскрытыми из-за строгой секретности, окутывающей эти операции, точно так же, как и случаи, имеющие место при высылке тысяч других лиц с насиженных ими мест в Германию. Операции эти, на короткое время были прерванные, теперь со всей жестокостью возобновлены. И все это происходит в то время, когда так много говорят о демократии, человеческом достоинстве, свободе личности и обеспечении жизни, свободной от страха. Сердце любого порядочного человека, действительно любящего человечество, обливается кровью и страдает, взирая на всё происходящее.

Моя совесть и обращенные ко мне призывы моих сограждан заставляют меня обратиться с этим заявлением к мировой общественности».

Но и в Чехословакии в 1948 году к власти пришла коммунистическая партия. Пражские и будапештские коммунисты теперь начали разрешать проблемы переселения по партийной линии — во вред самим переселяемым и во вред венгерской нации. Поэтому епископы, собравшиеся 27 августа 1948 года на совещание, выразили свой протест против принятых партийных решений. От имени епископата я направил министру иностранных дел следующую телеграмму:

«Министру иностранных дел, Будапешт.

Чехословацко-венгерское партийное соглашение от августа месяца нарушает права человека, пытаясь придать видимость законности изгнанию еще 15.000 венгров из их исконных мест жительства, лишению их прав и имущества.

Перед Богом и историей я выражаю протест против этих мучений, которым подвергается наш ни в чем не повинный народ. Принятое соглашение не основывается на знании обстоятельств дела и велениях совести. Оно служит чуждым нам целям и вредит венгерским интересам. Новые страшные мучительства вопиют к небу. Виновные предстанут пред судом Божиим.

Йожеф Миндсенти,
Князь-примас».

Коммунисты ответили на это сообщением совета министров, в котором они выдвинули утверждение, что весь вопрос был бы урегулирован ко всеобщему удовлетворению, если бы только этому

не воспрепятствовал я своим шовинизмом и вмешательством. На это мы 28 октября 1948 года ответили:

«Церковные власти доводят до сведения совета министров следующее:

Кардинал Князь-примас готов передать всё, что он по долгу делал и всё, что он продолжает делать для преследуемых, на суд общественности страны и внешнего мира. Мир будет в состоянии вынести свое суждение, если только правительство согласится опубликовать те документы, которые оно ставит в вину Князю-примасу. Эти документы засвидетельствовали бы, что Князь-примас вовсе не противодействует предстоящему удовлетворительному решению вопроса о венгерском меньшинстве в Словакии, а ходатайствует и печется о подлинно удовлетворительном его окончании. Выдвинутые против Князя-примаса обвинения таким образом отпали бы сами собой и можно было бы судить о том, насколько обоснованы выдвинутые против него обвинения в шовинизме. Защита прав человека не есть проявление шовинизма. С самого начала этим отличалась только противная сторона. Этот шовинизм, выражавшийся в депортации, в нарушении элементарнейших прав, в реквизиции имущества, неоднократно подвергался осуждению также со стороны венгерского правительства. Кардинал примас никогда не принадлежал и ныне не принадлежит к числу сторонников или пособников подобного рода шовинизма.

Что же касается пастырских выступлений Князя-примаса по данному вопросу, то мы напоминаем о повторных заявлениях партий Фронта независимости, согласно которым Церковь облада-

ет правом высказываться по всем вопросам жизни общества».

После этого коммунисты начали подготавливать общественное мнение к моему аресту.

Мои поездки в отдельные епархии

Углубление религиозной жизни в стране я считал самым надежным средством обороны против атеизма и материализма. Поэтому еще в проповеди на возведение меня на первосвященническую кафедру я сказал: «Если поколебалось в сердцах сознание естественного права и заповедей, переданных нам через откровение, то против такого прорыва плотины общественных устоев существует только одно средство: углубление жизни веры». Поэтому я охотно принимал участие в церковных торжествах других епархий, если получал соответствующие приглашения от епископов этих мест. Это давало мне возможность беседовать с духовенством. Я мог говорить с ними о трудностях католичества в Венгрии и излагать им свои планы по преодолению этих трудностей. Кроме того, такие поездки давали мне возможность тысячам, даже десяткам тысяч людей излагать точку зрения Церкви в вопросах мировоззренческого и церковно-общественного порядка. Я обращался непосредственно к общественному мнению страны, население которой знакомилось, таким образом, с возникающими перед нами проблемами и с позицией Церкви по этим проблемам, это укрепляло единство между церковным народом и духовенством, а

также служило делу защиты веры и церковных учреждений.

Коммунисты отдавали себе отчет в успешности моих архипастырских поездок по стране. Ракоши заявил, что я больше времени провожу в кругу своих верующих в столице, чем у себя дома в Эстергоме. На это я ответил ему в Чепеле перед тысячами рабочих: «Я и здесь, у вас, тоже нахожусь у себя дома, как в течение почти тысячи лет 78 моих предшественников на посту Князя-примаса были у себя дома на любом клочке венгерской земли».

В течение 1946 года я десять раз участвовал в церковных торжествах других епархий. 28 апреля я поехал в Вац, чтобы возложить на епископа Вацского Йозефа Петери омофор, полученный мною для него из рук Святого Отца в Риме — это была традиционная привилегия епископов этой епархии, дарованная им еще в 1754 году. Верующие заполнили собор до последнего предела. Я обратился к ним со словом о верности Церкви:

«В трудные и беспокойные времена Церковь расценивают по-разному. Но есть черты ее материнского лика, которые остаются неизменными при любых обстоятельствах. На протяжении всех двух тысяч лет своей истории Церковь никогда не становилась жертвой внутренней анархии. Точно так же она всегда старалась защищать достоинство человека. Никогда не предавала истины, не переставала взирать на человека с благостью матери. Больше всего любви она уделяла слабым, во все времена была пристанищем детей и женщин, матерью всех притесняемых.

Во времена турецкого владычества Церковь

вызвала к жизни два монашеских ордена — тринитариев и ноласков — которые целиком посвятили себя делу спасения пленных. В течение трех столетий тринитарии выкупили из рук турок около миллиона пленных, причем не раз случалось, что доплачивать приходилось еще и кровью самих монахов. Трудясь на этом поприще, подвиг страданий взяли на себя 7.115 монахов, которые добровольно направились в турецкую неволю, чтобы собою выкупить томящихся в нищете и страданиях братьев».

Не обращаясь непосредственно к марксистам, я коснулся в своей проповеди выдвигаемого ими обвинения, будто Церковь мало внимания уделяла народу, а всегда стояла на стороне эксплуататоров. Такие обвинения легко опровергаются ее историей. Уже в начале своей пастырской деятельности я пришел к убеждению, что апологетические беседы и дискуссии мировоззренческого характера надо вести, опираясь на конкретные факты. Поэтому много усилий я потратил на то, чтобы в свое свободное время собирать исторические справки и документы, которые меня всегда интересовали. Эти труды вполне себя оправдали. Знания, которые я таким путем приобрел, оказались чрезвычайно полезными при исполнении моих обязанностей и моего долга. Кроме того, эти занятия в области истории научили меня понимать, что в борьбе идей абстрактные рассуждения и сухая теория большой пользы не приносят. Я увидел также, что нельзя добиться успеха, если вести себя неуверенно и постоянно взвешивать, каковы мои возможности и где меня подстерегают те или иные опасности. Я должен был сказать себе, что реши-

тельно действующим коммунистам нельзя противопоставлять нерешительности и тактики выжидания. И я и по сей день считаю, что христиане, более всего озабоченные размышлениями о том, а не соответствуют ли все-таки действительности выдвигаемые против Церкви обвинения, на самом деле только ослабляют наши позиции. Столь распространившаяся в наши дни современная «самокритика» слишком часто льет воду на мельницу наших злейших врагов. Кроме того, без особой профессиональной подготовки даже богословам и лицам других интеллектуальных профессий бывает трудно увидеть «ошибки и пороки» Церкви в правильной перспективе и в правильном соотношении с обстоятельствами той или иной эпохи. Для этого надо обладать наметанным глазом историка.

16 июня 1946 года я рукоположил в Шопроне местного благочинного Кальмана Паппа во епископа Дьёрского. В своем слове я напомнил о святом Амвросии, который в наши бурные времена призван служить всем нам ярким примером:

«Времена, когда жил этот святитель, были исполнены партийной и классово́й борьбой. Но сам он не принадлежал ни к какой партии и не причислял себя ни к одному классу. Хотя сам он тоже был благородного происхождения, но он никак не щадил аристократов, которые кичились родословными своих коней и псов, а о бедных не помышляли. Но порицал он и тех бедняков, которые не имея во что одеться и не располагая куском хлеба на завтра, тем не менее, без дела сидели по корчам и кабакам, стараясь даром что-нибудь присвоить себе за счет других. Он был всем для всех, сам же никому не принадлежал, кроме одной Истины.

В отношении борьбы между христианством и язычеством он не испытывал никаких колебаний; не стремился к тому, чтобы в сенате прослыть сторонником «реалистической» политики».

Такие мысли воодушевляли и меня самого, как архипастыря. Любовь к истине я считал высшей добродетелью епископа, качеством, которым тот не смеет поступаться из страха или под влиянием похвал, верность которому он должен хранить даже ценой опасности для собственной жизни. Не случайно в чине епископской хиротонии говорится, что посвящаемый ни при каких обстоятельствах не смеет выдавать свет за мрак, а мрак за свет, называть добро злом, а зло добром. Во всем этом я отдавал себе отчет, принимая на себя бразды правления венгерской Церкви. Когда начались гонения, мне сразу стало ясно, что мы вступаем в решающую схватку, где меряются силами христианство и коммунизм. Перед нами стояла задача: держать наши позиции, поднять на ноги христианский мир, оповестить человечество о нависшей над ним опасности коммунизма. Я был убежден, что долг наш заключается в том, чтобы исповедовать истину, не давать угаснуть среди церковного народа надежде на лучшие дни, когда Церковь вновь приобретет все то, чего ее лишают теперь.

30 мая 1946 года я участвовал в массовом собрании католического Союза родителей в Калоче, о чем уже было упомянуто ранее, 25 августа — в торжествах в честь святого Стефана в Секешфехерваре, 8 сентября — в паломничестве 250 000 греко-католиков* в Мариапоч. 15 сентября я по-

* То есть униатов. — Перев.

бывал в Залаэгерсеге, а 23 сентября — в Сегеде. Там торжественно отмечалось 900-летие основателя Сегедской епархии, святого епископа Герарда-Геллерта. На площади перед собором, где собрались неимоверные толпы людей, меня приветствовал епископ Эндре Хамваш. В своем сердечном слове он решительно отверг клеветнические измышления, которые, как раз в то время, начали про меня распространять. Я отвечал:

«Пока жива в венгерском народе вера, она будет давать этому народу силу вновь подниматься на ноги после падения. Что касается меня, то я считаю себя лишь смиренным слугой своей страны и своего народа. Служению же своему я постараюсь быть верным, чего бы мне это ни стоило. Вам же говорю: будьте непоколебимы в своей приверженности Церкви, в соблюдении нравственных устоев и в верности своей венгерской национальной сущности».

Эта национальная сущность в течение тысячи лет теснейшим образом сплелась с христианством, порождая то двуединство, на которое можно было рассчитывать в эпохи самых страшных крушений. Поэтому мы национальные дни памяти отмечали в Церкви, и народ знал, что вышедшие из него великие мужи всегда защищали одновременно и веру, и государственные интересы, и пользу, счастье народа. Кому приходилось брать на себя страдания и беды ради сохранения прародительской веры, тот этот крест брал на себя одновременно и для блага родины. В Пече я 20 октября 1946 года высказал свое мнение по этому вопросу:

«Носит ли кто-нибудь волосы зачесанными назад или расчесанными на пробор, ест ли кто

мясо или предпочитает вегетарианство — это, быть может, и частное дело. Но отнюдь не частным делом считает государство, если я посажу в своем огороде более 200 кустов табака, или если я начну гнать самогон из виноградных выжимок и из слив без ведома акцизных властей. Полагаю, что, по меньшей мере, так же важно для общества, есть ли Бог, бессмертна ли душа, существует ли между ними какая-либо связь, реально ли понятие ближнего, или же мы всего-навсего стая голодных волков. Тот, кто добивается устранения религии из жизни общества, тот на самом деле старается выдвинуть на первое место в обществе свою собственную неполноценную личную жизнь. От нас требуют, чтобы за пределами церковных стен больше не звучали бы слова: не убий, не сотвори прелюбы, не лги, не клевети. Но там, где религия становится частным делом, жизнь задыхается в разложении, грехе и жестокости. Я много занимался историей, особое внимание уделяя эпохам, на челе которых пытались написать: «Религия — частное дело каждого».

Гитлер и его споспешники тоже объявили религию частным делом. Результат известен: Дахау, Освенцим, целый рейх (империя) тюрем, газовых камер, гестапо и тому подобного. А предтечей всего этого был Ницше, который поставил себя «по ту сторону устарелых понятий добра и зла» и заявил: «Бог мертв». Чудесна жизнь человека без Бога: стариков, больных, хромых официально, по государственному приказу истребляют врачи, евреев загоняют в газовые камеры, шестьдесят миллионов солдат отправляют на войну, после чего десять миллионов из них покоятся в сырой земле, а двад-

цать миллионов лишены крова и скитаются по дорогам Европы. Мир сходит с ума и превращается в долину слез. Гитлер стреляется, потому что его «частное дело» привело к такому блистательному успеху. Канули в вечность пророки, возвещавшие, что религия — частное дело. Но остались груды развалин, унаследованные от глашатаев этого принципа. Любопытно теперь несчастное человечество: а что, если кому-нибудь придет в голову продолжить дело Гитлера?»

Среди интеллигенции распространено мнение, что можно оставаться нейтральным в отношении вопросов общественного значения. Но историк, наученный опытом прошлого, судит иначе. Ибо остается непреложным: основа жизни человеческого общества — существование веры в трансцендентного Бога и в вечную жизнь. История доказывает, что нет такой силы, которая более глубоко воздействовала бы на жизнь человека и преобразовала бы его душу сильнее, чем религиозная вера. По самому своему существу религия оказывает влияние на все стороны жизни личности; тем самым она направляет деятельность личности в обществе и в окружающем ее мире. От влияния религии, формирующей совесть, не свободно даже партийно-политическое поведение человека, особенно там, где борются между собой партии, строящиеся на разной мировоззренческой основе. Человек держит себя достойнее всего, если по отношению ко всем обстоятельствам жизни занимает позицию, диктуемую ему его совестью.

В кругу этих вопросов имеется еще одно обстоятельство, о котором всегда помнит опытный пастырь-духовник. Он отдает себе отчет в том, что

общественные и государственные учреждения, которые управляют жизнью его духовных чад и среди которых этим чадам приходится вращаться, могут оказывать на религиозный процесс как положительное, так и отрицательное воздействие. Кто умеет правильно оценить значение этого обстоятельства, тот не станет возлагать слишком больших надежд на «зрелость» и «независимость» своих пасомых. Пусть мои взгляды назовут устарелыми, но я полагаю, что подлинный пастырь душ должен из чувства ответственности за эти доверенные ему души стремиться к тому, чтобы защищать их от соблазнов и удалять от них всякую опасность.

(Продолжение следует)

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ

Мария Розанова

ВЕЧНОЕ ДЕРЕВО

«Наконец прозвенел серебряный колокольчик, двери распахнулись, и Перегринус устремился в целое пламенное море из сверкающих огоньков пестрых рождественских свечей. ...Только громкое «ах!» вырвалось из его груди. Никогда еще святочное дерево не приносило таких богатых плодов: всевозможные сласти, какие только можно представить, и среди них золотые орехи, золотые яблоки из Гесперидовых садов, висели на ветвях, сгибающихся под сладким их бременем. Нельзя описать всех отборнейших игрушек, прелестного оловянного войска, такой же охоты, развернутых книжек с картинками и т. д. Он все еще не осмеливался дотронуться до какого-нибудь из этих сокровищ, он старался только превозмочь свое изумление, освоиться с мыслью о том счастье, что все это действительно ему принадлежит.

— О милые мои родители! о добрая моя Али-на! — воскликнул Перегринус с чувством величайшего восторга».

Напомним, что к этому времени славному Перегринусу Тису, герою повести Гофмана «Повелитель блох», исполнилось тридцать шесть лет.

Родители его уже умерли. Но по чистоте сердца и склонности к фантазиям, он ежегодно сам закупал подарки и лакомства и устраивал в одиночестве праздник и театр для себя — рождественскую ёлку. Всё было так, как если бы он оставался ребенком.

Не обладая, увы, невинностью Перегринуса, мы все понемногу следуем его примеру и, на радость и удивление детям воздвигая среди зимы вечнозеленое дерево, сами впадаем в детство, испытываем необычное чувство душевного подъема и счастья.

Атмосфера вокруг ёлки исполнена тончайшей мечтательности, пронизана флюидами, что затрагивают сокровенные, тайные и притом не совсем понятные, невыразимые струны души. Точные определения в данном случае не помогут. В некотором смысле здесь поддерживается традиция детства, не только каждым из нас сохраняемого в воспоминаниях, но пройденного всем человечеством в процессе мировой эволюции. Затем прочно забытое, оно в виде сюрприза, будто в насмешку над нашим взрослым самодовольством, извлекается на свет историками и этнографами: культ предков и домашнего крова, семейного очага, культ дерева и первые сведения о космосе, о мироустройстве, о единой дороге-судьбе-произрастании людских племен, поколений и всякой твари.

Глядя на нашу нынешнюю, такую свойскую ёлку, нам трудно уже допустить, что в оригинале она, — разумеется, не прямо, а с массой потерь и отклонений от высокого первоисточника, с пропуском связующих звеньев, замещенных впоследствии новыми аналогиями, — восходит к грандиоз-

ному образу вселенского дерева жизни. Если верить иным обычаям и пережиткам, припрятанным у многих народов по зернышку в ворохе прошлого, это дерево представляло собою самое Мироздание. Корнями уходя в преисподнюю, вершиной в небесную область, оно цвело и плодоносило звёздами, Солнцем, Луной и, раскинув широкую крону, обнимало пространство со всем, что в нем существует, что умерло и еще не родилось. Это был становой хребет, центральный проспект вселенной, с многочисленными, во все концы, ответвлениями, наделявший счастливых избранных сверхъестественной силой путем разносторонних контактов с могущественными стихиями жизни. Согласно полустершимся версиям, герои, мудрецы и пророки набирались ума и энергии, висая на нем, подобно тому как сейчас, к сожалению без видимой пользы, висят на ёлке выродившиеся, эфемерные ангелочки, зайцы, паяцы. У Пушкина в сказке поблескивает ёлочная игрушка: «русалка на ветвях сидит». У Гоголя: «А говорят, однако же, есть где-то, в какой-то далекой земле, такое дерево, которое шумит вершиною в самом небе, и Бог сходит по нем на землю ночью перед светлым праздником».

Идея универсума явственно выступает и в современном облике ёлки: чего только там нет, и всё мало, и мы рады заселять ее флорой и фауной, сосредоточив в одном углу все мыслимые сокровища мира. Ёлка неприхотлива и готова довольствоваться простенькими эмблемами роскоши в виде недорогой дребедени или нескольких пустяковых, размалеванных, как солнце, шаров; но каждая новая подвеска-наколка ей оказывается впло-

ру, к лицу, и процесс обряжения ёлки затягивается, вовлекая в расходы, в усилиях превзойти и пополнить ее растущую на глазах красоту. Ёлку трудно испортить избытком блестящего, яркого. Она сама витрина всяческого избытка. Оправленная в золото, усыпанная дождем брильянтов, расфуфыренная, словно какая-нибудь тропическая птица, ёлка не боится сусальности и в открытую бьет на эффект, застрахованная от попреков своим престижем и ролью единственными в некотором роде — служить вещественным символом ярмарочного великолепия жизни во славу и в подкрепление ее необыкновенных щедрот. Матери и вместилещу всеобщего добра и достатка, универсальному дереву-семечку, от которого повелась, завязалась на свете любая травка, по должности надлежит изнемогать и ломиться под бременем отягчающих священные ветви сластей и украшений.

Однако в этом хаосе царит негласный порядок. Ель и по внешности, и по внутренней сути иерархична. В нашей средней и северной лесной полосе это самое архитектурное дерево. Его контуры легко вызывают ассоциации с храмом, башней, кремлем, колокольней. Соответственно, на Севере старинные шатровые церкви кажутся островерхими елями — произведением леса. Четкий резной силуэт, компактность и затейливость формы, образованной как бы из ряда поставленных друг на друга шатров; правильное, ступенчатое расположение веток, раскинувшихся наподобие ярусного покрытия; графическая, почти кристаллическая решительность в очертании лап и самых игл, рождающих причудливый филигранный орнамент, — всё это делает ель особенно притягательной с де-

коративной стороны и позволяет использовать ее редкие конструктивные данные в праздничной экспозиции. Поэтому, в частности, ее оформление дается нам без труда: ёлка все стерпит и все исправит, уладит, преподнеся любую фитюльку аппетитно, на блюдечке, в подобающей, будто заранее предусмотренной аранжировке. Сидя на ёлке, каждый сверчок знает свой шесток, и этим он обязан ее ловкости и умению рассаживать гостей по местам. С помощью своей геометрии ёлка обращает безалаберное богатство в хозяйство и живописную мешанину в благоустроенное жильё.

Ставя ёлку в комнате, мы словно возводим чертог, строим дом в доме. В сущности, это — попытка воспроизвести мироздание. Мы повторяем, не подозревая о том, древнюю схему вселенной, скрытую в дереве жизни как в архитектурном проекте. Куца за куцей, крыша над крышей:

∧ — знак человеческой хижины под кровом
∧
∧ всемирного храма, иерархическая композиция

Мира-Дерева-Дома, в котором все существа, располагаясь по полочкам, росли на одном стволе, и небо, распределенное кровлями, спускалось лестницей вниз — к уютному шалашу человека.

Какими бы смешными и детскими нам ни казались теперь эти знаки, начертанные нашими праотцами (то в форме напоминающей ёлку многоярусной пагоды, то в скромном узоре «ёлочкой» архаической вышивки, символе вечной жизни, быть может, заодно послужившем первобытным эскизом для той же, сооруженной в пропорциях космоса, пагоды), в них, надо помнить, заложено сознание закона и лада, поддерживающих миро-

порядок, и чувство нашей уместности и обжитости во вселенной.

Строя ёлку в доме, мы открываем окно в звёздную ночь. И вновь изумляемся дивной гармонии бытия, вступаем в согласный хор светил, камней и растений.

Эти ощущения не лишены еще атавистических признаков участия в древнем обряде, от которого необходимо зависела теплящаяся в человечестве жизнь. Ей в поддержку, на выручку — в смутное и постылое время затяжного зимнего кризиса, когда день того и гляди исчезнет с лица земли, — мы поднимаем зеленое, в огнях и яблоках, знамя. С этого начинается год!

На взгляд иных религий, эпох, календарей, Новому году приличествует начинаться весной или осенью. На этот счет имеются разноречивые мнения. Но в нелегкую пору, в самую темную ночь — ей в пик — без гроша за душой — в абсурдное опровержение смерти — начинаться ему тоже угодно. В этом плане зима, во всеоружии своих притеснений, является по контрасту хорошим сопровождением праздника, задуманного наперекор ее воле и даже сейчас справляемого с оттенком какого-то веселого ужаса, какого-то, если взглядеться, отчаянного, залихватского вызова и губельного восторга по поводу собственной дерзости.

Итак, — хвала тебе, Чума,
Нам не страшна могилы тьма,
Нас не смутит твое призванье!..

Это мы сейчас так привыкли и расхрабрились, что заигрываем с Дедом-Морозом, приписывая ему

добрые помыслы за будто бы напускною свирепостью. И даже другой раз в запальчивости полагаем, что закатываем пиры чуть ли не в честь зимы. А между тем лукаво, словно волшебную палочку, вносим ёлку с мороза, и та, еще не оттаяв, принимается грезить о рае, об Африке, об Эльдорадо, а мы между тем, под шумок, зажигаем разноцветные свечки, подавая солнцу сигнал — опомниться и повернуть на весну...

Ёлка — это копье, брошенное в Дракона. В ее безумной отваге есть что-то дон-кихотское. Она одна, вопреки очевидности, в обход здравому смыслу, хранит преданность свету в самом средоточии тьмы. Заручившись ее стойкостью и незлым фанатизмом, мы отсиживаемся в нашей норе, веря, не подведет, не обманет, но вывезет за собой на тепло и вызовет всю природу из опасного столбняка. И чем злее за дверью повизгивает мороз, чем бешенее бунтует метель, тем приятнее нам, сидя под ёлкой, вкушать свою безопасность и представлять себя последним оазисом на земле и оплотом цивилизации и, поёживаясь от приятного страха, знать, что ничего не случится и это не конец свету подходит, а начинается день.

Но мифология солнцеворота, пригретая рождественским деревом, как и другие таимые им навыки практической магии, давно утратила власть религиозного подлинника и превратилась в необязательный фарс. Подобно Дон-Кихоту, ёлка вышла из мифа и является в наши дни едва ли не единственным героическим анахронизмом столь широкого диапазона, но все ее попытки восстановить былой этикет комичны и пародийны. Когда-то это было серьезно, серьезнее, чем дано нам во-

образить и постигнуть, — теперь мы только сме- емся, прыгая возле ёлки, как какие-нибудь шаманы, и, ни о чем не заботясь, кроме собственных удовольствий, сбиваемся с чудес на чудачества, с мистерии на шутовство...

Должно быть, в самой натуре, в утрированной физиономии ёлки есть нечто от пародии, от шаржа и балагана, настраивающее славословить ее с иронически преувеличенной пышностью. Это ёлке-то царские почести? — животики надорвешь. Нет, она у нас, конечно, уже не первое, не самое заветное, а скорее нелепое, потешное и сумасбродное дерево. Не зря среди древесных пород она более прочих напоминает животное. У ёлки такая подвижность мимики и повадки, что, кажется, под ее мехом играет кровь. Ёлка похожа на помесь животного с растением. А животные, как известно (в подражание человеку), особенно карикатурны. «Животный мир в природе, — утверждал романтик Новалис, — наиболее смешон, насквозь юмористичен. Миру камней и растений более свойствен отпечаток фантазии».

Объединив эти черты, ёлка охотно фантазирует в зверином стиле, выставляя то лапу, то хвост, то какие-то пушистые ушки и шуструю, удивленную мордочку. Животные личины и позы, принимаемые ей ради шутки, от случая к случаю, могли бы составить коллекцию гротесков — от шумного зубоскальства и беспардонного амикошонства собаки до тишайшей ухмылки ежа.

Стихия игры и юмора, окутывающая лесную забавницу, сообщает ей под Новый год новое очарование. На место священного дерева приходит театральное зрелище, полное соблазна, обмана.

Уже при появлении ёлки, что сваливается на нас, как артистка, сразу во всей красе, — занимает дух даже у тех, кто всё это подстроил. Мы соприкасаемся с тайной, которая не пропадает оттого, что над нею парит гений мистификации.

Мнимые драгоценности, мишурные богатства сгущают атмосферу спектакля, насквозь сфабрикованного, бьющего в глаза заведомой, нарочитой искусственностью. Декорация не скрывает, что здесь мы не живем, а играем, упиваясь свободой и легкостью блистательных импровизаций. Заметим, что герой Сервантеса потому так нравится детям, что, помимо благородных идей, носит вместо шлема занимательный тазик, да и прочее его снаряжение, кажется, состоит из одного картона и проволоки. Имей он неподдельные рыцарские доспехи, его обаяния убавилось бы наполовину. Сходный урок театральности преподносит нам ёлка, извлекающая из пошлой фольги больше страсти и шарма, чем это могло бы дать натуральное золото.

В ёлочной бутафории просвечивает духовность вещей. Возможно, тому способствует не знающая стыда и расчета, немислимая в другие часы, любовь к прекрасному мусору, к ничтожным стекляшкам и фантикам, очищенным от земных интересов до самоценного блеска. Брызжащая каскадом огня, неистовствующая в искрах пустышка мнится уже не физическим, а почти трансцендентным телом. Эстетика ее примитивна, но проникнута бескорыстием, кладущим на житейскую сцену сверкающую печать отрешенности. В ее лучах суэта стекается к созерцанию, и стандартная об-

становка готова сойти за фантом, вызванный к жизни одним поворотом калейдоскопа.

По дому шастает рука колдуна. Комната, как в присутствии знатного иностранца, тревожно одергивается и прицеливается к представлению. В вещах проступает форма, лицо. Не теряя знакомого образа, они выглядят пронзительнее и эксцентричнее, они — дичают. Прикованные к запечным мечтам, вещи уходят в себя и фетишистски помалкивают. Их природу и психологию в этот необыкновенный момент достаточно близко передаст метафора загадок и заговоров. «В брюхе — баня, в носу — решето, на голове — пупок, всего одна рука, и та на спине» (*Чайник*). Обыденные предметы — чайник, вилка, тарелка — затаиваются в жажде попасть в компанию факиров и фокусников — к вертящимся столикам, летающим блюдечкам (автоматика, телемеханика). Им тоже хочется, тряхнув стариной, сбросить служебные тяготы и за нервическим кивком капельмейстера взлететь под потолок. (А на улице в это время, как в опере «Евгений Онегин», идет снег.)

Не будучи искусством, ёлка стирает различие между сказкой и явью и растягивает границы художественного до края существования. Подученный ею быт грозит превратиться в цирк, повсюду внося удивительный вкус игры и бессмыслицы. Не потому ли жизнь в обществе ёлки становится отдаленнее, призрачнее и прозрачнее, с тем чтобы магнетизировать нас и повергать в изумление сочиненными из чепухи комбинациями, переселяя в страну вечного цветущего юмора? И не учит ли ёлка попутно, что юмор — это любовь, просветляющая ум и фантазию? А любовь не от-

крывает ли нам в каждом человеке дитя и, окидывая взглядом действительность, не видит ли в ней только ёлку, только искрящийся снегом покров, увешанный игрушечными домами и городами?

Словом, под ее арабеской мы пускаемся в путешествие и нанизываем на нитку все золотые миры, какие знаем. А она дает им приют и манит дальше и больше, суля новые рассказы.

В ёлке живет и смеется неисчерпаемая тайна источника, и, сколько бы в нем ни отмыкали дверей, за ними идут другие — анфиладой загадок. Ощущение глубины и загадочности оставляет уже ее сумрачный, подчеркнуто лесной колорит (сильнее других деревьев ель бредит лесом, притом — дремучим). В этой живописи первая скрипка, естественно, принадлежит светотени, что сообщает хвойному войску буйное одушевление. Какие тут кони запляшут, радуги вострепещут, чуть затеплится светлячок! Потому-то ёлка притягивает, завораживает: она мерцает. В зимний вечер поблескивание глазастых, наэлектризованных шаров и иголок кажется наваждением. А если зажечь свечи?..

Философ Шеллинг называл светотень «магической частью живописи». И пояснял: «...Она доводит видимость до высшей ступени». «Ею искусство охватывает всё сияние, исходящее от телесного, и представляет его в отвлечении от материи как сияние само по себе и для себя». «Материал художника, как бы тело, в котором он осязает тончайшую душу света, есть мрак...»

В соответствии с мнением Шеллинга, ель снабжает отменным рабочим материалом собственное

художество и осязает пламенеющий дух, извлекаемый из максимального мрака. Она, многообразно варьируя магию света и тени, выплескивает целое море озарений, наитий и горит не заимствованным, а своим природным, глубинным, невесть откуда берущимся, запредельным огнем. Тень же в этом соседстве, помимо потакания свету, исполняет роль двери, остающейся приотворенной, донося до нас молву о таинственном содержании жизни. (Смутный гул этой речи теряется в непроходимых лесах...)

Как чудесно, что ёлка приходит в окружении даров, угощений, нарядов, пожеланий и тостов на полный годовой оборот. Ею крепится связь времен, обещанное возвращение света, продолжительность рода и века, получающих твердый залог в доверчивом благоволении дерева. А сколько около ёлки витает фантазмагорий, сколько несбыточных грез, невысказанных надежд и намерений! Не ее ли живые плоды мы так и не успели вкусить, предпочтя им иное яблоко (да-да, то самое), и вот теперь, спохватившись, тянемся к ней и тоскуем о молодости, о совершенстве?.. Впрочем, всех историй, взлелеянных в ее колыбели, не переслушать. Ёлка им служит гнездом и, потворствуя воображению, не устает поддерживать жар в камельке, у которого мы теснимся, запасаясь здоровьем и счастьем на следующий год-перегон.

Эрнст Теодор Амадей Гофман, чье имя звучит как титул чародея и звездочета, заканчивая волшебную повесть о мудром Повелителе блох, не мог не вернуться к ёлке. Ежегодно, на Рождество, царствующий Мастер-блоха одаривал всё семейство своего лучшего друга миниатюрными игрушками:

«Таким приятным образом напоминал он господину Перегринусу Тису ту роковую рождественскую ёлку, которую можно назвать как бы гнездом, где зародились самые удивительные, самые безумные приключения».

РОЗАНОВА Мария Васильевна — искусствовед и художник. Родилась в 1930 году в городе Витебске. Окончила отделение истории искусств Московского университета имени М. В. Ломоносова. Преподавала в художественных институтах Москвы. Печаталась в журнале «Декоративное искусство». В августе 1973 года выехала во Францию.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

**В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ВЫ СМОЖЕТЕ
ПРОЧЕСТЬ**

Проза:

Иосифа Богораз — «Наседка»

Стихи:

**Наума Коржавина
и Айги**

Статьи:

**Иржи Гохмана
Раймона Арона
Карла-Густава Штрема**

Воспоминания:

**А. Бахраха
Ф. Варкони
Кардинала Миндсенти
Зинаиды Шаховской**

Редакция «Континента»

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

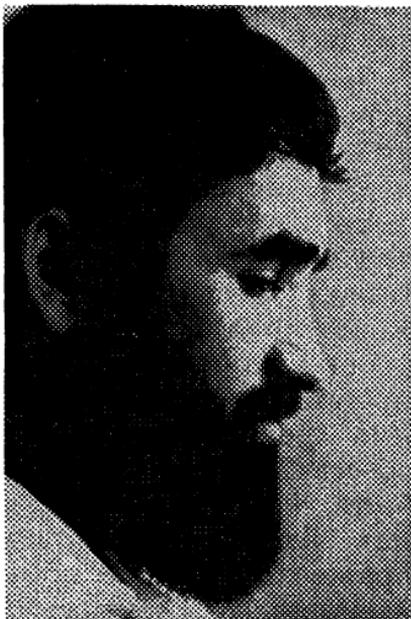
Продолжение следует...

Как и следовало ожидать, после насильственного выдворения Солженицына и целого ряда последовавших за этим позорным актом «добровольных» высылков наиболее одиозных в политическом плане инакомыслящих интеллектуалов, наши власти приступили к «охоте за ведьмами», с использованием всех средств своего репрессивного арсенала, по испытанному уже принципу: дави, пока не оперились!

Первой (разумеется, известной нам!) жертвой начатой кампании стал ленинградский литератор Михаил Хейфец, один из составителей пятитомного собрания стихов Иосифа Бродского, который после многомесячного следствия приговорен недавно к четырем годам заключения по пре-

словутой 70-й статье УК РСФСР.

Затем последовала административная расправа над его земляком профессором Ефимом



Эткингом. На собрании преподавателей Института имени Герцена, наминавшем шабаш худших времен тридцатых-сороковых годов, его лишили профессорского звания, всех прежде присвоенных уче-

ных степеней и, понятно, выгнали с работы. Чтобы, как говорится, другим неповадно было!

И, наконец, в конце июля грянула новая, еще более угрожающая весть: арестован Владимир Марамзин, один из самых даровитых прозаиков поколения шестидесятых годов.

Что же сделали эти люди? В чем их обвиняют? Может быть, они, как Андреас Баадер, пытались изменить государственный строй? Или, как Патриция Херст, с автоматами наперевес занимались экспроприацией банков во имя «революции и прогресса»? Или, может быть, как небезызвестная Джейн Фонда по вражескому радио призывали своих солдат к измене и дезертирству?

Нет, дорогой читатель, эти люди просто-напросто писали книги и, получив отказ в официальных издательствах, пытались распространять свои произведения в рукописном ви-

де и открытым способом. Именно за это, и ни за что более, одного из них подвергли издевательскому общественному ostrакизму, а двух других заключили в тюрьму. Такова плата за свободу творчества в «стране победившего социализма — оплоте мира и демократии»!

Известного рода круги, на протяжении всего последнего времени с громогласностью достойной лучшего применения, раздували истерию вокруг репрессий в Греции (сорок семь заключенных!) и в Чили (две тысячи узников!), лишь бы заглушить взывающий к помощи голос десятков, а может быть, и сотен тысяч эзков в странах тоталитарного мира, демагогически именуяющего себя «социалистическим».

Что станут говорить они теперь, эти ревнители свободы и гуманизма, за кого и во имя чего поднимать крик на весь мир, когда все, повторяем, все поли-

тические заключенные в Греции и Чили уже освобождены?

Но, впрочем, зачем гадать! Их пещерное кредо красноречивее всех высказала пресловутая Анджела Дэвис, которую освободили именно благодаря хорошо инспирированному «общественному мнению». Едва вернувшись, после своего триумфального освобождения, из столь же триумфального вояжа по так называемым «социалистическим странам», эта радикальная матрона, не моргнув глазом и не затрудняя себя юриди-

ческими и правовыми тонкостями, во всеулышпание заявила, что-де в этих странах людей сажают правильно, ибо они — эти люди — выступают против социализма. Откровеннее не скажешь!

Что же касается властей предержавных в нашей стране, то о них и говорить не приходится. Широкие буржуазные жесты Гизикиса и Пиночета им не указ. У них своя «классовая» мораль: кто не с нами, тот против нас, а кто против, тот вне закона. Так что, как говорится, продолжение следует.

ЗАЯВЛЕНИЕ ВЛАДИМИРА МАРАМЗИНА

У меня есть смутное ощущение вины, которое коренится, вероятно, в исконном для нас отсутствии правосознания. Мой друг, ленинградский писатель и историк Михаил Хейфец уже более месяца находится в следственной тюрьме. По дошедшим до нас отголоскам, он арестован за издание в Самиздате пятитомника Иосифа Бродского и за свою статью о его стихах. Следовательно прекрасно знает, что Самиздат — не издательство. Знает он также, что Хейфец не причастен к собиранию стихов Бродского.

Всем известно, что в течение трех лет стихи собирал я, потому что Бродский, как всякий большой мастер, никогда не хранил, щедро раздаривал свои стихи. Я хотел собрать, чтобы сохранить для русской культуры все, что сделано этим великим поэтом. Те люди, которые сейчас причастны к гонениям на Бродского, еще при своей жизни будут им гордиться.

Я же предпринял и еще один шаг, чтобы сохранить с таким трудом собранные тексты: отправил их за границу, где сейчас живет и автор. Быть может, это кому-то не понравится, но мною двигала лишь забота о русской культуре. Я вовсе не герой, но не был героем и мой дед, деревенский священник, который почему-то не сложил сана и предпочел в 1931 году умереть в Соловках. Вероятно, не был героем и мой отец, рабочий, еврей, ушедший добровольцем на фронт и убитый в 1942 году под Ленинградом. Приходит время каждому сделать что-то свое.

При обыске, 1 апреля, у меня были отняты все мои рукописи. Не мне судить, хороши они или нет, но я уверен, что все написанное нами не случайно, и писатель имеет обязательство перед своими рукописями. Поэтому я собрал их вновь — люди сохранили — и тоже послал за рубеж. Если какие-нибудь издательства или журналы заинтересуются моими рассказами или повестями, пусть знают: мое согласие на печатание теперь уже вполне обдумано.

И последнее: у арестованного Михаила Хейфеца двое маленьких детей, оставшихся без всяких средств. Любая помощь, любое доброе слово полезны сейчас ему и его семье. Имя Хейфеца не слишком известно широкому читателю, хотя он напечатал две книги, историческое исследование и роман о народовольцах, не считая многих публикаций.

Но ведь печально, если станет законом, что известность писателя начинается с момента суда над ним. Ми-

хаил Рувимович Хейфец живет в Ленинграде, Новорос-
сийская улица, дом 22, квартира 45. Его жена Глаголева
Раиса Владимировна, дочери Наташа — семи лет и Оля
— пяти лет, проживают по этому же адресу.

30 мая 1974 г.

Владимир Марамзин

Ленинград 19 - 5 - 49. Ул. Софии Ковалевской 17/3/105.
Тел. 49-48-43.

(Из материалов Самиздата)

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

А. Солженицын АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ

Автор назвал свой труд «опытом художественного исследования». Это название верно, однако не только потому, что «в этой книге нет вымышленных лиц, ни вымышленных событий». Оно верно и потому, что это кусок истории, записанный пером художника. Так писал Геродот, но так же писал (вернее, читал свои прославленные лекции) Ключевский. Это та самая общая картина, которой историк добивается интенсивным вживанием в эпоху, своим внутренним духовным присутствием в ней. Для такого вживания доскональное знание — лишь ключ к пониманию смысла и внутренней логики явлений, того взаимодействия воли и подневольности, из которого «пошла и стала быть» и наша русская, и всякая человеческая история.

Солженицыну «не досталось читать документов», как не досталось читать и насчитывающую десятки названий, отнюдь не бедную содержанием литературу о лагерях, изданную

за рубежом. Его исследование не прохождение по чужим следам, а свидетельство самого очевидца-Солженицына, хоть и опертое на 227 других свидетельств. На немаленькой уже полке литературы о советских тюрьмах и лагерях его место не рядом с Солоневичем, Чернавиным и Розановым, но, однако, и не рядом с Морой и Зверняком, собравшим свидетельства поляков, сражавшихся впоследствии в армии генерала Андерса.

«Архипелаг ГУЛаг» несравнимо монументальней не только по объему и широте охвата, но прежде всего по глубине проникновения в суть описываемого. Это и свидетельство и обобщение разом, вернее, это показания свидетеля, одаренного драгоценной способностью видеть суть.

И не будем спрашивать, почему многочисленные воспоминания о лагерях и в иностранной, и в русской среде нашли так мало читателей, а «Архипелаг ГУЛаг» уже прочли миллионы? Ибо здесь дело не в накоплении случайных обстоятельств, не в гениальности солженицынского пе-

ра и уж, наверное, не в изобразительном бессилии других. Пришло, видно, время проявиться той Воле, без которой ничего не случается...

Изд-во YMCA-PRESS,
I-II, 1973
III-IV, 1974

I-II, 606 стр.,
цена 40 фр. фр.

III-IV, 657 стр.,
цена 42 фр. фр.

**А. САХАРОВ
В БОРЬБЕ ЗА МИР**

Я. Трушнович,
составитель

(Сборник выступлений)

Аннотация на этот сборник, пожалуй, несколько опоздала? Он вышел ведь уже в 1973 году, а в 1974-м кандидатура А. Сахарова на Нобелевскую премию мира была отвергнута комиссией норвежского парламента.

Так нет! Тем более **этот** сборник достоин распространения! Потому что, если Ле Дык Тхо и Киссинджеру присудили эту премию за видоизменение

формы войны во Вьетнаме, а Вилли Брандту — за признание вождей немецких коммунистов властителями суверенного государства, то неприсуждение ее автору «Размышлений о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» — лишь еще раз подчеркивает всю трагичность его одинокой борьбы, не за то, чтобы поставить еще одну заплату на ветхой ткани традиционной политики равновесия сил, но за ту «конвергенцию», за то подлинно демократическое сближение, без которого невозможно разумное мироустройство.

«Не мир должен принимать наши правила игры, а все должны играть по одним правилам», — сказал Сахаров голландскому историку Бессмеру (стр. 167). И эту главную его мысль в системе все новых и новых доказательств читатель найдет в каждом письменном или устном выступлении Сахарова.

В приложениях к сборнику — оценка Сахарова и его идей в передовой журнале «Коммунист», высказывания о нем свободной российской общественности (в том числе В. Максимова, В. Турчина, Л. Чуковской,

А. Снявского, А. Галича, А. Солженицына) и выдержки из статей о нем в мировой прессе. Все это вместе дает достаточно полное представление об академике Сахарове и его значении для дела мира.

А в этом и есть смысл сборника.

Изд-во «Посев», 1973,
303 стр., цена 17.60 н. м.

Д*

СТРЕМЯ «ТИХОГО ДОНА»

Когда 23-летний делопроизводитель Михаил Шолохов опубликовал в 1928 году первый том монументального романа «Тихий Дон», а через год последовал и второй, у многих возникли сомнения: возможное ли это дело? С тех пор подозрение в плагиате осталось висеть на Шолохове. Подозрение это партия с порога объявила «клеветническим». Сталин назвал Шолохова «знаменитым писателем нашего времени». Расследования не было.

А сейчас перед нами, к сожалению, неоконченный труд литературоведа Д*, поставившего себе задачу — выяснить правду об автор-

стве «Тихого Дона» и, насколько это возможно, реставрировать его первоначальный текст.

«Конечно, на шестом десятке лет всякое юридическое расследование этой литературной тайны скорее всего упущено, и уже не следует ждать его. Но расследование литературоведческое открыто всегда, не поздно ему произойти и через 100 лет и через 200...» — пишет в предисловии к нему А. Солженицын, передавший рукопись Д* издательству.

Если бы труд Д* был окончен и содержащийся в нем разбор замысла и конструкции романа укреплен лексическим и фразеологическим анализом, возникшие с самого начала сомнения, вероятно, перешли бы в уверенность: премию Нобеля Шолохов получил за плагиат; он был лишь тем, кого Д* называет «соавтором», поверхностно приспособившим не свою рукопись к требованиям партийного заказа.

Труд Д* остался неоконченным, и только поэтому проблема «Тихого Дона» еще не решена. Но путь к окончательному ее решению намечен, и пройти по нему может любой квали-

фицированный филолог, было бы только для этого время, охота и усидчивость.

И рано или поздно мы прочтем еще «Тихий Дон», пусть с пропусками, но без искажений.

Изд-во YMCA-PRESS, 1974
195 стр., цена 27 фр. фр.

Григорий Свирский ЗАЛОЖНИКИ

«Как бы мне хотелось «подправить» свой роман-документ, который я был вынужден схоронить в России и издание которого поэтому для меня неожиданно. Как бы хотел выглядеть перед читателем умнее, прозорливее, внутренне свободнее. От затверженных цитат. От каменного давления газетного листа, которому в России и веришь — и не веришь». Так записал автор 20. X. 73, очевидно, отдавая книгу в печать. И хорошо, что она вышла неподправленная. В этом весомость ее как свидетельства, причем свидетельства подчеркнуто личного, о себе и своих, о пережитом именно этим автором, об увиденном именно этими авторскими глазами.

Написанная с большим темпераментом, книга Свирского — это книга о жизни еврейской четы в Советском Союзе. Это книга еврея о горькой еврейской судьбе. Это вызов отвратительному чудовищу антисемитизма, но это и проклятие всем, кто способен травить других. Любых других. Евреев и неевреев. И не случайно в «документе № 1», выступлении члена СП Григория Свирского на открытом партийном собрании 27 октября 1965 года попутно осуждена и ненависть осетин к грузинам, и грузин к армянам.

Автор назвал свою книгу «роман-документ». На наш взгляд, ее правильней было бы назвать «роман-памфлет». Документальность поставлена в ней на службу обличению, а само обличение антисемитизма приобретает в ней характер воинствующего анти-антисемитизма, проповедуемого с традиционных для русского еврейства позиций борьбы со всяким и всяческим самодержавием.

Изд-во Les Editeurs Réunis,
Paris 1974, 461 стр., цена
48 фр. фр.

Роже Гароди
КРУТОЙ ПОВОРОТ
СОЦИАЛИЗМА

Появление русского перевода книги Гароди безусловно принесет пользу. А издание в карманном формате, будем надеяться, облегчит ему доступ к российскому читателю, который ведь, живя в социалистическом государстве, не может не задумываться о дальнейших судьбах социализма.

Гароди говорит в своей книге о кризисе международного коммунистического движения, о необходимости пересмотра самых его основ в свете открытий научно-технической революции и того опыта, который принесла практика построения социализма в Советском Союзе, в Китае, в Югославии.

Содержание книги: Что такое новая научно-техническая революция? Соединенные Штаты и последствия новой научно-технической революции. Советский Союз: рождение модели

социализма. Возможность иных моделей социализма. Социалистическое будущее Франции: перспективы и начинания. Новая научно-техническая революция и международные связи. Источники. Среди которых, с одной стороны, без церемонии называется имя Сталина, с другой — имя академика Сахарова.

Когда Гароди писал свою книгу, он был еще членом Политбюро ЦК компартии Франции, считался чуть ли не главным ее идеологом и, очевидно, надеялся, что голос его будет услышан и предложения приняты. Этого не случилось. Наоборот, в мае 1970 года он был исключен из партии. Крутой поворот социализма не состоялся.

Возможен ли он вообще? Есть ли вообще у социализма будущее? Вот вопрос, который неизбежно поставит перед собой читатель, и над которым, в согласии или несогласии с автором, он неизбежно задумается.

Изд-во «Посев», 1974,
332 стр., цена 18.80 н.м.

СОДЕРЖАНИЕ

Владимир М а р а м з и н — История женитьбы Ивана Петровича. Повесть	5
Александр Г а л и ч — Цикл стихотворений	83
Вл. К о р н и л о в — Без рук, без ног. Повесть	95
Лев М а к — Два стихотворения	197
РОССИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ	
Наум К о р ж а в и н — Опыт поэтической биографии	199
Давид А н и н — Актуален ли Бухарин?	281
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ	
Лешек К о л а к о в с к и й — Три главных мотива в марксизме	315
Гойко Б о р и ч — Почему в Югославии нет Самиздата?	334
ВОСТОК — ЗАПАД	
Роберт К о н к в е с т — «Континент» и Запад	345
Александр С о л ж е н и ц ы н — Сахаров и критика «Письма вождям»	350
Игнацио С и л о н е — Еще раз о правде истории	360
Абрам Т е р ц — Памяти павших: Аркадий Белинков	363
Грэм Г р и н — Прага, 1948	373
ИСТОКИ	
Из документов — Чрезвычайное собрание уполномоченных фабрик и заводов г. Петрограда (Публикация А. Солженицына)	383
Кардинал М и н д с е н т и — Перед лицом новых испытаний	421

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ

Мария Розанова — Вечное дерево 453

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Продолжение следует... 467

Заявление Владимира Марамзина 469

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 472

К

КОНТИНЕНТ

Ежеквартальный журнал, выходящий
на пяти языках:
русском, немецком, французском,
итальянском, английском.

В журнале принимают участие:

**Иосиф Бродский, Александр Галич, Ежи Гедройц,
Густав Герлинг-Грудзинский, Милован Джилас,
Эжен Ионеско, Роберт Конквест, Наум Коржавин,
Виктор Некрасов, Людек Пахман, Андрей Саха-
ров, Андрей Синявский, Александр Солженицын,
Странник, Иозеф Чапский, Зинаида Шаховская,
Александр Шмеман, Карл-Густав Штрём и другие
авторы**

На страницах журнала современная
проза, поэзия, публицистика
авторов Восточной Европы

Главный редактор журнала
Владимир Максимов

Цена номера в розничной продаже - 10 нем. марок
Стоимость подписки на год - 40 нем. марок
Пересылка за счет подписчика

Заказы направлять по адресу:

A. NEIMANIS
Buchvertrieb GmbH
8 MÜNCHEN 40 · Bauerstr. 28

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ СОБРАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХЪ ФАБРИКЪ И ЗАВОДОВЪ г. Петрограда.

№ 1—2.

18 марта 1918 г.

20 коп.

*18-го марта
Петроградъ.*

Въ разгаръ послѣдняго наступленія австро-германцевъ, когда рабочіе Петрограда метались изъ стороны въ сторону, не зная, что дѣлать, за Невской заставой собрались представители разныхъ фабрикъ и заводовъ, социалисты и беспартійные, чтобы общими усиліями найти выходъ изъ создававшейся тупика.

Передъ ними встали всѣ страшные вопросы нашъ дѣйствительно ти.

Сложное гнѣшнее положеніе; голодъ; эвакуація, ведущаяся неумѣло и добивающая промышленность и рабочихъ; грозный признакъ безработицы сотенъ тысячъ петроградскихъ пролетаревъ, поинутыхъ на произволъ судьбы...

Надвигающіеся бѣды русскіе рабочіе встрѣчаютъ безгружными. За годъ революціи рабочіе лишились своихъ классовыхъ орг. низаций. Заводскіе Комитеты—какъ видно изъ помещаемыхъ ниже сообщений съ мѣстъ—сдѣлались

послушнымъ орудіемъ Совѣтскаго Правительства. Профосіон. Союзы утратили самостоятельность и независимость и уже не организуютъ борьбы въ защиту правъ рабочихъ. Совѣты Раб. и С. Д. точно боятся рабочихъ; не допускаютъ пере-ыборовъ, забронировали себя; они превратили въ только въ правительственныя организаціи и не выражаютъ больше жнѣній рабочей массы.

Чтобы обсудить всѣ эти вопросы, чтобы рабочій классъ не былъ окончательно раздавленъ чтобы организовать его борьбу, собраніе рабочихъ за Невской заставой признало необходимымъ немедленно же приступить къ созыву чрезвычайнаго собранія уполномоченныхъ фабрикъ и заводовъ г. Петрограда.

Уполномоченные на это чрезвычайнае собраніе должны быть свободно избраны по заводамъ и фабрикамъ, послѣ обсуждения создающагося положенія на общихъ собраніяхъ и митингахъ.